Ю. Б. МАРГОЛИН

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗЭ-КА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк 1952

Ю. Б. МАРГОЛИН

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗЭ-КА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк 1952

Printed in the United States of America

ПРЕДИСЛОВИЕ

Юлий Борисович Марголин родился в 1900 году в семье врача, детство и юношеские годы провел в Екатеринославе и Пинске, высшее образование получил в Берлине, где учился философии и филологии и получил диплом доктора философии. По окончании образования Ю. Б. вернулся в Польшу, жил в Лодзи, выпустил несколько книг на польском, русском («Записки о Пушкине») и еврейском языках, и в 1936 году эмигрировал в Палестину. В апреле 1939 года Ю. Б. — все еще польский гражданин — приехал в Польшу, чтобы уладить некоторые личные дела, и в сентябре того же года он должен был пуститься в обратный путь. Но в ночь на 1-е сентября Германия напала на Польшу и Марголин очутился в мышеловке, из которой он освободился лишь через семь лет.

Война застала его в Лодзи, откуда сложными путями он добрался до Пинска, где прожил в обстановке советской оккупации до лета следующего года. В июне 1940 года Ю. Б. был арестован при массовых арестах беженцев из Западной Польши, произведенных тогда во всей советской оккупационной зоне. Через шесть недель он был отправлен эшелоном на север, в район Беломорско-Балтийского канала. Здесь он вскоре получил «приговор» о заключении в «исправительно-трудовой лагерь» сроком на пять лет за пребывание на советской территории (в Пинске!) без советского паспорта. Когда, после вступления Советского Союза в войну, советское правительство объявило амнистию польским гражданам, Ю. Б. был исключен из амнистии и отбыл полностью свой пятилетний срок — до 21-го июня 1945 года. Но и после этого ему не было разрешено ни вернуться в Польшу, ни выехать в Палестину. Год он прожил в Алтай-

ском крае, после этого, в порядке репатриации поляков, вернулся в Лодзь и отсюда, уже беспрепятственно, выехал в Тель-Авив, где живет и поныне.

Книга Ю. Б. Марголина занимает особое место в обширной мемуарной и полумемуарной литературе о советских концлагерях. В печати уже отмечалось, что описания лагерной жизни иностранцами, проведшими несколько лет на советской каторге, оказываются иногда богаче содержанием, чем наблюдения бывших заключенных из среды коренного населения Советского Союза. Этим объясняется, например, исключительный интерес, который вызвали в широких читательских кругах вышедшие в свет на нескольких языках (к сожалению, не на русском) книги Элинор Липпер и Маргариты Бубер-Нойман. Книга Марголина выделяется и среди книг бывших советских каторжан-иностранцев. До того, как он попал в лагерь, Марголин не прошел жестокой школы советской жизни; он не жил и интересами русской эмиграции: его духовные интересы были сосредоточены в области философии и литературы, а его общественные интересы — Марголин с юных лет был горячим сионистом — влекли его в Палестину. Но Ю. Б. вырос в русско-еврейской интеллигентской семье, хорошо знал Россию и русскую литературу, на которой в значительной мере воспитался; естественно поэтому, что среди советских заключенных он чувствовал себя в гораздо меньшей степени иностранцем, чем, например, названные выше авторы. Поэтому — и в какой-то мере благодаря широте его образования — наблюдения Марголина в лагерях глубже и значительнее наблюдений большинства других авторов.

Особенно ценной делает книгу Марголина пристальное внимание, с которым автор наблюдал внутреннюю жизнь людей и процессы душевной жизни (автор не исключил из сферы этих наблюдений и самого себя). С этой стороны исключительный интерес представляет глава шестая «Расчеловечение».

Издательство имени Чехова

ОТ АВТОРА

Задолго до начала Второй мировой войны я собирался съездить в Советский Союз.

Я жил тогда в Лодзи, в Польше. Интерес к Советскому Союзу был велик в этой стране. Правда, иначе интересовались страной коммунизма в Париже и Нью-Йорке, а иначе в Польше, где помнили и 150 лет царской оккупации, и войну 1920 г., где была общая граница, и где Россия всегда была и реальной угрозой и близким соблазном. Компартия у нас была нелегальна. В аграрной и католической стране со слабой промышленностью и ничтожным пролетариатом не было для нее почвы. Еврейская молодежь была коммунизирована на 10 или 15%. Бог знает, что представляли себе под коммунизмом несчастные мечтатели польского гетто. На улицах Лодзи продавались с возков в тридцатые годы «Памфлеты» Радека, «Исторический Материализм» Бухарина. В день смерти Ленина, в январе, в годовщину «трех L», где-нибудь поперек улицы на телеграфных проводах появлялся красный флаг, и еврейские молодые люди били стекла в еврейских же магазинах на Пиотроковской. Радикальная интеллигенция зачитывалась стихами Броневского о «печах Магнитогорска». В варшавских театриках декламировали под гром аплодисментов «Гренаду» Светлова. Туристы ездили по маршрутам советского бюро Интурист знакомиться с великой страной Революции.

Много их возвращалось после недельного пребывания в Москве с коробкой советского шоколада и приятными воспоминаниями. Двухнедельный маршрут давал возможность побывать на Украине. Пред тем, кто мог оплатить 3 и 4-недельную поездку — открывались

курорты Кавказа и Средняя Азия. Таким образом, Андрэ Жид побывал в Гори, на родине Сталина, а Зибург посетил Красную Арктику. Каждый, владеющий пером, привозил из Советского Союза отчет о своих впечатлениях.

В годы моей советской неволи я вспомнил эту литературу. Были среди репортажей и превосходно сработанные вещи, полные тонких наблюдений, остроумия и блеска. Но в целом вся эта литература представляла собой детский лепет. Как скептики, так и энтузиасты одинаково не имели представления о Советском Союзе, не имели права писать о предмете, так мало им знакомом. Смешная и трагическая несоразмерность этой «туристической» литературы с советской действительностью теперь очевидна для сотен тысяч людей, подобно мне, попавших в глубокий тыл советской страны в годы войны.

Кроме этого «официального» туризма, существовал в Польше за все годы ее независимости другой, о котором не писали газеты. Не было такого года и месяца, чтобы через границу не переходили нелегально перебежчики, люди, не хотевшие оставаться в капиталистической Польше и стремившиеся в обетованную землю, «родину всех трудящихся», — в поисках справедливости и свободы. Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе этих людей. Почему ни один из них не дал о себе знать?.. Это не были знаменитые писатели или делегаты из Америки. Когда они пропадали, как камень брошенный в воду, никто ими не интересовался. Это были маленькие люди, анонимы, опилки, как магнитом притянутые мечтой о лучшем мире. А между тем, очень и очень стоило бы опросить этих людей. Их правдивый и нелитературный отчет сказал бы больше, чем томы официальной пропаганды. Много их живет в Советском Союзе, и жаль, что нет у них возможности рассказать о себе.

В городе Бяла-Подляска на базаре стояла будочка, где еврей торговал содовой водой. Дети у него выросли мятежники — Богу не молились и знать не хотели ни польского добра, ни заморской «Палести-

ны». Когда младший вырос и убедился, что мало надежды на революцию в Бяле-Подляской, он сговорился с пограничными крестьянами, и в темную ночь они его перевели на советскую сторону. Было это в 1931 году. Одиннадцать лет спустя я с ним встретился — в советском лагере, в великой и многолюдной стране зэ-ка, и выслушал его историю, похожую на тысячи других.

Страна зэ-ка не нанесена на советскую карту, и нет ее ни в каком атласе. Эта единственная страна мира, где нет споров о Советском Союзе, нет заблуждений и нет иллюзий.

Жил в городе Люблине владелец технического бюро, инженер Мельман. Если остались на свете его родственники — вот справка о бесследно-пропавшем. — Инженер Мельман был человек независимый и своенравный. Он никак не мог согласиться с польским режимом. И он перешел границу с целой группой «недовольных». Их прямо с пограничного поста отправили в тюрьму, оттуда — в лагерь. Там я с ним и встретился. К тому времени, после нескольких лет заключения, это был необыкновенно молчаливый человек, широкоплечий, с потемневшим лицом и сумрачным взглядом. Не думаю, чтобы к этому времени у него оставались еще какие бы то ни было убеждения. Его целью было не умереть в лагере. Но это ему не удалось. Весной 1944 года он умер в исправительно-трудовом лагере Круглица, Архангельской области, от заворота кишек. Кто-то подарил ему два лишние талона на обед, и этого не выдержал его организм, отвыкший от нормальной пищи.

1937-ой год был роковым для «нелегальных» туристов. В этом году была произведена большая чистка в Советском Союзе. Среди миллионов, водворенных в лагеря, оказались все, прибывшие на жительство в Советский Союз из-за границы. Все равно, легально или нелегально. Я помню молоденькую сестру в лагерном бараке для больных. — «За что вас посадили, сестра?» — «Мой папа приехал из Латвии». — «А сколько лет вам тогда было, когда при-

ехал?» — «Восемь». Это не разговор двух сумасшедших. В Советском Союзе это каждому понятно без объяснений.

Я не поехал в Россию через Интурист, и не перешел в темную ночь полесскую границу. Я оказался туристом особого, третьего рода. Мне не надо было ездить в Россию — она сама ко мне приехала. И маршрут оказался у меня особенный, о каких мы ничего не слышали в Интуристе. Пришлось мне наблюдать Россию не из окна отеля «Метрополь» в Москве или из окна вагон-ресторана. Я видел ее через решетчатое окошечко тюремного вагона, из-за колючей проволоки лагерей, перемерял пешком сотни километров, когда гнали с руганью арестантскую толпу по этапу через леса и нищие колхозы севера, пересек дважды Урал — в теплушке и на третьей полке жесткого вагона, где нет и быть не полагается иностранным корреспондентам, — жил в сибирской глуши, ходил, как все, на работу и носил в кармане тот документ, которым так гордился Маяковский: советский паспорт сроком на 5 лет. Этого документа у меня больше нет. Оттого я и могу писать о Советском Союзе то, о чем не снилось нашим мудрецам, и о чем не пишут люди с советскими паспортами.

Люди, симпатизирующие советской системе, полагают, что мой маршрут был неудачно выбран и увел меня в сторону от знаменитых советских путей. Я не был под Сталинградом, не брал Берлина. Если бы я там был, может быть, я писал бы иначе? Может быть. Маршрут мой был выбран не мною, мне его указала Советская Власть. О Сталинграде мир знает все, о лагерях — ничего. Где правда России, на параде победы на Красной Площади, или в стране зэ-ка, которая выпала из географического атласа? Очевидно, надо брать эти вещи в м е с т е, в их целости и взаимной связи. Для меня нет иллюзий, я видел подземную Россию. Я в и д е л. Те же, которые возлагают надежды на Страну Советов, пусть примут во внимание и этот «материал» и согласуют его, как смогут, со своей совестью.

1. ББК

На десятые сутки по выезде из Пинска поезд с с человеческим грузом прибыл на станцию Медвежегорск Мурманской железной дороги. Тут велели нам выходить. С мешками и узлами посыпалась из вагонов толпа, разминая ноги, мигая отвыкшими от света глазами.

На станции, стоя немного в стороне, встречал нас большой толстый человек в длинной гимнастерке, с величественной «командирской» осанкой. Мы очень удивились, услышав, что он говорит на ломаном еврейском языке.

— Я сам из Варшавы, — смеялся он, — и, видите, еще кое-что помню. — Люди обступили его со всех сторон.

— Не подходить! Близко не подходить! — он брезгливо отстранился и вынул блестящий портсигар, к которому немедленно приковались глаза грязных, измученных дорогой людей. — Чем занимался? — Чем занимался? — показывал пальцем то на одного, то на другого, и на все ответы только кивал головой и приговаривал:

— На лесоповал! На лесоповал!

Какой-то сморщенный старичок сказал ему, что торговал в Польше всякими пряностями, перцем, уксусом. — Перец! Уксус! — захохотал человек с портсигаром. — Здесь тебе, дедушка, и без перца горько будет! — Он смеялся, но глаза его смотрели без улыбки и пристально — глаза приемщика товара или таксатора в ломбарде.

Это был Левинсон — майор Госбезопасности, человек, стоявший во главе «лагерей ББК», то есть лагерей в зоне Балтийско-Беломорского Канала, с

центром в Медвежегорске. Мы находились в Карело-Финской Республике, на северной оконечности Онеги, озера поверхностью в 10.000 кв. километров. Отсюда до Белого Моря располагались ИТЛ — исправительно-трудовые лагеря НКВД — сотни лагерей, подчиненных Левинсону. Этот человек имел под своей властью около полумиллиона государственных рабов. Но мы этого не знали. Мы настолько не имели понятия о том, что нас ждет, что задавали наивные вопросы доброму дяде на станции Медвежегорск:

— А что, пустят нас теперь в город вольно?

— Нет, — улыбнулся Левинсон, — как же можно пустить вас вольно? Ведь вы заключенные.

И тут мы узнали впервые, что мы «заключенные», но еще не понимали, что это значит.

Нас построили в колонну. Давид, бывший солдат польской армии и человек бывалый, показал мне, как надо завязать мешок: вложил камешек в нижний угол, над камешком связал веревку узлом, чтоб не спадала, другим концом стянул сверху мешок, и я взвалил его на плечи. Мы тронулись по четыре в ряд.

Город Медвежегорск был весь деревянный, бревенчатый, как большинство городов на севере России. Дома его напоминали то окраину Пинска, то дачные постройки в Польше, с балкончиками, крылечками, ставнями, малыми окошечками. Мостовых не было. Мы брели, подымая клубы пыли. Пусто было на улицах. Ни магазинов, ни вывесок. В одном месте под запертой дверью с надписью «ларек» стояла очередь из старух и босых мальчишек, в терпеливом ожидании.

Шли мы долго. Вдруг, прямо из песков и бугров, вырос каменный дворец в три этажа с колоннадой.

— Что? — спросил нас конвойный, — в Польше тоже такие дома? — Мы с чистой совестью могли ответить, что в Польше нет таких домов. Это было главное управление лагерей ББК НКВД — образец советской культуры.

Весь этот город, с его двумя или тремя десятками тысяч жителей, был построен заключенными. Жи-

тели его либо принадлежали к персоналу управления лагерей ББК, либо состояли из бывших заключенных, которые по отбытии срока были оставлены здесь на поселение.

Все эти люди, которых мы видели, проходя по улицам — не были вольными людьми! Мы с удивлением повторяли эту весть, которая для нас звучала фантастически. Но это была правда. Все люди здесь либо отбывали наказание, либо отбыли наказание, либо принадлежали к аппарату наказания. Конечно, и те, кто управлял заключенными из каменных дворцов в центре Медвежегорска — не были вольные люди. Это были — тюремщики.

А где же здесь было наше место? Мы прошли пять километров, и город остался за нами. Мы едва двигались с нашими узлами и мешками. Конвойные гнали нас с винтовками наперевес, толкая отстающих, понукая нас грубой бранью. Наконец, мы дошли до ворот и сели на землю. Через некоторое время вышли люди со списками и стали по одному вызывать. Проходили часы. Через узкую дверь сбоку ворот нас пропускали на широкий двор, окруженный бараками. Вокруг двора шел высокий забор, с колючей проволокой сверху. В старые времена это называлось «острог». Теперь это был «лагпункт».

Точнее, мы находились в пересыльном распределительном лагере, откуда все прибывающие партии заключенных рассылались по отделениям ББК. В самом Медвежегорске находился лагерь на 3000 человек, лагерь особо-привилегированный, куда попасть считалось счастьем, так как люди жили здесь «в центре», где и снабжали лучше и были возможности городской работы. Наш «двор для проезжающих» был расположен отдельно. Никого, кроме нас, там не было, бараки были отданы в наше исключительное пользование. Бараки — были сараи, без окон, и явно не приспособлены для постоянного жилья.

Мы провели три дня в этом месте. Здесь мы отдыхали с дороги. После голодного этапного питания суп и каша, которые нам выдавались, казались не-

обыкновенно вкусными. На открытом воздухе стоял стол с медикаментами, туда можно было подходить с жалобами. Здесь мы впервые познакомились с основным лагерным словом: «Санчасть».

На второй день привезли со станции наши вещи, которые следовали тем же эшелоном. Их сбросили в одну кучу под забором. Многие чемоданы поломались, узлы распались, и когда мы явились разыскивать в общей куче свои вещи, то для некоторых уже было поздно — все их пожитки были растасканы. Мой чемодан валялся открытый, но бóльшая часть его содержания уцелела. Там было одних верхних рубашек с дюжину. Я сохранил столько носильных вещей, что на долгое время мог считать себя обеспеченным. Во всем Медвежегорске не было в тот вечер столько сокровищ и вещей европейского обихода, сколько их валялось под забором пересыльного пункта ББК.

Это были хорошие дни. Нас сводили в баню, и я могу удостоверить, что за все последующие пять лет я не был в такой замечательной и чистой бане. Здесь не было европейских душей, а были российские шайки, лавки под окнами, много горячей воды. Два дня мы лежали на солнце, на травке, — сотни людей — сидели на завалинках под бараками и под августовским северным солнцем читали «последние известия», то есть давили вшей на рубахах.

Шатаясь по двору, мы сделали открытие. В одном месте за забором лежали люди. Несмотря на то, что подходить к этому забору было запрещено, мы все же успели под ним побывать. Через щели между досок мы увидели полянку, которая вся была покрыта лежащими. Это было незабываемое мгновение. Мы в первый раз увидели русских заключенных. Это была серая масса людей в лохмотьях, лежавших без движения, с бескровными бледными лицами, остриженных, с воровским и сумрачным взглядом. Некоторые из них поднялись и, крадучись, подошли к забору.

— Кто такие?

— Поляки.

— Слышь, поляки! — они стали расталкивать друг

друга. Через забор глядели на нас тусклые, тяжелые, холодные глаза. Мы спросили:

— Не знаете, куда нас отправят?

— Что, не знаешь? — засмеялись с другой стороны. — В лес поедешь. — И человек стал нам показывать мимикой нашу судьбу.

Мы не поняли сначала, что значат его движения. Он согнул руку и стал равномерно двигать ею вперед и назад. Это было движение пиления. Человек пилил и беззвучно смеялся, глядя на наши удивленные лица.

— Нет ли хлеба на продажу? — стали подходить другие. Тут же кто-то сторговал рубашку. — Дай примерить! — и не успел неопытный продавец-новичок опомниться, как у него вытащили рубашку через щель в заборе. Она немедленно исчезла. За забором засмеялись. — Вот как поляк рубашку продал! — Тут подошел стрелок и отогнал нас от забора.

Под вечер третьего дня нас собрали и под конвоем вывели из этого прекрасного места.

Снова мы пылили по дороге, на этот раз обратно в город. Свернули в боковую улицу и вышли на медвежегорскую пристань.

На пристани пахло смолой и пиленым лесом, у берега стояли баржи. Огромная баржа была приготовлена для нас. Наше место было в трюме. Там поместилось 650 пинчан. Кроме того, с нами поехала партия женщин — около 30 полек, несколько десятков конвойных и служащих ББК, и стрелки с собаками. Огромные черные псы, дрессированные для охраны и охоты на людей, помещались в передней части баржи на помосте. Внизу, в проходе, люди сбились в одну сплошную массу и так тесно лежали на полу, что трудно было пройти среди них. Кухни на барже не было. Нам выдали хлеб, по селедке на брата и по коробке консервированного гороха на четверых. Предупредили, что ехать недолго. Но мы были в пути около 1½ суток.

Маленький пароходик тащил нашу баржу на буксире. Мы отплыли из Медвежегорска во второй половине дня. Это было мое первое путешествие по

Онеге. Я нисколько не сомневался, что будет и второе, — и я проделаю то же путешествие в обратном направлении. Не было времени задумываться и горевать: то, что происходило с нами, было так необычно, что текущие впечатления захватывали все внимание. Мы вышли на широкий водный простор. Огромное, как море, озеро сияло темной лазурью, блестело серебром. Мы плыли сперва в виду лесистых берегов, потом вышли на средину, и берега отступили и потерялись... Иногда показывались на горизонте островки и проплывали вдалеке паруса и пароходики.

Но все это мы видели только урывками и украдкой. Арестантская баржа не приспособлена для наслаждения красотами природы. Из трюма, где мы находились, ничего не было видно, кроме узенькой полоски неба при выходе; чтобы увидеть, что делается за бортами, надо было подняться на помост. Но там задерживаться не полагалось, и оттуда нас гнали собаками. Ночью мы мерзли и, так как дорога затянулась, то и поголодали бы, если бы не обстоятельство, которое придало нашим мыслям другое направление.

Комбинация недопеченного черного хлеба и онежской воды, которую мы черпали для питья ведрами, имела печальные последствия. Начался острый и массовый понос на барже, где не было уборных. Уже в пути сколотили на помосте подобие будочки из досок, выдававшейся над бортом. Одно место — на 700 человек. С утра началась на онежской барже великая трагикомедия. Полицейские псы и вооруженные люди охраняли дорогу на помост. Нам открылось, что в ряду европейских демократических свобод, которых мы не ценили, не последнее место занимает свобода и легкость отправления физиологических потребностей. На лестнице, ведшей наверх, сгрудилась толпа, люди выли, стонали, умоляли пропустить, и, наконец, десятки людей не выдерживали. Баржа превратилась в корабль несчастья. Все возможные и невозможные углы в ней были загажены. При выходе на помост стоял часовой и каждые 3 минуты подавал зычным голосом команду, которую невозможно здесь привести во

всей ее живописности. С другой же стороны стояла очередь женщин, на глазах которых происходили неописуемые сцены.

Бедные женщины! На барже их поместили отдельно, но церемонились с ними так же мало, как и с нами. Это были варшавянки, девушки, которые даже в этих условиях сохраняли еще след какой-то миловидности, держались храбро, выглядели прилично. Одна из них нашла своего брата в нашей толпе. Подойти к нему она не могла, но издалека махала рукой, улыбалась. Все ее лицо светилось счастьем встречи. И не одному из нас стало грустно, что некому было н а м так улыбаться — и подарить нам крупицу тепла в чужой стране, среди врагов и тюремщиков.

В углу баржи пели. Вероятно, впервые звучали над Онегой такие песни, потому что вдруг встрепенулся советский лейтенант — «гражданин начальник» — точно его обожгло — и подошел, стал слушать. Молодой еврей замолчал.

— Пой! — сказал ему лейтенант.

— Не буду петь! — и повернулся плечом, словно вспомнил: «На реках вавилонских».

— Пой! — сказал лейтенант: — ты — еврей, и я — еврей. Вот уже 20 лет я не слышал этих песен. Детство мое отозвалось во мне, тянет за сердце, не могу слушать спокойно. Пойдем наверх, я дам тебе пить, сколько хочешь, только пой!

И за цену чистой воды молодой парень спел ему песню, песню которую на варшавских дворах распевали бродячие еврейские музыканты:

Zu dir — libe — fühl ich!
Majn Harz is ful mit Frajd!
Nor doch stendik fühl ich —
As mir wel'n sajn zuschajt.

Ich halt sich in ajn Shreken —
Majn Harz is ful mit Pajn —
Wenn ich wel sich ojfweken
Un du west mer nit sajn! —

Над гладью Онеги плыла печальная мелодия и хватала за сердце.

Draj klejne Werter — gedejnk' sej git —
Ich bet ba dir — fargess mich nit!..

Лейтенант помрачнел и ушел на другой конец баржи. Больше он к нам не подходил.

Баржа причалила к бухте, где с двух сторон тянулись склады бревен и досок. Началась разгрузка. Мы вышли на песчаный плоский берег. Прямо перед нами были рельсы узкоколейки. Сразу за рельсами начинался мокрый лесок, болотная топь. Ландшафт был невеселый: болото, лес и штабеля бревен. Медленно, лязгая буферами, подошли открытые товарные платформы. Мы расположились на них со своими узлами. Женщин было с нами немного и их посадили отдельно. «Лагпункт», где это происходило, назывался Остричь (на северном побережьи Онежского озера). Мы тронулись.

Поезд шел медленно через лес. Мимо нас, освещенные августовским солнцем, проплывали березы, сосны, ели — сменялись перелески, поляны, болота и мокрые равнины. В унылости этого пейзажа было что-то похожее на белорусскую природу. Только все это было безлюднее — и на всем лежала тень какой-то пустынной и мрачной угрюмости. Глухая, заброшенная сторона. На поворотах наш маленький паровозик оглушительно свистел, и на деревянных щитах у полотна мы читали непонятную для нас надпись: «Закрой поддувало». Свежий и чистый воздух входил в наши легкие, и после недавнего пребывания в трюме дорога через лесные дебри была для нас отдохновением... Показались в лесу блокгаузы — постройки, сколоченные из больших бревен... Мы чувствовали, что это не обыкновенный лес и не обыкновенный край. Хотя мы уже много отъехали — не было ни станций, ни названий, ни следов мирного жилья. На одной остановке

мы увидели старого узбека с белой бородой и монгольским высохшим лицом. Откуда взялся узбек в карело-финском лесу? — Дедушка! — начали ему кричать с нашей платформы: — как этот город называется? — Узбек повернул лицо, смотрел потухшими глазами. — Какой тебе город? — сказал он в горестном изумлении: — Ты разве город приехал? Ты лагерь приехал!

Тут я вспомнил начало Дантова «Ада»:

— В средине нашей жизненной дороги
Объятый сном, я в темный лес вступил...

Да, это был удивительный лес: кого здесь только не было? — узбеки, поляки, китайцы, украинцы и грузины, татары и немцы. В одном месте мы проехали полянку, на ней стояла группа человек в сорок. Это были обитатели леса.

Они смотрели с любопытством на поезд, везущий «новичков», а мы с неменьшим любопытством глядели на них. Обе стороны имели чему дивиться.

Мы были «иностранцы», которых сразу можно было узнать по желтым и зеленым чемоданам, по пиджакам и пальто, по верхним рубашкам всех цветов, по европейской обуви и по разнообразию костюмов. Как мы были богаты, как мы были пестры и неодинаковы — это мы поняли только, когда увидели обитателей леса.

Люди серо-мышиного цвета. Все было на них мышино-серое: какие-то кацавейки, долгополые лохмотья, на ногах бесформенные опорки на босу ногу, на головах серо-мышиные ушанки с концами, которые разлетались и придавали лицу дикое выражение. И лица также были серо-мышиные — замлистого оттенка — и все они точно были засыпаны пылью. Все, что носили, сидело на них по-шутовскому — либо слишком широко и длинно, либо узко и коротко. Все они держались вместе, а в стороне торчал человек с ружьем, который был одет по-военному и явно принадлежал к «другой расе».

Наконец, мы прибыли к назначенному для нас месту.

Налево был высокий хвойный лес. Направо — громоздились штабеля бревен и дров, а за ним был издалека виден высокий лагерный частокол и ворота. Туда вела широкая дорога, настланная бревнами. Мы шли по ней, спотыкаясь и стараясь не попасть ногой между бревен. С обеих сторон деревянного настила было черное болото. Мы подошли к воротам и прочли на них надпись сверху:

«БЕСПОЩАДНАЯ БОРЬБА БРАКОДЕЛАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ!»

А ниже был изображен на доске ржавыми выцветшими буквами лозунг:

«ДЕРЖИТЕ РАВНЕНИЕ ПО САВЧЕНКО И ДЕМЧЕНКО».

Нас ожидали. Высокий хромой человек распоряжался встречей. Это был начальник лагеря. За ним стояли вооруженные: это был ВОХР, т. е. стрелки корпуса «военнизированной охраны» лагерей. Командир взвода ВОХР'а и начальник лагпункта — были распорядителями нашей судьбы. Тут же были люди из отделения — начальники Финчасти и Санчасти — инспектор КВЧ (культурно-воспитательная часть), люди, в именах и функциях которых мы не разбирались. Хромой начальник лагпункта очень волновался. — «Позвать зав. УРБ!» (учетно-распределительное бюро). Явился зав. УРБ, одетый в серо-мышиный костюм, как полагается заключенному, и в хорошие сапоги, что уже свидетельствовало о высоком положении в лагере. Начальник лагпункта тут же обругал его звучно и семиэтажно, за опоздание. Зав. УРБ вытащил списки и начал вызывать по одному. Мы проходили в помещение вахты, где стрелки ВОХР'а проверяли наши вещи и пропускали на территорию лагеря. Потом развели нас на ночлег.

Мы шли по улице. Стемнело. С обеих сторон чернели лагерные избы. Тонкий писк приветствовал нас. — «Смотрите, смотрите!» — Это бежали нам под ноги, шмыгали по всем направлениям огромные лагер-

ные крысы. Крыс такой величины и смелости мы еще никогда не видели. Недаром не было в лагере кошек: крысы бы их съели. В бараке пахло затхлостью и сыростью. Мы вошли по истлевшим ступеням в темные большие сени. Дверь висела на одной петле. Из сеней четыре двери вели в четыре помещения, каждое человек на 30-40, с двухярусными нарами. Ничего, кроме голых досок. В окнах половина стекол была выбита. Не было освещения.

На дворе уже выстраивалась очередь под окном кухни, и наш вожак (мы все еще держались группами, как рассадили нас по вагонам в Пинске) побежал узнавать насчет кормежки. Хлеб выдали нам с утра, теперь полагались суп и каша. Выдача замедлялась, так как нехватало мисок на 650 человек. Мы поели уже в темноте и легли не раздеваясь.

Мы еще не верили, что это конец нашей дороги. Бараки выглядели, как место привала, а не человеческое жилье.

Ночью разбудил нас отчаянный вопль.

Мы повскакали с мест: кричали за стеной, в соседнем помещении. Прибежав туда, мы застали дежурного с фонарем и вокруг него толпу в панике. Что случилось?

Это был «крысиный бунт».

Новоприбывшие не знали, что на ночь нельзя оставлять хлеба на виду или даже в сумке. Ночью обрушились на них крысы, вылезли из всех щелей, гонимые свирепым голодом, почуяв человеческое тепло, хлеб, крошки, остатки, запах еды... Крысы не испугались людей, кинулись на нары — и тогда люди испугались крыс. Кто-то проснулся и увидел огромную крысу на своей груди. Он дико крикнул, как маленький: «Мама!» — и это привело к повальной истерии. Нервы не выдержали. Напряжение последних недель, испуг, который месяцами нарастал в этой зеленой молодежи, в тюрьме и на этапе, — разрешились нечеловеческим, сумасшедшим криком, плачем. Сотни людей бесновались и кричали: «Щуры! щуры! — заберите нас отсюда! Мы не хотим здесь оставаться!» —

Стрелки ВОХР'а сбежались со всего лагеря. Когда дежурный узнал, что поляки испугались крыс, он просто остолбенел от изумления. Он не мог этого понять. Стрелки хохотали. Дежурный успокаивал нас как детей.

— Вы привыкнете! — сказал он. — Ведь это не опасно. Разве у вас в Польше не было крыс?

И он был прав. Мы привыкли. Через 3 месяца я так привык к крысам, что они могли танцовать у меня на голове. Я только поворачивался во сне на другой бок и сгонял их рукой с тела или с лица.

2. СОРОК ВОСЬМОЙ КВАДРАТ

Лагерь, о котором будет рассказано в этой главе, не так страшен, как те, где немцы уничтожили миллионы людей. Это — один из тех бесчисленных советских ИТЛ — исправительно-трудовых лагерей, которые после войны, как до войны, продолжают функционировать в Сов. Союзе. В тот момент, когда вы читаете эти строки, в лагере «48-ой квадрат» идет нормальная лагерная жизнь. Я не буду рассказывать об ужасах или исключительных событиях. Моя тема: обыкновенный советский концлагерь.

Люди, проживающие в лагере, называются «заключенными». Техническое и разговорное сокращение: «з/к» — читай — зэ-ка́. В лагере, о котором идет речь, находилось в половине августа 40 года 650 «зэ-ка» из города Пинска. Через несколько дней в тот же лагерь прибыла партия в 350 з/к из города Злочева из окрестностей Львова. Общее число з/к дошло до 1000. Все это были польские евреи. Поляков было среди них несколько десятков. Затем на разные должности в лагерь было переведено около 50 русских з/к. Личный состав лагеря: 1050 з/к. Это — лагерь средней величины: бывают меньше — и много больше.

Около 40 стрелков ВОХР'а несло охрану в лагере и вокруг него. Несколько десятков вольных (начальник лагпункта, комендант и другие служащие с семьями) жили в домиках за чертой лагеря. Таким

образом при 1050 арестантах находилось более 100 вольных, которые обслуживали лагерь, но не имели права жить и находиться в нем после часов службы.

«48-ой квадрат» лежит в лесу, на север от Онежского озера и относится ко 2-му Онежскому Отделению ББК. Это — «лагпункт» (л/п). Несколько «лагпунктов» образуют «отделение». Несколько отделений складываются в целое, которое называется «Лагерь Бебека́». В свою очередь «Лагерь ББК» — только один из большого числа лагерных комплексов, покрывающих Советский Союз. Такие лагерные комплексы или, в официальном сокращении Лаги имеются в любой области Сов. Союза, хотя административное деление на области, которому подлежит «вольная» Россия, и не совпадает с карательно-полицейским делением на Лаги, которому подлежит заключенная Россия. Куда ни ткнуть пальцем на карте — везде находятся Лаги — на Новой Земле, Колыме, Камчатке, на Кавказе, под Москвой, на Алтае и на берегах Тихого океана. По всей Советской России число ЛАГ'ов, вероятно, много более ста, а в каждом — сотни лагпунктов. Примем для ориентации 100 x 100 = 10.000 лагпунктов. Если в каждом лагпункте, как на нашем 48-ом квадрате, по 1.000 з/к, то сумма заключенных в Сов. Союзе составляет 10 миллионов. В отдельные же годы, когда по населению Сов. Союза прокатывается волна террора («чистка»), число обитателей лагерей может составлять и 15 миллионов, и больше. Не все Лаги так велики, как ББК; но зато имеются л/пункты, насчитывающие не одну, а несколько тысяч зэ-ка́. Только Главное Управление Лагерей в Москве, сокращенно называемое ГУЛАГ, знает точную цифру лагерного населения, но нам не скажет.

Главное Управление Лагерей или ГУЛАГ — очень молчаливое, скромное и засекреченное учреждение. Его представители не выступают на пресс-конференциях и интернациональных съездах. А между тем, ему есть чем похвалиться. Среди великих достижений советского строительства, о которых не умолкает реклама в мировом масштабе, не последнее, а

п е р в о е место принадлежит такому гигантскому делу, как воздвижение десяти тысяч (или больше) поселений особого типа, складывающихся в величайший производственный концерн в мировой истории. Очень жаль, что на этот концерн надета шапка-невидимка, — и правительство, не делающее секрета из рекордов «социалистического строительства», в данном случае действует конспиративно. Но, вероятно, оно знает, что делает.

Я находился на 48-ом квадрате с половины августа 1940 года до 24 июня 1941 года — свыше 10 месяцев. Это — пункт лесоповальный. Лесоповал производился на внутренний рынок и на экспорт. Если бы то дерево, которое Советский Союз до войны высылал на мировые рынки, могло говорить, оно бы рассказало о море крови и слез, которое пролито в советских лагерях. Кроме лесопунктов, имеются «сельхозы», рудники, шахты, заводы, фабрики и мастерские, строительство каналов, городов, железных дорог и шоссе — короче, все виды труда, включая и высококвалифицированный труд инженеров, конструкторов и исследователей. Вся эта сеть лагпунктов, перпунктов, трудколоний и ОЛП'ов («отдельных лагерных пунктов») существует в условиях «48 квадрата», т. е. государственного рабства.

Наше отделение имело свой центр в поселке Пяльма, на полпути между Остричью и «48-ым квадратом». «Поляки» или «западники», как нас называли, были размещены в ряде лагпунктов нашего отделения (напр. 5-ый, 8-ой, Боброво и другие). В ту зиму говорилось, что из восточной Польши привезли в район Онеги 50.000 человек. Они с легкостью разместились в сотнях лагпунктов ББК.

Вольное население в этом районе очень редко, и чем дальше к Белому Морю и Ледовитому Океану — тем реже. На крайнем севере России не колхоз, а именно исправительно-трудовой лагерь является «нормальным» типом поселения. Есть части страны, где основная масса населения заключена в лагеря.

48-ой квадрат занимает площадь в три гектара.

Он огорожен высоким частоколом. В четырех углах палисада стоят (вне ограды) деревянные вышки, на которых днем и ночью стоят часовые. Приближаться к частоколу запрещено. Вокруг каждого лагпункта, как извне, так и извнутри, имеется «запретная зона». На 3-4 метра от частокола вбиты низкие колышки с надписью на деревяннах дощечках: «Запретная зона». Часовые имеют право стрелять в каждого, кто входит в запретную зону. Пространство внутри ограды, отделенное запретной зоной — есть «зона лагеря» или просто «зона». Говорят: заключенные работают за зоной, живут в зоне. Миллионы советских людей в качестве зэ-ка́, сотни тысяч — в качестве охраны и службы НКВД — проводят свою жизнь «в зоне».

Войти в лагерь и выйти можно только через в а х т у. Открыв дверь, каждый проходит мимо окошечка, где сидит дежурный стрелок, отмечающий входящих и выходящих. На тысячу зэ-ка́ 48 квадрата человек 30 имеют «пропуск», т. е. право выходить за зону. Получить «пропуск» нелегко. Он, как правило, не выдается политическим заключенным, а «бытовики» получают его лишь тогда, когда к ним имеется полное доверие. Чтобы получить «пропуск», надо много лет просидеть в лагере, быть каждому известным, находиться в последнем году заключения. Пропуск выдается комвзводом Охраны таким людям, которые по характеру своей работы должны иметь относительную свободу передвижения: начальник работ, начальники участков, работники конпарка и инструменталки, расположенных за зоной лагеря, и др. Это — пропуска постоянные. Однократные пропуска выдаются на день-два отдельным заключенным, посылаемым по делу: письмоносцу, бухгалтеру, возчику.

Все остальные выпускаются через вахту не иначе, как целыми бригадами под конвоем стрелков.

Пройдя вахту, мы попадаем на улицу. Справа и слева — строения. Вот — лагерное «строительство»: торчат срубы, лежат круглые ровные бревна. Строят два новых барака. Один — жилой, для прибывающих зэ-ка, в другом будет «центральный изолятор»

для отделения, т. е. тюрьма в тюрьме. Прямо против вахты — банька, ветхая покосившаяся избушка, при ней прачечная. Здесь улица делает изгиб. Направо стоит хлеборезка и пекарня. По левой стороне вещкаптерка, при ней сапожная и портняжная мастерская. Дальше крошечный «стационар» — больничка на 8-10 кроватей. На пригорке стоит новый чистый домик. С одной стороны он огражден колючей проволокой. Там помещаются женщины, которые среди мужского населения должны особо охраняться. С другой стороны того же барака находится продкаптерка (склад продовольствия), и там же «ларек». Заключенные иногда имеют возможность купить по «коммерческим» ценам, что окажется в ларьке, но по большей части он пуст, и лучше на него не надеяться.

Улица поворачивает еще раз. Справа и слева — жилые бараки, каждый человек на 150, а среди них «клуб», с культурно-воспитательной частью, кухня, барак АТП (административно-технического персонала). Барак этот населен лагерной аристократией — бригадирами, десятниками, конторщиками. В конце улицы — контора, которая в других лагерях называется иногда «штаб»: там помещаются бухгалтерия и администрация лагеря, кабинет начальника. Против конторы — амбулатория, она же Санчасть, домик с сенцами и 3 комнатками, где принимают и лечат и где живут заключенные врачи, сестры, санитары и лекпомы. Тут кончается лагерь: дальше запретная зона и забор. Если спуститься с пригорка, на котором стоит амбулатория, то за ней по тропинке можно дойти до заборика с запертой калиткой: внутри лачуга плачевного вида, которая выглядит как необитаемая и всеми забытая развалина. В ней одно крошечное оконце с пыльным стеклом, темным от грязи и густой паутины. Это ШИЗО — иначе штрафной изолятор — или попросту карцер, куда сажают заключенных по приказу начальника лагпункта. В Архангельской области лагерники называют ШИЗО по своему — «кур».

Вот и все. Впрочем, за куром — где начинается

сплошное болото — стоит на отлете еще сарайчик. Это «кипятилка» — один из жизненных центров лагпункта. Внутри печь, куда вмазано два или три огромных котла. Кипятилка топится днем и ночью, и когда лагерь уже спит, на пустыре, где стоит этот сарайчик, пылает огонь, и в раскрытых дверях мечутся полунагие фигуры кипятильщиков. Обеспечить кипятком тысячу человек — важное и ответственное задание. На рассвете, в 6-ом часу утра, а зимой еще затемно, тянутся из всех бараков в кипятилку дневальные с деревянными тяжелыми ведрами — и горе кипятильщику, если до выхода на работу или по возвращении из лесу озябшие и промокшие бригады не получат кипятка, который русские люди со всей серьезностью называют «чай». Такой неисправный кипятильщик будет исколочен своими товарищами, а начальством обруган, снят с работы, посажен в карцер, а потом выслан «на общие работы».

Последнее — самое страшное для человека, принадлежащего к лагерной обслуге. «Пойти в лес» — эта угроза висит над каждым, кому посчастливилось устроиться на работу в лагобслуге, и чем лучше он устроен, тем страшнее эта угроза. Социальное неравенство нигде не выступает в Советском Союзе так обнаженно, как именно в лагере, где разница между завкухней или другим «завом» — и обыкновенным зэ-ка, которого каждое утро гонят в лес, больше, чем между миллионером и чистильщиком сапог в Нью-Йорке.

Все перечисленные здания находятся на косогоре и не занимают много места. Остальная территория лагеря — топкая болотная низина, откуда тянет гнилью и слышно, как стонут жабы. Никто туда не ходит, кроме дневальных, берущих воду из низкого колодца багром с привязанным протекающим ведром. Кругом колодца разлита большая лужа. Летом после дождя, а весной и осенью постоянно, вся эта часть лагеря представляет собой непролазное болото. В грязи тонет и улица.

Несколько лет тому назад на месте лагеря был

лес. Заключенные выкорчевали его, но до сих пор весь лагерь полон выбоин, ям, пней, а выкорчеванные огромные корни валяются всюду, как чудовищные осьминоги или мертвые пауки, подняв к небу искривленные деревянные щупальцы. В ненастный осенний день эти корни, вывернутые, вырванные и брошенные на дороге, придают лагерю вид судорожного и немого отчаяния, и чем-то напоминают те живые существа, которые копошатся среди них. А рядом уходят в землю пни, и, кажется, их корни под землей еще продолжают видеть свой сон о высокой вершине и живой зелени, как человек с отрезанной ногой еще чувствует дрожь в несуществующих пальцах.

Не всегда было так хорошо и благоустроено на 48 квадрате. Старожилы позже рассказали западникам, как построили этот лагерь. Заключенные своими руками построили для себя места своего заключения. В 1937 году, когда миллионная волна заключенных хлынула на север, еще ничего не было на этом месте. В суровую зиму люди жили в палатках в лесу, ночевали у костра в снегу, не имели ни еды, ни лекарств. Те, кто пришли сюда первыми, положили здесь свои кости. «48-ой квадрат», как и другие лагеря, стоит на костях человеческих. Люди здесь замерзали и погибали от голода. Было время, когда за 100 метров нельзя было пронести хлеба для раздачи людям иначе, как под охраной вооруженных. Грузины и казахи, люди знойного юга, вымерли здесь в течение одной зимы наполовину. Из партии в 500 человек осталось 250. Тот, кто рассказывал мне об этом — грузин из-под Батума и не старый человек — был после трех лет в ББК тоже конченным человеком — бессильным и осужденным на смерть инвалидом. Не 50, а все 100% из его партии погибли в онежских лесах. Мы, поляки, прибыли уже на готовое, и люди нас кругом поздравляли с удачей: «ваше счастье, что в 1940 году, а не в 37-ом, или 33-ьем».

На безымянные могилы заключенных не придут их родные и близкие. Семьям погибших не сообщается об их смерти, и только многолетнее молчание служит

зна́ком, что человек погиб в лагере. Пока люди живут, они пишут. В так называемые «открытые» лагеря можно не только писать, но и получать письма оттуда. Можно, в особых случаях и после долгих хлопот, даже получить свидание с заключенным. Можно писать раз в месяц или раз в три месяца, хотя эти ограничения не в каждом лагере соблюдаются одинаково. На далеком севере, в Заполярьи и в Арктической зоне, лежат «закрытые» лагеря. Туда направляются особо «опасные» элементы. Люди, находящиеся там, не имеют ни права переписки, ни права свидания с родными. Кто попадает туда, заживо похоронен и никогда уже не вернется в круг живых. Если это маленькие люди, их скоро забудут. Если люди с именем — будут думать, что они умерли — неизвестно только, в котором году.

Отсидев свои 5, 8, 10 лет, заключенный не получает разрешения вернуться на прежнее место жительства. Чаще всего он остается на месте. Тут его знают, и тут его прошлое не будет его компрометировать. Он становится поселенцем, устраивается при каком-либо лагере, и с течением времени может выслужиться. Почти о каждом начальнике, который приезжал на 48 квадрат из Пяльмы или Медвежегорска, нам рассказывали, что это бывший заключенный. Те, кто выезжают в Центральную Россию или другие «нормальные» районы Сов. Союза, получают на паспорте отметку о пребывании в лагере, которая навсегда закроет пред ними возможность ответственной или хорошо оплачиваемой работы. Легендарные «исключения из правила» только подтверждают закон. А закон таков, что, где бы они ни поселились, они будут внесены в списки НКВД и при ближайшей оказии будут первыми кандидатами на возвращение в лагерь.

Советская власть совершенно справедливо и обоснованно не может иметь доверия к тем, кто побывал хотя бы короткое время в лагере и видел позорную тайну режима. Для таких людей освобождение и выход на волю являются сплошь и рядом только антрактом или отпуском, за которым через несколько лет

следует возврат в лагерь. Советские лагеря полны людей, которые свыклись с заключением, как со своей судьбой. В первый раз они были арестованы в 20-ые годы, и с тех пор 2-3 раза освобождались и наново водворялись в лагерь. В каждом арестантском эшелоне, везущем пополнение в лагерь, находятся среди новичков «бывалые» люди, для которых зона лагеря является родным домом. Пройдя через вахту, они естественно и сразу входят в знакомую и привычную для них колею лагерной жизни.

3. РАБГУЖСИЛА

«Рабгужсила» — гениальное лагерное слово. Личный состав на лагпункте складывается из людей — это «рабсила» — и лошадей — это гужевая сила, транспорт. В слове «рабгужсила» соединяются люди и животные, смешиваются в одно и уравниваются в достоинстве, ценности и судьбе: выполнять возложенное рабочее задание.

Начальник лагпункта Петров, долговязый хромой ветеран гражданской войны, бывший красный партизан, пришел в полное недоумение, увидев странную рабгужсилу на 48-ом квадрате. Лошади были как лошади: заморенные лагерные клячи, скелеты на дрожащих ногах, обтянутые кожей в ссадинах, жующие пайковое государственное сено по норме. Но люди! Таких людей еще не было на лесоповале: западники, польские евреи, народ худосочный, одетый в изысканные костюмы, говорящий на иностранных языках, ничего не соображающий в том, что вокруг него делается. Женщины были жены польских офицеров, гордячки, аристократки. Еще больше поразило Петрова, когда доставили в лагерь 350 галицийских евреев из Злочева. Эти евреи были взяты наспех, их даже не успели допросить и отобрать ценные вещи, и они привезли с собой часы и золотые кольца, ходили в черных кафтанах и картузиках, и каждый выглядел как духовное лицо неизвестного иудейского вероисповедания. Некоторые привезли по несколько тысяч руб-

лей, которые были у них отобраны и депонированы в Пяльме, в финчасти.

Петров начал с того, что собрал людей на беседу и сказал им:

— Сроков и приговоров у вас нет. Люди вы культурные, заграничные. Но штука в том, что вы находитесь в исправительно-трудовом лагере и, следовательно, обязаны подчиняться лагерному режиму. Будем надеяться, что положение ваше скоро выяснится, а пока будьте любезны работать. В Советском Союзе кто не работает, тот не ест.

На следующий день приехала из Пяльмы заключенная женщина-врач, по фамилии Вагнер, и установила нашу трудоспособность. Нас разделили на группы: 1-ая и 2-ая категория — тяжелый труд, 3-ья категория — облегченный труд. Потом шли инвалиды первой и второй группы, с частичной и полной нетрудоспособностью. Что этим последним было делать в исправительно-трудовом лагере — было непонятно. Есть им давали меньше всех, но все смотрели на них с завистью: могут не работать.

Женщина-врач посмотрела на мои толстые стекла очков, спросила, чем занимался на воле, и записала мне 3-ью категорию: «облегченный труд».

Эти различия на практике не имели большого значения. Все категории смешались в лесу. Петров с помощниками прошел по баракам, быстро, на глаз, поделил людей по бригадам. А бригадир не спрашивает, кто как записан. Разница между сильными и слабыми выясняется сама собой. И горе слабым.

В течение 2-3 дней мы были поделены на 3 части.

Во-первых: рабочие бригады. Около 30 бригад было на 48 квадрате, в каждой 20-30 человек. Бригады лесорубов, возчиков, грузчиков, свальщиков, навальщиков, тральщиков, пильщиков, дорожников, плотников, конюхов и инструментальщиков. Все эти люди не очень понимали, чего от них хотят. Чтобы объяснить, были поставлены: начальник работ, начальники участков, десятники, лесные мастера, приемщики, дорожные мастера — всё заключенные, опыт-

ные русские лагерники, кроме нескольких «вольных», т. е. бывших зэ-ка́ или ссыльно-поселенцев.

Несколько «западников» поэнергичнее и молодцеватее на вид были назначены бригадирами. В других бригадах были поставлены во главе старые русские лесовики из соседних лагпунктов.

Человек 120 выделили в «лагобслугу». Выделили поваров, пекарей, сапожников, портных, парикмахеров, кипятильщиков — одних дневальных больше 30 человек. На последнюю должность выбрали старичков послабее. При этом некоторые сделали карьеру. Шофер по специальности, зэ-ка Фридман, парень здоровый и плечистый, получил назначение комендантом ШИЗО. Женщин назначили в прачечную, в подметальщицы, уборщицы, а из остальных составили лесную бригаду для «сжигания порубочных остатков». На сжигание порубочных остатков послали учительницу французского языка, жену полковника, жену кондитера из Тагнова и т. п. элементы, а начальником был над ними поставлен старый еврей Ниренштейн.

Третью группу, рядом с рабочими и лагобслугой, составили «придурки». Этот лагерный термин происходит, надо полагать, от слова «придуриваться», т. е. вертеться около власти, прикидываться, что делаешь дело и валять дурака, когда другие идут в лес на тяжелую работу. «Придурки» — это конторская братия, люди «умственного труда», который в лагере рассматривается, как синекура и уклонение от бремени, не только серой заключенной массой, но и самим начальством. Придурки — это лагерная бюрократия. Число их строго ограничено — не то 4, не то 5% общего числа зэ-ка́ — и контролируется из центра. На нашем 48-ом квадрате придурков собралось чуть ли не вдвое против штатов. Объяснялось это необычными условиями на нашем лагпункте: масса зэ-ка́ не понимала по-русски, начальство, как обычно — поголовно и глубоко безграмотное, затруднялось на каждом шагу, и трудно ему было сокращать штаты, когда и те при-

дурки, что были, не справлялись с работой, по неопытности и сложности дела.

Я уже было занял место за столом «экономиста», как вдруг подошел ко мне «главбух» — молодой советский зэ-ка, с большим кадыком, худым лицом и острыми глазами — по фамилии Май — и сказал:

— Бросай работу, иди к начальнику: секретарем будешь.

Мне не хотелось уходить со своего «спокойного» места, но делать было нечего. Петрову был нужен человек со знанием русского языка. Узнав, что я человек «с образованием», он решил, что лучшего секретаря ему не надо. В этом он, увы, ошибся. «Образование» в данном случае было препятствием. Собственная моя глупость помешала мне сделать большую карьеру в лагере. Место секретаря начальника (и он же делопроизводитель) занимается по штату вольнонаемным, так что я фигурировал в списках лагеря по рубрике «замена в/н». Сметливый человек или старый лагерник в этой должности быстро приобрел бы доверие начальника, стал бы его правой рукой, "alter ego" и грозой лагеря. Он был бы сыт, обут, одет во все лучшее и распоряжался бы судьбой своих товарищей зэ-ка. Всех этих возможностей я не понял и не использовал. Прекрасное начало моей лагерной жизни быстро испортилось.

Петров привел меня в свой кабинет. В прихожей перед кабинетом стоял стол, стул, простой шкаф — все некрашенное, лагерной работы — сбоку стенной телефон. Я получал и отправлял почту, составлял письма и приказы по лагерю, получал и передавал телефонограммы. Утром я передавал в отделение «сводки» за прошедший день: о состоянии личного состава, о выполнении работ, сводку Санчасти. Под рукой лежала у меня книга «входящих» и «исходящих», книга телефонограмм, папка Отделения и папка Правления, книга приказов по лагерю. Все это звучит пышно, но у меня не было ни чернил, ни карандаша, ни бумаги, ни клея, телефон был разбит и почти не работал, а мои «книги» состояли из листов

старой исписанной бумаги, по которой я писал поперек, и которую воровали у меня зэ-ка, чтобы свернуть себе «цыгарку».

На поступающих бумагах Петров ставил крупным косым почерком свои резолюции: «Воспитателю — для сведения» — «Главбуху для исполнения» — «Коменданту для проверки». Я должен был не только довести до сведения этих лиц документы с резолюцией начальника, но и проследить, чтобы они действительно поняли и выполнили, о чем в них говорилось.

Помощником моим был Петерфройнд — крошечный лилипут — парень лет 20 из Нового Тарга в Польше. Его детская фигурка забавляла лесных людей, и он был назначен курьером в контору. Весь день Петерфройнд, одетый в бушлат до пят и огромные боты, как кот в сапогах, носился с поручениями по лагерю. Его знали и стрелки на вахте, называли «сынком», задавали преимущественно похабные вопросы и покатывались с хохоту над его ответами. Когда же я уходил на обед в 7 часов вечера, Петерфройнд заменял меня при телефоне и при кабинете начальника.

Работа была нетрудная, но сложная. Я принимал всевозможные заявления от зэ-ка на имя начальника лагпункта. Это были жалобы, просьбы о выдаче денег с личного счета или о переводе из одной бригады в другую. Заключенным нельзя было иметь на руках больше 50 рублей. В этих границах они могли просить ежемесячно Отделение о выдаче им денег с их счета в Финчасти. Начальник Лагпункта отсылал их заявления вместе с «характеристикой» из Культурно-Воспитательной Части, где было сказано, как работает и ведет себя данный зэ-ка. Если «характеристика» была хорошая, выдавалось 20-30 рублей. Я не только принимал, но и сам писал эти заявления для неграмотных зэ-ка, так что мой стол скоро превратился в «бюро прошений». Просьбы о переводе из бригады в бригаду рассматривались два раза в месяц — 1-го и 15-го числа. Большинство заявлений просто терялось Петровым и никогда им не прочитывалось. Человек в лагере не много значил. Мои напо-

минания приводили его в раздражение: «тоже защитник нашелся!».

Лучше всего я чувствовал себя, когда Петров уходил «на производство», т. е. в лес, а я оставался один со своими бумагами. Я был безнадежно чужой. Я не сквернословил, не рассказывал анекдотов и не проявлял никакого рвения по службе. Раз, придя на работу, я улышал, как Петров и Май разговаривали обо мне:

— Человек грамотный, — сказал Петров, — да что толку: тут надо сильную руку, придавить, гаркнуть: а разве он это может? Сидит, как мышь. Вежливый слишком.

— И недоволен, — сказал Май, — лагерем недоволен, и критикует.

— Да они все недовольны! — сказал со злостью Петров, — работать, сволочи, не хотят.

Это была правда. Работать не умели, не хотели, и без конца жаловались.

Прежде всего жаловались на голод.

Наша кухня имела 4 котла, т. е. 4 категории питания.

Первый котел, или штрафной, был для невыполняющих норму. Невыполнившие 100% нормы получали 500 грамм хлеба и жидкий штрафной суп утром и вечером.

Второй котел — для выполняющих норму — составлял 700 грамм хлеба, утром суп, вечером суп и кашу. Эти данные относятся к 1940 году, когда в Сов. Союзе не было войны. Потом стало гораздо хуже.

Третий — «ударный» котел выдавался за перевыполнение нормы до 125%.

Четвертый котел назывался «стахановский» и выдавался за 150% и выше. Стахановцев кормили как могли лучше: 900 грамм хлеба, иногда кило, два блюда утром, вечером четыре: суп, каша с маслом, «запеканка» из макарон или гороху, булочка или «котлета». Под именем «котлеты» или «гуляша» давали несвежую конину. Основным питанием для всех 4-ех котлов был черный хлеб. На бумаге полагались и жи-

ры, и сахар, но фактически их не было, или почти не было. Ко второму котлу додавалась соленая рыба — кусочек трески, воблы, горбуши — или неизвестный нам до сих пор дельфин.

Только третий и четвертый котел давали возможность наесться досыта — в 1940 году. Первый и второй обрекали на гибель, раньше или позже. Поэтому для человека, не получавшего посылок или другой помощи, была одна дорога спасения: перевыполнять норму, давать 125-150%. Нормы были рассчитаны на здоровых мужиков. Лагерь был местом естественного отбора, где выживали физически сильные люди. Остальные вымирали, если нехватало ума устроиться в качестве «придурков» или технических спецов.

Все эти вещи выяснились нам не сразу. Но голодать мы начали сразу. Контора, и в том числе я — получала 2-ой котел, т. е. «нормальное» питание. Утром я съедал половину хлеба с супом и к часу дня был зверски голоден. Обеда не было. В час дня мы с Петерфройндом пили горячую воду — «кипяток». В других местах было принято делить на 3 части казенный паек, но на 48-ом квадрате делили на две части. Только «стахановцам» выпадала каша в полдник. Остальные работали весь день без еды, но зато вечером получали больше. Я еще не был истощен и не работал физически. И все же мне было трудно, с непривычки, переносить ежедневный пост.

День на 48 квадрате начинается летом в 5 часов утра, зимой на полчаса или час позже. Зимой в это время совсем темно, луна стоит над лагерем. Из дверей конторы выходит дежурный «придурок», подходит к обломку рельса, висящему среди улицы на столбе, подымает булыжник или кусок ржавого железа и с размаху бьет о рельс. Глухой, унылый звон плывет в темноте. Бараки молчат, будто не слышат. Дежурный бьет с силой, бьет несколько раз — до боли в плече — и уходит обратно в контору, где всю ночь горит закопченная керосиновая кухонная лампочка. В темных логовищах люди начинают шевелиться на нарах. — «Подъем!» — Зловещий, мрачный звук, как

набат, несется издалека, вырастает из подсознания, прерывает самый крепкий сон, люди постепенно приходят в себя, трезвеют, лежат пару минут с открытыми глазами. Потом волна проходит по бараку, все подымаются сразу, а дневальный кричит пронзительным голосом: «Подъем!»

До сигнала дневальный успел уже сходить в сушилку и за ремонтом. Из сушилки он принес гору тряпья и свалил ее на пол у двери. Каждый выискивает в ней свои вещи, отданные вчера вечером «на просушку». Отдельно лежит куча вещей из починки. На каждой вещи бирка, т. е. деревянная дощечка с фамилией и номером бригады. Всю ночь в починочной мастерской латают и чинят изодранные лохмотья заключенных, кладут латы на латы, стягивают шпагатом распадающиеся опорки, чтобы заключенные могли утром выйти в них на работу. Люди ругаются и мечутся, разыскивая свои вещи. Одному нехватает «луней», другой получил ватные брюки непочиненными, так как они уже не поддаются починке, и клянет на весь барак, третий ищет, кто взял его бушлат и оставил ему свой короткий и грязный. Тем временем дневальный нанес воды в бочку и рядом поставил ведро кипятку. Моются не все. В рабочих бараках мало кто имеет мыло и полотенце, люди черны и грязны, многие не моются от бани до бани. Большинство ополаскивается из кружки и утирается рукавом. Не стоит охорашиваться, все равно не выйдешь из грязи. Да и времени нет. Между подъемом и выходом на работу проходит 1½ — максимально 2 часа.

Под окнами кухни уже стоит очередь. Стахановцы отдельно, первый и второй котел отдельно. Зимой, во мраке и на 30-градусном морозе коченеют пальцы в драных рукавицах, легко потерять талон. Кто потерял — ничего не получит и проголодает до завтра. За окном один человек принимает талон, отрывает половину, а другую возвращает — это на ужин. В роли талонов функционируют старые трамвайные билеты из Ленинграда, самодельные билеты с подписью табельщика и печаткой конторы — и всегда загадочным

образом поступает в кухню больше талонов, чем их выдал Продстол. — Другой человек механическим движением размешивает черпаком в котле и наливает черпак супу. — «Следующий!» — Бережно несут драгоценную порцию в барак, иногда в другой конец лагеря. Там за столом уже сидят тесным кругом закутанные на выход люди и торопливо хлебают. Другие едят в глубине нары, где лежит их лагерное имущество: деревянный сундучок, скатанное одеяло. В бараке смрадно и тесно. Открывается дверь, на пороге является нарядчик и по списку выкликает фамилии освобожденных на сегодня от работы. Освобожденные лежат среди общего шума. Подъем не касается их. Они встанут позже, когда бригады выйдут, лагерь опустеет, и под окном кухни не будет очереди.

Снова гудит звон: это «развод». Бригадиры собирают и выводят людей на вахту. Со всех сторон тянутся из дверей бараков вереницы заключенных. Это какие-то похоронные шествия: идут, как за гробом, медленно, с видимой неохотой, точно им стоит большого труда поднять ногу. Все эти люди идут против воли. Дневальный торопит отставших: «скорей, уже выгоняют на развод». Лагерники не идут: их «выгоняют». Не легкое дело — собрать к вахте 500-700 человек. Каждая бригада строится отдельно. Обязательно кого-нибудь нехватает. Бригадиры с проклятьями мечутся от вахты в барак и обратно. И, наконец, как бешеные псы, срываются по баракам люди 2-ой части, — нарядчики, помощники коменданта. Обрыскивают нары, проверяют, кто свернулся клубком под бушлатом, заглядывают под нары. Ищут укрывающихся от выхода на работу. Много попряталось в отхожих местах и во всех закоулках, но от нарядчиков укрыться нелегко. Со всех сторон с ругательствами и побоями ведут людей к вахте. Нарядчиком не может быть каждый. Это самое трудное дело в лагере, для которого нужны люди сильные и беспощадные. Сами они не работают — их дело заставить других работать.

В большинстве случаев пойманный «отказчик» жалуется на слабость или на болезнь. На вахте во

время развода стоит дежурный Санчасти — лекпом или врач. Времени на разговоры с отказчиками нет. Им ставят термометр, и если нет повышенной температуры, то ничего не поможет. — «Иди работать, вечером придешь». Кто-то жалуется на грыжу, на резь в животе. Врачь машет рукой и уходит. Растворяются ворота, при них стоит все начальство лагеря, масса стрелков. Форменные фуражки, папахи, ружья с примкнутыми штыками. Бригады вызываются по порядку. Каждую просчитывают и отмечают на деревянной доске у дежурного стрелка.

— Бригада, внимание!

Люди стоят по два. В первой двойке — бригадир. Он проверяет, все ли получили «инструмент»: пилы, топоры, заступы, ломы. Двери инструменталки открыты, и для каждой бригады отложен ее инструмент, а для стахановцев и лучших рабочих полагаются отборные пилы и особенно-заботливо отточенные топоры.

— Бригада, внимание! По пути следования к месту работы не разговаривать, сохранять порядок, из строя не выходить. В случае неповиновения применяю оружие без предупреждения. Понятно?

Молодой стрелок выговаривает заученные слова залпом, как урок, и с таким напряжением, что люди смеются. Когда он запинается, ему подсказывают. Каждый зэ-ка каждое утро слышит эти слова. Он слышит их тысячекратно, пять лет и десять лет, как рефрен всего своего существования. Когда он выйдет из лагеря, где бы он ни поселился, эти слова будут звучать в его ушах.

Когда закрываются ворота лагпункта за последней бригадой, конторским еще остается час до начала работы. Можно не спеша одеться и «позавтракать».

Снова гудит звон: это «поверка». По этому сигналу люди в бараках выходят на площадку у вахты и их считают. Выходят все, даже больные, кроме лежащих в стационаре. Дневальные и занятые важным делом люди остаются. В каждый барак заходит стрелок или помощник коменданта. Сообщение между ба-

раками прерывается. Каждый замирает на своем месте. Считают долго, ошибаются, считают сначала. Тем временем гонят в карцер группу «отказчиков», которых обнаружили уже после «развода». Теперь уже поздно вывести их на работу, так как нет стрелков, которые бы вывели их за вахту и провели к бригаде. В карцере они будут посажены на штрафной паек: 300 грамм хлеба и жидкий суп. За отказ от работы они получат несколько суток карцера «с выводом на работу». Это значит, что на следующее утро их прямо из карцера отведут на развод, а вечером после работы, прямо с вахты, «завшизо» заберет своих людей обратно в карцер. Если же «отказчик» проявляет упрямство, и на второй день тоже не желает выходить на работу, то дело становится серьезным. К нему придет в карцер «воспитатель», т. е. человек из КВЧ. Не забудем, что мы находимся в исправительно-трудовом лагере, здесь людей исправляют и перевоспитывают. Человек из КВЧ примет все меры увещевания и внушения. Упрямый отказчик, которого не сломают несколько дней карцера и голода, имеет шансы добиться того, что власть пойдет на уступки, т. е. даст ему работу полегче. Причина большей части отказов — непосильная работа. Если не поможет увещевание, составляется «акт» о злостном невыходе на работу. Акт составляется бригадиром и комендантом или другими лицами, на нем обязательно имеется пометка врача, что данный зэ-ка́ по состоянию здоровья на работу годится, и пометка начальника лагпункта, что он одет, обут и удовлетворен довольствием. Этот акт передается в 3-ью (политическую) часть. Когда таких актов накопится несколько (десять или больше), третья часть придет в движение и сделает свое. Заключенного расстреляют.

Список расстрелянных за многократный отказ от работы будет отпечатан в Медвежегорске, и копии разосланы по всем лагпунктам ББК. Придет такая копия и на 48-ой квадрат. Делопроизводитель, з/к Марголин, поставит №, впишет во входящие, подаст начальнику. Начальник Петров поставит отметку: «Огла-

сить через КВЧ заключенным». И воспитатель объяснит непонятливым «западникам», что в лагере никого работать не заставляют, но за отказ от работы судят и приговаривают к высшей мере.

Комендант Панчук идет по лагерю. Дневальные трепещут. Комендант — человек вольный, со скуластым лицом, буйным чубом и манерами казацкого урядника. При его входе в барак раздается команда: «Внимание!» — и все встают с мест. Зычная брань Панчука слышна далеко. В одном из бараков он находит беспорядок: нары и пол не вымыты, у входа нечистоты. Он с величайшим презрением оглядывает дневального и спрашивает:

— Турки вы, что ли? Дома тоже так жили?

И дневальному Киве, старому согбенному еврею, который по-русски не понимает ни слова, командует:

— Сию минуту нанести воды — понятно? Вымыть — вычистить — вытереть — вымести — понятно? Убрать, прибрать, под нарами, на нарах, снаружи, внутри! Смотри у меня ... твою мать, а то я тебя самого уберу... понятно?

Панчук молодцевато вбегает в контору и застает кабинет начальника на запоре.

— Открывай!

— Заперто, гражданин начальник!

Панчук прищуривается, долго смотрит на меня, и я чувствую, что рука у него зудит треснуть меня по уху.

— Чему тебя учили, очкастый! Гвоздем открой.

— Не умею, гражданин начальник.

— Не умеешь, так здесь научишься!

И Панчук показывает мне, как без ключа можно входить в запертые двери.

Когда я пробую передать ему бумаги, назначенные для коменданта, Панчук быстро машет рукой и скрывается. Читать он не мастер, и каждая писанная строка возбуждает в нем недоверие и опасение. Положение мое трудно. Если на бумаге начертано рукой Петрова «передать коменданту», то я обязан это сделать, но как заставить коменданта принять бумагу, да

еще расписаться в получении? — Мой авторитет для этого недостаточен, тем более, что каждая принятая бумага — это новые хлопоты для Панчука. Моя должность полна непредвиденных трудностей. Ничего нет, и все надо добывать самому. Для важного отчета в Медвежегорск нужен конверт. Конвертов нет. Конверт надо сделать самому. Клочок бумаги — величайшее сокровище в лагере. Для конверта нужен клей. И клей надо сделать самому. Просить нельзя — это наивно и возбуждает досаду начальства. «Сам достань».

За недостатком бумаги, таблицы, сводки и отчеты пишутся в лагере на дереве — на фанере. Из дерева же делаются пуговицы и лопаты, ложки и миски. Это единственное, что есть на месте в достаточном количестве. Но западники так беспомощны, что теряются, когда надо соскоблить с фанеры вчерашнюю запись. Они спрашивают резинку. Панчук вне себя:

— А стеклом соскоблить не умеете?

— Стекла нету, гражданин комендант.

— Ну и люди! — удивляется Панчук, — стекла найти не могут. Да вот же оно — стекло.

Выходит на двор, и под окном, под ногами находит в минуту кусок битого стекла.

Западники ничего не умеют. Ни отворять замка гвоздем, ни скоблить фанеру стеклом, ни зажечь лампу без спичек, ни работать на голодный желудок.

С лампами горе. На 48-ом квадрате нет электричества. Керосина так мало, что его не выдают в рабочие бараки. Западники не умеют обращаться с керосиновыми лампочками, разбитыми и заржавленными, где фитиль — не фитиль, машинка не держится, а стекло надтреснуто. Если есть керосин, то фитиль — негодный. Если есть фитиль, керосин не горит. Машинка выпадает из резервуара, и когда Петерфройнд водружает стекло, оно лопается у него, и мы бледнеем от ужаса.

Увидев разбитое стекло, комендант впадает в неистовство.

— В карцер на 5 суток за такое дело! Убил ты меня! Где я стекло возьму? Лучше бы ты себе голо-

ву разбил, фашист проклятый! Голов у нас хватает, а стекол нет!

В последнюю минуту все улаживается самым простым образом. В одном из бараков дневальный откуда-то раздобыл лампу, и Петерфройнд, маленький гном, в сумерки прокрадывается туда и ворует ее. На сегодня мы спасены: кабинет начальника обеспечен светом.

7 часов вечера. Отработав двенадцать часов, вливаются сплошным потоком через вахту бригады. Но до отдыха им далеко. Истерзанные, испачканные, мокрые люди смывают с себя грязь и пот и бегут становиться в очередь за едой. В темноте стоят цепи под окнами кухни — под открытым небом. В средину ужина врывается сигнал на вечернюю поверку. Зимой считают в бараках, летом все выходят на двор, стоят долго и терпеливо. После ужина и поверки надо немедленно скинуть с себя мокрое и рваное платье, иначе дневальный не заберет его на просушку и починку. В девять часов или в половине десятого — отбой. Люди спят. На столе среди барака тускло тлеет коптилка, за столом, уронив голову на руки, сидит ночной дневальный и борется со сном. Если ночной обход застанет его спящим — снимут с работы, и в карцер.

Только в двух местах до позднего вечера толпятся люди.

Одно место — это амбулатория.

При населении лагеря в 1000 человек нормально, если от 50 до 100 человек придут вечером на прием. Не всем предоставляется освобождение. Оно дается с трудом. Лекпом отвечает за свои действия, и если число освобожденных им слишком велико, то он через несколько дней получит запрос из центра. Лекпом рискует местом, если будет слишком либерален. Освободить всех, кого следовало бы, он не может. Первые 30 человек освобождаются легко, но потом — когда толпа под дверьми не редеет — отношение к людям меняется. Никакие жалобы, никакие раны не производят впечатления. Врач, мимо которого про-

шло уже человек 60, смотрит равнодушно, говорит «иди работать», не глядя. Всех не пожалеешь. Уже освобождено больше, чем полагается, а люди ломятся в двери. Скандалят, угрожают. Но на этот случай имеются здоровые санитары, с которыми лучше не пробовать драться.

Поздно вечером список освобожденных идет к нарядчику. Больной, уходя, подозрительно оглядывается на врача: «освобожден ли?». Врач не говорит ему своего решения. На следующее утро перед разводом больной не слышит своего имени в списке освобожденных, который громко читает нарядчик. Беда! Начинается переспрашивание. — «Товарищ нарядчик, посмотри еще раз! Неужели нет? Не может быть!» Нарядчик, привыкший к таким вопросам, на них не отвечает, а человек, который вчера вечером простоял два часа в очереди напрасно, со стонами и проклятьями начинает одеваться.

Второе место, где вечером только начинается жизнь — это кабинет начальника и комната бригадиров, где составляются «рабочие сведения». — После ужина, когда люди легли уже спать, бригадир уходит составлять «рабочие сведения», т. е. полный рапорт о работе своей бригады. Это — нелегкая работа. Дается детальное описание работ, произведенных каждым звеном и каждым отдельным человеком, в 2 рубриках: объем работы и процентное выполнение нормы. Отдельно приводятся больные и отказчики. «Рабочие сведения» утверждаются начальником работ или десятником, принявшим работу, и без их подписи недействительны. Составить «сведение» — далеко не просто: от этого зависит хлеб бригады. На основании этого документа табельщик «Продстола» начисляет каждому члену бригады хлеб и котловое питание, — и на третий день от даты «сведения» зэ-ка́ получает талон и пайку хлеба «по выработке». Заполняя сведение, надо учесть много разных обстоятельств: надо уметь так представить работу, чтобы никого не обидеть. Надо уметь считать, и уметь приврать, и обыкновенно бригадир составляет «сведение»

не сам, а с доверенным лицом своей бригады. Если один сделал 60%, а другой 200% нормы, то первому запишут 110%, а другому 150. Стахановец и так получит 4-тый котел, а 60-и процентник выиграет 2-ой котел и лишний кусок хлеба. Надо накормить бригаду с помощью комбинаций на бумаге. «Карандаш накормит» — говорит лагерная пословица. Всеми средствами натягивают нехватающие проценты. Норма пиления дров на бирже составляет 2½ фестметра на человека. Голодные и непривычные люди этого сделать не могут. Тогда им прибавляют «подноску на 40 метров», — как будто они приносили бревна для распилки на расстояние 40 метров. Нормировщик и десятник смотрят на этот фортель сквозь пальцы: ведь и они заключенные, и каждому понятно, что надо поддержать работяг. Если брать буквально предписания свыше, то все бы вымерли с голоду. «Рабочее сведение», изготовленное после долгих совещаний и усилий — фантастическая комбинация правды и вымысла. В первую очередь бригадир пишет себе 150% и IV котел, хотя он и не работал вовсе. Потом процентами обеспечиваются его друзья и помощники. Потом пишут проценты тому, кому нельзя не написать: работягам, которые работают за двоих, и бандитам, которых опасно раздражать. Есть, напротив, такие, которых бригадир хочет выжить из бригады или наказать. Первое правило лагерной мудрости: — «живи хорошо с бригадиром». От него зависит твой хлеб, и часто, чтобы накормить бригаду, он рискует собой, записывая в «сведение» подвиги, которых не было и быть не могло.

В 9 часов из-за зоны приходит начальник, и кабинет его заполняется народом. Кабинет — голая комната, стол с керосиновой лампой, кругом под стенами — табуреты и скамьи лагерного производства; на стене портрет Ворошилова и таблица «не пей сырой воды» или огромное изображение вши с надписью «рассадник сыпного тифа». Сходятся руководители работ, лесные мастера, ответственные люди. Комната заполняется народом. Сидят до полуночи и позже, ды-

мят махоркой и выпивают огромное количество сырой воды, за неимением кипяченой. Петерфройнд то и дело бежит к кипятильщику — закипела ли вода? Обсуждаются распоряжения из центра, результаты за прошедший день и составляется самый важный документ лагеря: разнарядка.

Разнарядкой называется план работы на завтра: распределение бригад по рабочим местам, задание для каждой бригады. Начинаются тяжкие торги с отдельными бригадирами. «Завтра твоя бригада должна дать не менее 60 фестметров. Дашь — получишь 10 пачек махорки на бригаду, не дашь — сниму с работы». Бригадиры, поочередно вызываемые в кабинет, мнутся, разводят руками, отнекиваются, торгуются, ставят условия: убрать слабых людей, дать исправный инструмент. Положение бригадиров щекотливое. Не показать усердия — опасно; обещать 60 ф/м и не дать — тоже опасно: два-три невыполненные обещания — и обозленный начальник обвинит во вредительстве; обещать и дать — завтра потребует 70. Правило лагерной администрации: зэ-ка всегда могут работать лучше, чем они работают. Если они выполняют задание, значит, могут его и перевыполнить. Дело начальства — нажимать. Нажимают добром или угрозами. Из кабинета несутся то громовые раскаты смеха, то добродушная ругань, то удары кулаком по столу и яростная ругань. Ругань, впрочем, при всех случаях: без нее лагерный язык ни в коем случае обойтись не может.

То и дело раздается команда из кабинета: «Вызвать бригадира Кунина!» — «вызвать врача Германа!» — «вызвать зэ-ка такого-то!» — Заключенный, которого вызывают к начальнику иногда за полночь, когда он храпит и третий сон видит, просто не хочет идти. Он посылает будящего к чортовой матери, не хочет одеваться и понимает, что от разговора с начальником добра не будет: его ждет расправа за дурную работу или грех по службе, и очень возможно, что прямо из кабинета сведут его в карцер. Поэтому не раз и не два приходится звать такого ра-

ботягу, и он начинает одеваться не раньше, чем припугнут его тремя сутками карцера и стащат за ноги с верхних нар.

Время идет. Пока начальники совещаются в кабинете, под дверью в маленькой передней комнатке стоит толпа вызванных и невызванных, которые сами пришли с претензиями. Одного обокрали; другого избили; третий пришел показать свое нагое тело и просить, чтобы выписали ему на завтра целые штаны. Драматическая борьба разыгрывается вокруг нескольких одеял, которые имеются в вещкаптерке. В конце концов они достаются герою дня — бригадиру, который показал лучший результат дня и обещал его перевыполнить на завтра.

«Секретарь» в передней комнатке должен зорко следить, иначе в 5 минут не останется у него ни пера, ни карандаша, ни бумаги на столе. Все стянут цепкие руки, в особенности бумагу, нужную для курения. Люди сидят на подоконнике, расселись на корточках вдоль стен, тесно обступили стол, босые, нечесанные, с голой грудью, в распахнутых бушлатах. Звонит телефон: это из отделения передают телефонограмму или зовут к аппарату начальника, чтобы пробрать его за недогрузку леса и невыполнение плана. Ничего не слышно в шуме, и кончается тем, что всю толпу ожидающих, вместе с разбуженными зэ-ка, которые ожидают, чтобы их посадили в карцер, с неистовыми проклятиями и толчками выгоняют на двор.

Наконец, вечерняя сессия закончена, и все расходятся.

Дежурный по конторе садится за опустевший стол.

Ночь — время передачи и приема телефонограмм и сводок из лагпункта в отделение, и обратно. Днем — провод перегружен и сговориться невозможно. Телефонист и коммутатор находятся на вахте, и туда надо звонить, чтобы получить соединение. Еле-еле, чуть слышно, доходят слова приказов.

«Начальникам всех лагпунктов и Олпов: приказываю! Согласно директиве наркома... согласно при-

каза за №... поднять темп вывозки... в недельный срок ликвидировать залежи... приказываю: за невыполнение сместить... отдать под суд... в последний раз предупреждаю — ставлю на вид — объявляю строгий выговор...»

Всю долгую ночь переговариваются между собой в онежском лесу начальники, главбухи, коменданты и завснабы, техконтроль и охрана. Лагерь погружен в темноту. Только на вышках, где часовые, горит свет. Лес шумит кругом, порывы ветра сотрясают его вершины, из леса несется рокот и ропот, как при морском прибое. И всю ночь дико воют собаки охраны. Человеку, сидящему за столом, все это кажется сном. Как он попал сюда? что он здесь делает?

Ночной обход. Стрелки идут по баракам, заглядывают в контору, перелистывают бумаги на столе дежурного. — «А это кто?» — Рядом, в помещении УРБ спят зэ-ка из персонала учетно-распределительного бюро — на тех самых столах, за которыми днем работают.

В два часа ночи трещит телефон, и диспетчер отделения сообщает, что подан состав в 18 вагонов на такой-то участок для нагрузки.

Тревога! Этот состав подан с опозданием в 36 часов, но все равно — раз он прибыл, он должен быть нагружен немедленно, ибо за простой вагонов отвечает начальник из своего кармана, а зэ-ка́ — перед начальством. Тревога! Дежурный звонит на вахту, просит разбудить начальника. Дежурный бежит к старшему нарядчику. Старший нарядчик Гриб торопливо одевается. Ему предстоит поднять среди ночи бригаду грузчиков, которая вернулась поздно вечером и спит каменным сном после своих каторжных 12 или 15 часов. К ним сейчас войти — все равно что укротителю в клетку с хищными зверьми. Нарядчик прежде чем войти в их барак, украдкой крестится. Стрелки из ВОХР'а следуют за ним, на всякий случай. Разбуженные люди рычат и огрызаются, зовут в свидетели бога и чорта, что они свое отработали, ноги у них не стоят, руки и плечи разбиты. — «Иди ты

. . .! — Иди отсюда, не доводи до греха!» — Но нарядчик тверже стали, его не собьешь. Пробует то лаской, то угрозой. Бригадир приходит ему в помощь. Начинают вылавливать более смирных, послушных. Когда трое-четверо поднялись, легче говорить с остальными. Входит начальник лагпункта, встревоженный, злой, невыспавшийся. — «Братцы, — говорит он, — ребята, не выдайте!» — и обещает им премии, неслыханную кормежку, а через минуту скрипит зубами и угрожает сжить их со свету. С обеих сторон бешеные лица, исступление, отчаяние. Эти ночные сцены вывода на работу изнеможенных, пьяных от усталости и желания спать людей полны грозового напряжения. Столкновение зэ-ка́ и администрации всегда кончается победой нарядчиков и начальников, за которыми весь аппарат власти, штыки, револьверы и распоряжение скудным лагерным пайком. Через час или два бригаду выведут. Но пока идет уговаривание, весь лагерь неспокоен. В соседних бараках просыпаются люди, подымают головы: «что там такое?» — «Бригаду выводят, тише! а то и нас подымут!» — Нагрузка не в очередь, ночью в лесу, в дождь, снег или бурю — от одной мысли пробирает дрожь. — «Лишь бы дали долежать до подъема!» — Люди, которые теперь уйдут, не вернутся, пока не кончат своей работы, хотя бы она продолжалась всю ночь и весь день. Единственная возможность для них вернуться в лагерь и отдохнуть — это отправить этот проклятый поезд.

И снова тихо в лагере. Час идет за часом. И, наконец, сухо шуршит телефон в конторе. Это вахта сообщает, что время давать подъем: половина шестого. Дежурный запахивает бушлат и бредет на улицу. Через минуту слышны глухие гулкие удары камнем о рельс: бум-бум-бум! — И новый день начинается на 48-ом квадрате.

4. РАЗГОВОРЫ

Люди, которые прислали 1000 польских евреев на 48 квадрат, дали им 3 недели сроку, чтобы превратиться в лесорубов и полноценных рабочих.

Им сказали: «Ваше прошлое нас не интересует. Надо работать. Это основной закон советской жизни. Кто не работает, тот не ест. Ваше спасение в работе. Если вы слабы, то работа вас сделает сильными. Если вы больны, работа вас сделает здоровыми. Кроме работы, нечего вам делать в лагере, а если вы не будете работать, то погибнете».

Каждая работа в советском лагере была нормирована немилосердно, из расчета на полное использование сил здорового русского мужика. Чем легче была работа, тем больше была норма, которую надо было выполнить. В последнем счете все работы были равны и сводились к эксплоатации до последних пределов физической силы и выносливости.

В лагерях нет легких работ. Плести веники или полоть грядки — легче, чем работать в шахте или носить тяжести, но самая легкая работа превращается в мучение, если норма превосходит силы. Мы никогда не были в состоянии сделать то, что от нас требовалось, чтобы быть сытыми. Чем больше мы голодали, тем хуже мы работали. Чем хуже мы работали, тем больше мы голодали. Из этого порочного круга не было выхода.

На 48 квадрате столкнулся советский метод с живыми людьми. Эти люди были евреи. Мы, сионисты, знали, как трудно, как непросто сделать чернорабочего или квалифицированного рабочего из человека, выросшего в условиях еврейского местечка. Мы создали в Европе сложную систему «продуктивизации» для нашей молодежи. Мы ее посылали в 17-18 лет в «гахшару», т. е. в пункты трудового обучения, на год или два. Потом в Палестине мы окружали ее опекой наших организаций. Кроме того, эта молодежь проходила идейную подготовку. Она была полна энтузиазма, сознания своей исторической миссии и роли национального авангарда.

Советская власть послала в лагеря массу интеллигентов, полуинтеллигентов, служащих, лавочников, купцов, мелких еврейских ремесленников. Им сказали:

«вам дается 3 недели сроку, чтобы научиться работать».

«В первую неделю будет довольно, если вы сделаете 25% нормы. Во вторую неделю — 50%. В третью неделю — 75%. По окончании 3 недель вы будете работать на общих условиях со всеми зэ-ка́».

Таков был эксперимент, которому тупые доктринеры подвергли сотни тысяч людей, захваченных заграницей и поставленных в условия принудительного физического труда, т. е. каторжные условия. Эксперимент должен был дать ответ на вопрос: чего можно добиться применением прямого насилия. Средство принуждения было — голод. Руководящий принцип: каждый человек может делать каждую физическую работу.

Конечно, московским экспериментаторам было ясно, что не обойдется без человеческих жертв. В конце-концов лагеря, куда нас послали, были местом гибели миллионов советских людей.

Советские зэ-ка́, наблюдая неприспособленность западников, большинство которых впервые брало в руки топор и пилу, говорили: «Привыкнешь! — а не привыкнешь, так подохнешь».

Но вот, прошло 3 недели, а западники на 48 квадрате так и не начали работать. Было начало сентября, тепло. Люди, попав в лес, чувствовали себя в положении ряженых, разыгрывающих какой-то нелепый фарс. Шарили в кустах за грибами и ягодами. Создалась атмосфера «пассивного сопротивления». Голод заставлял их думать не о стахановских рекордах, а о продаже вещей. Вещей привезли с собой достаточно, а местные «вольные» люди платили дорогие цены за польские костюмы, рубахи, обувь. Торговля процветала. Через некоторое время стали поступать в лагерь посылки от родных и друзей. Посылки допускались весом до 8 кило. Человеку, получившему 8 кило продуктов, не нужны были лагерные «проценты».

Это вело к деморализации: слабый работник, получавший из дому посылки, питался лучше, чем со-

ветский стахановец, вытягивавший из себя жилы, чтобы заработать на «4-ый котел».

В особенности курьезно выглядели бригады долгополых галицийских евреев. Были случаи, когда бригада в 30 человек делала сообща 90% одной нормы, т. е. меньше, чем полагается сделать одному человеку. Бригадир вечером делил эти 90% на 30 человек, т. е. по 3% на человека. Люди получали первый котел, т. е. полкило хлеба и суп. Рассуждали так: «100% мне все равно не сделать, а если за 3%, за 15% и за 50% все равно дают тот же первый котел, то зачем стараться? Хватит 3%. Продам пару штанов и подожду, пока пришлют посылку».

Это был расчет индивидуалистический, антигосударственный, презренный в глазах советского человека. Ясно, что отношения между управлением ББК и такими эгоистами должны были скоро испортиться. Первое время начальство приглядывалось, не применяло крутых мер. Уже сам факт, что нас, «поляков», поселили отдельно, на особом лагпункте, очень подымал нас — не только в собственном мнении, но и во мнении местных властей.

Прошел месяц с небольшим и грянул гром. В лагерь прибыли для нас приговоры. Нас сперва посадили, а потом приговорили. До этого времени мы жили без сроков, и власти сомневались, считать ли нас вообще за заключенных. Теперь все сомнения рассеялись.

Особое Совещание НКВД в Москве, рассмотрев наши дела, вынесло нам приговоры за такие преступления, как отсутствие советского паспорта и нахождение на территории Восточной Польши — по 3 и 5 лет заключения. Всех нас вызвали во «2-ую часть» (УРБ), и каждому объявили его приговор. Я получил 5 лет по статье СОЭ (социально-опасный элемент) — за нарушение паспортного режима. Из двух братьев Куниных старший получил 5, а младший 3, хотя они одинаково вели себя на допросе и одинаково были виноваты, или невиноваты. Было совершенно непонятно, почему одним дали три года, а другим пять. Похоже было, что

на нескольких стах тысяч бланков поставили наудачу цифры 3 и 5, где какая пришлась. Надо сказать, что западники приняли эти приговоры с большой наглостью. Подписываясь под объявлением приговора, они смеялись, пожимали плечами и вели себя так, как будто не брали всерьез своих сроков.

И в самом деле, — представить, что придется прожить 5 лет на каторге — впору было бы повеситься. Все это казалось нам сном на яву, фантастической чепухой, каким-то недоразумением.

Но другое было отношение окружающих русских. — «Вам дали детские сроки», — говорили они, — три и пять лет — это пустяк. Нам по 10 дают. А уж раз дали — не сомневайтесь! Придется вам отсидеть полный срок — «от звонка до звонка». Выбросьте из головы вашу Варшаву. Не видать вам Варшавы больше, как ушей своих.

Через несколько дней прибыли на 48-ой начальники из Пялымы: Дробышевский, Шевелев из КВО (культурно-воспитательный отдел), и другие. Созвали людей и выступили с речами. Говорили деловито и откровенно.

Нам объяснили, что надежды на возвращение в Польшу надо оставить. Нам предстоит прожить годы в лагерях. Физическая слабость не освобождает от труда. Наоборот: лежать на нарах — верная гибель. Все в лес и на работу!

Для начала 48 квадрат должен был дать Советскому Государству 15.000 кубомеетров леса в месяц.

Но заключенные не поверили помначу Дробышевскому. Было что-то в этих людях, что лишало серьезности и веса их слова. Мы видели, что они не понимают и не чувствуют, что с нами делают. Еще больше оттолкнуло нас открытое злорадство русских лагерников и десятников по поводу наших приговоров. Эти люди не скрывали своего удовольствия и с садистическим наслаждением повторяли нам сто раз на день, что не видать нам Польши, как своих ушей. В первое время нам казалось, что все они — ненормальны, что несчастье вытравило из них способность сочувствовать

чужому горю и превратило их в существа полные сатанинской злости и порочности. Прошли месяцы, пока мы научились распознавать среди них друзей и хороших людей. И еще больше времени, пока мы — или те из нас, кто задумывался над окружающим — поняли всю глубину их несчастья, беспримерного в мировой истории.

Первым движением зэ-ка после объявления приговоров было — защищаться, протестовать, аппелировать.

В советских лагерях заключенным дается полная возможность жаловаться. Рядом с обыкновенным ящиком для писем, который висит в конторе и опорожняется раз в неделю или при случае, висит еще особый ящичек с надписью: «для жалоб и заявлений Начальнику Лага, в президиум Верховного Совета или Главному Прокурору СССР». Опускаемые туда заявления, конечно, не свободны от общей цензуры. Цензуре подлежит все, что пишет и получает зэ-ка́. Однако, если цензура, культурно-воспитательная и политическая часть не воспротивятся, то заявление, с приложением характеристики заключенного, будет отослано. Через месяц после того, как оно было опущено в ящичек, зэ-ка́ получит официальное уведомление, что его обращению дан ход. Еще через полгода или 9 месяцев придет долгожданный ответ из Москвы.

В ту первую осень и зиму западники 48-го квадрата написали невероятное количество жалоб, аппеляций и просьб о помиловании на имя Калинина, Берии и др. сановников. Русские зэ-ка́ немало потешались над их содержанием. Сами они, умудренные горьким опытом, ничего не писали. Писание заявлений, вроде кори,—детская болезнь каждого лагерника в первый год его заключения. Советская власть достаточно терпима и гуманна, чтобы дать каждому заключенному возможность «выкричаться». В московских архивах лежат миллионы заявлений из лагерей, в том числе и мое, писанное осенью 1940 года.

В этом заявлении я просил пересмотреть мое дело и освободить меня. Я рассказывал свою писатель-

скую биографию, историю своего приезда из Палестины в Польшу летом 39 года, объяснял очень красноречиво, что я человек мирный и прогрессивный, никогда ни в чем не провинился пред Сов. Союзом, не жил в нем и не переходил его границ, ни легально, ни нелегально. Красная Армия, освобождая Западную Белорусь, нашла меня на территории б. польского государства. Для других польских беженцев дорога возвращения домой временно закрыта, но я, как постоянный житель Палестины, могу туда вернуться без трудностей. Советская власть, к моему глубокому сожалению, признала меня СОЭ — социально-опасным элементом для Сов. Союза, а потому нет ничего проще, как разрешить мне вернуться домой, где я имею возможность быть общественно-полезным гражданином. Это, и многое другое было выражено с большой силой убеждения и доверия к советскому гуманизму на 2 листочках почтового формата и сдано в КВЧ, где мне, по знакомству и как секретарю начальника, написали замечательную сопроводительную характеристику.

Через полгода пришел и ответ. Трудно дались мне эти полгода, и, расписываясь в получении во «2-ой Части», я уже менее твердо стоял на ногах. Ответ был на печатном бланке. Из него вытекало, что ни Калинин, ни Верховный прокурор СССР не читали моего заявления. Из их канцелярий мое заявление было переслано в низшую инстанцию, оттуда в третью, в четвертую и, наконец, прибыло в г. Пинск, к районному прокурору, тому самому, который был ответствен за мой арест. Этот прокурор взял печатный бланк, проставил мою фамилию, подписал и отослал обратно. На печатном бланке было изображено:

— **«По рассмотрении жалобы** (такого-то)... **признано, что наказание определено ему правильно и в соответствии с содеянным».**

Это «в соответствии с содеянным» никак не вязалось с моей статьей «СОЭ», из которого вытекало только, что я человек опасный, подозрительный — но еще ничего на сделавший, т. к. в этом случае мне по-

ложили бы букву «Д» вместо «Э» — «деятель» вместо, «элемент», — и я бы тогда не отделался какими-нибудь 5 годами. Я ничего не «содеял» и не мог быть поэтому наказан «в соответствии с содеянным». Но трудно было требовать от советской юстиции, чтобы она входила в частные обстоятельства каждого из миллионов лагерников. Калинин получал в течение года из лагерей столько заявлений, что ни он, ни его персонал не могли, даже при искреннем желании, их прочитать. Советская карательная система оперирует миллионами и массовыми мероприятиями. Отдельный человек, попавший в лагерь и потонувший в общей массе зэ-ка́, не может, как правило, выбиться из нее в индивидуальном порядке.

Через несколько дней посетил наш лагпункт Степанов — уполномоченный 3 части. Такие «уполномоченные», осуществляющие политический контроль и негласное наблюдение — «глаза и уши НКВД» — состоят при каждом отделении и возбуждают всеобщий страх. Это — фактические господа в лагерях. Степанову уступили кабинет начальника. Это было днем. Мое место работы находилось в проходной комнатке в этот кабинет, и я воспользовался минутой, когда он был свободен. Постучал и вошел.

Степанов был маленький взъерошенный офицерик, с колючими злыми глазками. Сидя за столом, с расстегнутым воротом гимнастерки, он подозрительно всматривался в меня.

Я сказал ему, что получил 5 лет сроку, и хочу знать, позволяется ли написать об этом заграницу — жене. Пропустят ли заграницу мое письмо.

СТЕПАНОВ: Не понимаю, зачем вам писать жене о таких вещах.

Я: Жена — близкий человек и должна знать о судьбе мужа. У нас на Западе так водится. Пять лет — большой срок. Моя семья должна знать, что со мной случилось, не должна оставаться в неизвестности. Может быть, жена моя не захочет ждать меня так долго.

СТЕПАНОВ: Ваша жена сама должна понимать,

что вы к ней больше не вернетесь. О чем тут еще писать? Это само собой ясно.

Я: В Советском Союзе это ясно, но не заграницей. У нас о лагерях понятия не имеют. Моя жена не знает, где я нахожусь.

СТЕПАНОВ: Вот вы все говорите «у нас», «у нас». — «У нас» и «у вас». Любопытное разделение. В виду этого я должен вам задать вопрос: какое ваше отношение к Советской власти?

Я: ...Отношение положительное. Я еврей, и вижу, что Советское Правительство не преследует евреев, как другие государства. Я трудовой интеллигент, т. е. с классовой точки зрения нет у меня оснований относиться враждебно к Советской власти. Кроме того, я, как человек науки, отдаю себе полный отчет в ценности марксизма.

СТЕПАНОВ: Вот и ладно. Если сам трудящийся, зачем же говорить все время «у вас» и «у нас». Советский Союз есть родина всех трудящихся. Значит, и ваша родина.

Тут я вышел из себя и, забыв всякую осторожность, все обстоятельства места и времени, сказал уполномоченному тоном учителя, поучающего непонятливого ученика:

— Ошибаетесь, гражданин уполномоченный. Это простое недоразумение. Советский Союз есть родина всех трудящихся в смысле идейно-политического центра, а не в географическом смысле. Нельзя требовать от трудящихся всего мира, чтобы они жили в Советском Союзе и считали его своим отечеством. Моя родина — Палестина. Там я жил до войны, там и дальше хочу жить.

Степанов покраснел от негодования. В эту минуту вошел в кабинет кто-то из его помощников.

— Вот полюбуйтесь, — сказал Степанов, показывая на меня, — сидит и объясняет, что Германия его родина.

Тут я увидел, что уполномоченный был не силен по части географии. Палестину он причислял к Германии. Но было уже поздно учить его географии.

Пускаться в диспуты с представителями политической полиции вообще небезопасно. Но с уполномоченными НКВД в лесах русского севера это просто лишено всякого смысла. Никогда нельзя знать, что из этого получится.

Этот разговор имел для меня роковые последствия. Степанов распорядился немедленно удалить меня из конторы. — «Это, — сказал он начальнику Петрову — человек не наш. Такого человека, который все говорит «у нас», да «у вас», нельзя держать в конторе, где он в курсе всего происходящего. Отправьте его в лес, на общие работы».

Слетел со своего поста «плановика» и мой сосед по конторе, Шпигель. Как-то сидел он вечером за своими досками, на которые наносил %% выполнения плана, когда вошел к нему начальник лагпункта. К тому времени простодушный и неумелый Петров был уже снят со своего поста, и начальником был у нас украинец Абраменко. На столе лежала свеже-принятая телефонограмма: «Приказываю...» Это было распоряжение не выдавать освобождаемым из лагеря денег на покупку жел.-дорожного билета к месту жительства. Они должны были покупать билеты из собственных средств.

— Правильно! — сказал Абраменко.

— А я думаю, что неправильно! — сказал Шпигель, обманутый добродушной миной Абраменко. — Во всем свете принято, что освобождаемых из тюремного заключения отправляют домой за счет государства, так же как и привезли их за счет государства. А тем более в Сов. Союзе, где такие расстояния. Тут на билет надо по 100 и 200 рублей. Откуда им столько денег взять?

— Как это — откуда? — сказал Абраменко. — Мы им даем возможность заработать в лагере.

— Как же вы так можете говорить? — огорчился плановик Шпигель. — Разве вы не знаете, что здесь работяги зарабатывают? Да вот, я здесь имею все цифры, посмотрите...

И показал ему то, что Абраменко отлично и без

него знал: фиктивные заработки работяг сводятся к символическим выплатам, к жалким грошам.

— А я сам, — сказал Шпигель, каждым словом копая себе яму — что я здесь зарабатываю? 10 рублей в месяц. Откуда же я возьму на билет в Варшаву? Туда, может, 500 рублей надо.

В эту минуту вошел с улицы комвзвода и, грея руки у печки, стал внимательно прислушиваться.

— Что, все еще о Варшаве думаешь? — сказал Абраменко со злостью. — Вам, полякам, кол на голове теши, все мало. Вы теперь советские.

— Вы все контрики, — сказал комвзвода. — И все твои разговоры контрреволюционные. И не поедешь ты в Польшу. Нет твоей Польши больше.

Тут Шпигель спохватился, что наговорил лишнее, и стал изворачиваться, как умел. Но было уже поздно. Уходя, Абраменко сказал ему, чтобы он в контору больше не приходил, и велел ему утром явиться на развод с рабочими бригадами.

После разговора со Степановым я все же написал письмо в Палестину, моей жене. Это было очень лаконическое сообщение о том, что я приговорен к 5 годам заключения в лагере, нахожусь в такой то местности, благодарю за все, что было в прошлом и прошу не отчаиваться.

Это письмо, так же как и последующие, никогда не было ею получено.

5. БРИГАДА КАРЕЛИНА

Когда выяснилось полное неумение и нежелание новоприсланных работать, управление ББК приняло первые меры: решено было покончить с изоляцией «поляков». Понемногу стали их вывозить и распределять по окружающим лагпунктам. На их место прислали «туземные» бригады. Советские зэ-ка должны были подавать пример, увлекать за собой и учить новичков работать.

Предполагалось, что первые советские бригады на 48-ом квадрате будут состоять из людей надежных и

отборных, способных выполнить воспитательную миссию. В секретном циркуляре Управление ББК рекомендовало выбирать людей для отправки в польские лагеря особенно заботливо и осторожно, обращая внимание не только на трудовые качества, но и на моральное состояние. Но циркуляр не много помог. Выполнить подобное предписание было не то что трудно, а просто невозможно. «Моральное состояние» советских заключенных в общем и целом соответствует их рабскому и подневольному состоянию. Начальники так и не смогли подобрать нам идеальных сожителей. С присылкой советских бригад кончилась идиллия на 48-ом квадрате.

Управление ББК имело все основания рекомендовать крайнюю осторожность в выборе советских зэ-ка. Как волки в стадо овец, вошли они в нашу среду. Овцы сбились потеснее. Дневальным был дан приказ не допускать посторонних в бараки и даже запираться после поверки и ужина. Наши новые соседи быстро прошлись разведкой по лагерю — побывали во всех помещениях, перещупали глазами, где что лежит. У поляков стояли под нарами чемоданы, висели на гвоздиках пальто. В первую же ночь лихие налеты и дерзкие кражи показали нам, что времена безопасности кончились. — Урки пришли!

«Урками» называется в лагерях элемент уголовно-бандитский, не по статье кодекса, а в психологическом смысле, как особый лагерный тип. Урка — человек-хищник, которому наплевать на дополнительные несколько лет срока, — бандит и вор, берущий все, что ему попадает под руку, пользующийся чужой слабостью или глупостью без зазрения совести. Урка живет сегодняшним днем, и не рассчитывает надолго вперед. Все, что ему дается, он съедает немедленно, что плохо лежит — забирает, и вечно ходит голодный, озлобленный, готовый на драку и кражу. Начальство многое прощает уркам, потому что опасается их, с одной стороны, а с другой — не считает их политически-опасными. За небольшую компенсацию урки охотно занимаются шпионажем и сотрудничеством с третьей

частью. В советских лагерных условиях, где «бытовики» и «политические» смешаны, «бытовики» во всех отношениях привилегированы, т. к. режим в основном не считает их врагами. Хулиганство ýрок не мешает им ругать своих товарищей из западников «проклятыми фашистами», а евреев, вдобавок, как в погромные царские времена, «жидами». Урку сразу можно отличить — по его драной одежде, по вызывающей и нахальной манере держать себя, по безобразной речи и готовности в любой момент вступить в драку. Молодежь, попадающая в лагерь, быстро дичает и превращается в ýрок. Этой судьбы не избежали и наши молодые люди, «западники», независимо от их социального происхождения и воспитания.

В семь часов утра на следующий день после беседы с уполномоченным, я вышел в лес с пригадой Карелина. Это была «смешанная бригада» из западников и советских зэ-кá. Карелин был дюжий и хитрый мужик с бородой. Его бригада считалась и легкой, и спокойной. Я мог быть доволен, что попал туда.

В то утро я был полон энергии и боевого духа. Мне хотелось проверить себя и показать, что я гожусь на физическую работу. Я взялся за дело с необыкновенным энтузиазмом. Мы ушли в гущу леса, километра два за ворота. Пахло хвоей и сыростью, ограды и строений не было видно.

Стрелок сел в стороне. Заключенные разожгли ему костер. От времени до времени он вставал от костра и обходил разбросанные по лесу звенья, считая людей. Он не позволял расставлять людей на слишком большом пространстве. Если имел сомнения, давал свисток, и люди бригады немедленно сходились к нему на поверку.

Карелин поставил меня и других с топорами расчищать полянку. Люди вяло ковырялись, работа не клеилась, и стрелок несколько раз подходил подгонять людой. Но меня подгонять не надо было. Наоборот. Первое, что я сделал — я срубил молодую елку, — первое дерево в своей жизни. Я опустил его прямо на голову своему соседу. Его звали Айзенберг.

Этой фамилии я не забуду до конца жизни. Елка была небольшая, иначе песенка Айзенберга была бы спета. Он слабо ахнул и осел на землю. Елка, падая, задела и оцарапала ему голову. Ничего серьезного не было, но при виде крови Айзенберг поднял крик, а я испугался на смерть. Я перевязал ему голову своим последним носовым платком и был в отчаянии. Айзенберг до конца дня уже не работал и скорбно сидел в стороне, с перевязанной головой. Потом ему еще дали освобождение на 2 дня, так что в общем он вышел неплохо из этой истории. Чтобы искупить свой грех, я бросился с топором на елки и рубил один. Остальные сидели на траве и смотрели угрюмо на мой пыл: — «Куда торопишься? Времени нет? За пять лет еще наработаешься!»

Я помню, что я таскал срубленные ели к огню, и они были тяжелы как свинец. Я никак не мог поднять их. Ничего удивительного. Я был близорук, как крот, и, наступив ногой на ветвь, руками тащил ствол. В общем это были чаплиновские подвиги. Поведение моего звена раздражало меня. Вечером я сказал Карелину: «Завтра поставь меня в другое звено. Я хочу **настоящую** работу».

На второй день я получил настоящую работу. Бригада Карелина была «лежневая» бригада. Мы строили «лежнёвку», дорогу в глубь леса. Вырубленный лесной участок представляет собой нагромождение сотен сваленных стволов в чаще. Обыкновенные возы до них добраться не могут. Вывозка леса совершается с помощью «трелёвки» и лежневых дорог. Из самых отдаленных углов лес вытаскивают «трелевщики». Они зацепляют отдельные стволы крюком и цепью и подтаскивают их лошадью к месту, до которого доезжает возчик. Возы же проникают в глубину леса по лежневке. Это — лесная железная дорога, где вместо железных рельс — деревянные рейки.

Звено лежневой бригады состоит из 3-4 человек. Основной работник действует топором и буравом. Наметив трассу дороги, он очищает ее от кустов и зарослей, выкорчевывает случайные пеньки по дороге,

выравнивает бугорки. Все это легко пишется, но очень нелегко делается. Тем временем остальные валят деревья небольшой толщины, из которых приготовляют рейки в 10-12 метров длины, — и потолще, из которых режутся шпалы. Звеньевой укладывает шпалы в 2-метровых промежутках; на шпалы, в виде деревянных рельс, кладутся рейки. Толстый конец рейки называется «комель». В нем топорам вырубается ложе, в ложе вкладывается тонкий конец другой рейки, под комлем лежит шпала. Шпала и обе рейки в месте скрепления пробуравливаются насквозь, и в отверстие загоняется клин, заостренный книзу, который глубоко вбивается в землю. По деревянному полотну лежневой дороги едут возы, груженные лесом, в любую погоду и грязь. Лежневка строится быстро и держится годик, т. е. как раз время, пока продолжается вырубка на данном участке. Работа звеньевого не очень трудна, но требует плотницкой сноровки, умения быстро и ловко обтесывать рейки, пригонять и закреплять их. Звеньевой сидит с топориком, нарезает колышки и укладывает лежневку. Два или три его партнера беспрерывно валят деревья, распиливают их и сносят на трассу рейки и шпалы.

Наше звено состояло из 3 человек. Главным был Скворцов — большой, с широкой грудью, орловский мужик, солидного вида, уже не молодой. Скворцов и Карелин были друзья. Скворцов был прекрасный, уверенный в себе работник. История его была такова:

Во время большого голода 1931 года он был заведующим складом зерна. Его ближайшая родня умирала с голоду, и он согрешил: выдал им несколько мешков государственного хлеба. Это открылось по доносу, и его приговорили к высшей мере. Во внимание к его бывшим боевым заслугам во время гражданской войны, ему заменили расстрел 5 годами заключения. Отсидев 5 лет в лагерях, Скворцов был освобожден и выбрал на жительство один из районов Центральной России. Там он работал на заводе. Отлучаться из района он не имел права. Через некоторое время его позвали и предложили быть осведомителем

на заводе. Скворцов отказался, но сказать категорически «нет!» побоялся. Его стали часто звать в НКВД, нажимать, угрожать, а когда увидели, что он старается вывернуться, — поставили ему ультиматум: к определенному сроку потребовали от него 25 фамилий «врагов народа» на заводе — «Если не принесешь списка, сам пойдешь в лагерь», — сказали ему.

— Почему же обязательно 25 фамилий? — спросил я Скворцова. — А если нет столько врагов народа на заводе?

— Да ведь и у них своя разверстка, — объяснил Скворцов: — им велено приготовить партию в лагерь, — столько-то людей. Должны быть на этом заводе 25 людей, по плану. У нас всюду плановое хозяйство.

Так как Скворцов не дал им требуемого списка в 25 человек, то они взяли его самого. На этот раз ему дали второй срок — 10 лет, и послали в ББК в качестве «КРЭ» (контрреволюционный элемент).

Здесь он заболел язвой желудка. Этот большой, степенный человек каждый вечер являлся в амбулаторию клянчить у врачей немного соды, без которой не мог жить. У меня было с собой несколько порошков, которые я ему дал и обещал, что напишу матери, чтобы она мне прислала соды в посылке. Это очень расположило Скворцова в мою пользу, и мы встретились в лесу, как друзья.

Второй в звене был Батукай — немой, горбоносый чеченец, силач с лицом ребенка. Батукай сидел за «бандитизм», хотя так и нельзя было понять, что это была за банда, в которой он участвовал. Батукай ворочал без усилия огромные бревна, но в быту был ласков и смирен, как послушный ребенок. Он издавал нечленораздельные звуки, объяснялся знаками или так выговаривал слова, как младенец, только что начинающий лепетать.

Трудно было соединить более разных людей, чем этот кавказский горец со стальными мускулами, орловский мужик с язвой желудка, и гость из Европы, воспитанный на Канте и Гуссерле, в очках и с видом изумленного барана. Норма составляла 17½ мет-

ров на человека. Чтоб заработать на 2-ой котел, нам надо было уложить втроем 52½ метра, но мы делали под 70. Это составляло 140 метров реек. Только на рейки надо было свалить с дюжину сосен, а кроме того, другую дюжину на шпалы.

Когда первая рейка была готова, Батукай с легкостью положил ее толстым концом на плечо, а я не без усилия поднял на плечо ее второй тонкий конец. Мы понесли ее к Скворцову. Я пошатывался, но все же нес. На мне была желтая кожаная куртка, которая прекрасно подходила для работы в осеннее время. Казенных вещей я в то время не носил — свои были. Двенадцатиметровая рейка тяжко давила на плечо. Дойдя, мы сбросили по команде одновременно. Я вытер пот со лба. Потом тихонько взял рукавицу и подложил себе под куртку на плечо, чтобы меньше давило.

Батукай валил сосну за сосной, я не успевал обрубать концы и ветви. Плечо онемело, грудь болела, но я сжал зубы и решил не сдаваться.

Несчастье было в том, что мы не шли по ровному месту. Рейки надо было таскать недалеко, метров за сто, но по дороге были груды высохшего хвороста, предательские ямы, стволы, через которые надо было перелезать. Батукай шел вперед, как танк, не останавливаясь. У меня стало перехватывать дыхание, круги поплыли пред глазами. Донести во что бы то ни стало! Вдруг я крикнул: «Стой, стой!» Передо мной была канава. Я чувствовал, что не смогу так просто находу перескочить ее с 12-метровой рейкой на плече. Мне надо было остановиться на секунду, собраться с силами. Батукай с удивлением оглянулся и неодобрительно хмыкнул.

Я донес эту рейку. Теперь мне надо было отдохнуть. Пять минут. Больше ничего мне не надо было в жизни. Батукай уже кивал издали. Я пошел к нему, медленно, отдыхая по дороге. Каждая секунда передышки считалась.

На последней рейке я упал. Это была 13-метровая рейка. Двенадцать метров — был максимум того, что я мог вытянуть. Это было нелепое ощущение. Я мог

бы держать эту рейку стоя, но на ходу она просто придавила меня к земле.

В полпути я шагнул в яму, напрягся всем телом. Батукай неумолимо тянул меня, я рванулся и, чтобы не выпасть из ритма, сделал какой-то лишний шаг. Колени у меня подогнулись, и я рухнул под своей ношей.

На счастье, это был конец. Нас звали на «полдник». Со всех сторон сходились звенья на возвышенность, где у большого пня стоял человек из кухни с ведром каши, стрелок и Карелин. Издалека виден был возок с зеленым боченком: это везли на «производство» кипяченую воду, объезжали бригады. Каша полагалась только стахановцам. Остальные просто пили воду и отдыхали. Скворцов и Батукай отпилили себе сосновые круглые диски, как подносы, выстругали по щепке в виде лопаточки. Каждому положили крошечный черпачок пшенной каши. Карелин мигнул повару — и я тоже получил черпачок каши, для первого раза, в виде поощрения.

Но за 13-метровые рейки я уже не брался. Мои товарищи по звену видели, что это мне действительно не под силу. И на второй день Скворцов, с его язвой желудка, молча отстранил меня и понес рейку с Батукаем. Я взялся за бурав, сознавая, что в этом звене мне уже не работать. Меня перевели на носку шпал. Следующие дни мы работали в болотистой низине, где приходилось укладывать шпалы одну за другой, сплошным настилом.

Я брал по две шпалы на плечо и медленно шел 100-200 метров в глубь леса. Вода хлюпала под моими ногами. В начале дня я еще выбирал сухие места, но под конец мне уже было все равно. Скоро мои брюки изорвались в клочья, куртка на плече прорвалась и почернела от грязи. Руки мои были в ранах. Но хуже было то, что я не выходил из состояния изнеможения. Мне было 40 лет, когда я попал в лагерь. Организм трудно приспосабливался. Весь день я работал как вьючное животное и со страхом думал, что сил у меня долго не хватит. Присесть на конец бревна и 5 минут сидеть неподвижно — было пределом

желаний. Через несколько дней я получил растяжение сустава. Кисть напухла, и я перестал владеть правой рукой. Это не освободило меня от носки, но теперь работа превратилась для меня в пытку. В короткий срок я осунулся до неузнаваемости.

Возвращаясь в барак после дня работы, весь мокрый и грязный, я валился на жесткую нару и час лежал без движения. Придя в себя, я шел за ужином. После дня без еды у меня не было аппетита, и за ночь я не успевал отдохнуть. Бараки еще не топились, не было сушилки, и моя обувь и носки не просыхали к утру. Утром я одевал все мокрое и выходил на развод с отчаянием. Мне нужна была передышка, но вот прошло уже 10 дней, а выходного дня все не было. В лагерной неделе не было воскресенья.

В последние дни я был уже совсем подкошен и разбит. Тогда случилось, что мы вечером задержались с работой на нашем участке, и Карелин в 7 часов вечера ушел — без нас — со всей бригадой в лагерь. Мы разминулись с ним, и в сумерках остались одни в лесу. Как произошло, что стрелок нас не искал, я до сих пор не понимаю. Очевидно, Карелин убедил его, что мы присоединимся к бригаде по дороге.

Я был измучен варварски, но в эту минуту мы все пережили большой испуг. На вахте наше отсутствие должно было вызвать тревогу, немедленную высылку стрелков с собаками, а по возвращении — карцер в лучшем случае. Если бы к тому нас обвинили в побеге, мы рисковали судом и дополнительными годами заключения. Мы бросились бежать через лес по направлению к лагерю. Скоро я потерял из виду Скворцова и других. Они бежали как от смерти. Стало темно, и в темноте я скоро перестал слышать их голоса...

На счастье, я добежал до линии узкоколейки. По полотну я прибежал, задыхаясь, к вахте в последнюю минуту, когда уже пропускали нашу бригаду. Однако, это отчаянное усилие не прошло мне даром. После ужина мне стало скверно. Я почувствовал слабость и боль во всем теле. Потом у меня началась рвота.

Все крепко спали, и никто не подошел ко мне. На рассвете нашли меня без сознания. Все кругом спешили на развод, и ни у кого не было для меня времени. Все же кто-то поинтересовался мной: неизвестные руки украли калоши, в которых я ходил на работу. У меня вытащили бумажник, полотенце, кашне, как будто я уже умер. В бумажнике находились фотографии из дому, которыми я очень дорожил. Оставили мне только рваные ботинки, которые уже не годились в осеннюю грязь.

Нарядчик махнул рукой при виде заблеванных досок, на которых я лежал, и в 11 часов взяли меня в стационар.

За 3½ месяца со времени ареста это был мой первый настоящий отдых. Я был счастлив. Никакие санатории и европейские курорты, которые я посетил в моей бывшей жизни, не могли сравниться с этим божественным местом.

Стационар состоял из кухни, где на кровати спал врач, и из комнаты, где стояли койки, настоящие деревянные койки с сенниками, подушками и солдатскими одеялами. Было чисто и тихо. Сюда не приходили нарядчики гнать на работу. Я разделся и лежал в больничном белье. Врач, сестра и санитар — были свои люди, западники. Правда, не могли мне дать нужной диэты, но зато еду приносили в постель. Было 8 больных. Один из них, молоденький артист из варшавского «Театра млóдых», декламировал и рассказывал анекдоты. В углу лежал Гайслер, известный варшавский педагог.

Нехорошо было только, когда приходилось, закутавшись в одеяло, выходить во двор, в ненастную октябрьскую слякоть. Тогда ноги оступались и скользили по грязи, голова кружилась. Более слабых больных провожал санитар.

Недолго продолжался отдых в стационаре. Где-то нашелся том Шекспира; я перечел «Гамлета» и «Короля Лира». Ни книг, ни газет, ни радио не было на 48-ом, и со времени ареста мы были отрезаны от известий о внешнем мире. Я проводил время в разговорах с

Гайслером. Летом 39 года, накануне войны, я читал в варшавском журнале большую статью Гайслера о неизданных произведениях Габриели Запольской. Это был заслуженный педагог с многолетним стажем, известный в польских литературных кругах критик и историк литературы, человек вне политики. Этот деликатный и болезненно-хрупкий человек бесконечно тосковал по родине, по дому, по семье. В Варшаве осталась у него жена и пятилетняя дочурка. Он без конца вспоминал ее, спрашивал, суждено ли ему еще увидеть свою девочку. Я уверял его, что злые времена скоро минут, и мы вместе отпразднуем возвращение...

Теперь эти строки — единственная память об этом человеке. Погибла не только его семья и любимая им крошка — немцы уничтожили, повидимому, весь круг людей, которые читали и знали Гайслера. Некому вспоминать его в новой Польше. А самого Гайслера убили в исправительно-трудовом лагере. Кому-то понадобилось исправлять его трудом. Нельзя назвать смерть этого человека в лагере иначе как убийством. Его гоняли в лес беспощадно, несмотря на тяжелую астму. Там, в польских бригадах, товарищи-заключенные имели к нему столько уважения, что позволяли ему сидеть, почти не принимая участия в работе, а польский бригадир в конце дня писал ему в «рабочем сведении» 30% — норму, недостаточную, чтобы жить, но необходимую, чтобы избежать посадки в карцер. Как долго могло это продолжаться?..

Продержали меня дней пять — и наступило «изгнание из рая». Я отдохнул, боли прошли, и надо было положить другого на мое место. Прежде чем вернуться в лес, я успел еще четыре дня посидеть в лагере на «специальной работе»: переводчиком у судебного следователя.

Я уже упомянул выше, что в лагере находился транспорт злочевских евреев, привезенных без допроса и дознания. Теперь из самого Злочева прибыла следственная комиссия для допроса в самом лагере. Допрашивало двое молодых «юристов» — вежли-

вых, корректных, того типа, с которым я уже познакомился в пинской тюрьме. Злочевские люди не понимали по-русски, поэтому требовался переводчик со знанием еврейского, польского и русского языков. Меня назначили в распоряжение комиссии. Допрашивали утром и вечером. Каждый вечер я получал список в 50 фамилий людей, которых надо было утром через нарядчика снять с развода. Очередь стояла в коридоре второй части, мужчины и женщины — все волновались, как будто этот допрос мог что-нибудь изменить в их судьбе. Волноваться не стоило, и сцены допросов были скучны и похожи одна на другую. Начиналось с того, что следователь протягивал папиросу заключенному. Этот жест уже был мне знаком и значил: «Не бойся! мы люди культурные и все сделаем благородно, по закону». Потом начинались стереотипные вопросы: имя, где, когда родился, где жил, чем занимался, партийная принадлежность. В «Бунде» не состояли? Сионистом не были? Пометка «беспартийный», и дальше: Есть ли родные заграницей? И как попал в беженцы? И почему отказался от советского паспорта? — Очень многие жаловались на то, что они подали заявление о принятии в советское гражданство, но не дождались ответа, а некоторые даже «получили паспорт и потеряли». — Была в массе евреев и группа «слёнза́ков», т. е. силезских поляков-рудокопов, которые и в беженцах копали уголь где-то в окрестностях Злочева. Твердые рабочие лица, голубые глаза, характерный диалект и тихое, непоколебимое упорство людей, которые ждут, чтобы их отправили домой, на родной «Слёнск». Каждый брал папиросу, а уходя просил еще одну, но этой уже «гражданин-начальник» не давал: на всех не напасешься. Поскольку все эти люди были уже водворены в лагерь, все эти допросы задним числом не имели никакого значения ни для них, ни для следователя. Каждый подписывался под протоколом, предварительно покосившись на меня: нет ли какого обмана?

«Сроков» всем этим людям так и не дали, да это и не было необходимо. Советские зэ-ка сидят иногда

годами, не имея объявленного приговора, не зная, ни «за что», ни «сколько». Года через 2 позовут их во 2-ую часть, прочтут бумажку, где сказано, что еще остается 8 лет, предложат подписаться, но на руки никакого документа не дадут. Ни судей своих, ни доносчиков, ни обвинителей они не видят, а защитников им не полагается.

6. РАСЧЕЛОВЕЧЕНИЕ.

Зимой 40-41 года расчеловечили тысячу человек на 48 квадрате. Не все были западного происхождения. Часть из них были — советские люди. Численное отношение между западниками и советскими все время менялось на 48-ом квадрате. Западники убывали, советские прибывали, и под конец на тысячу человек осталось триста западников. Как остров, мы были окружены пестрой смесью народов СССР: великоруссами, украинцами, узбеками, туркменами, казахами, цыганами, грузинами, финнами, немцами. Во втором онежском отделении ББК было особенно много людей из Средней Азии — «нацменов».

Вид азиатских бригад наводил ужас. Чудовищно-грязные, звероподобные люди, с головами, обвязанными грязными тряпками, остатки вымерших в лагере поколений, с непонятной речью, одичавшие до какого-то пещерного состояния, они работали нечеловечески, ни с кем не смешивались и никого к себе не подпускали. Западник, которого посылали с ними работать, был конченный человек: они не признавали за ним права иметь что-либо свое, бесцеремонно разбирали все его вещи, а на работе подгоняли «дрыном», т. е. деревянным колом, били и пинали ногами как собаку. Попасть в это окружение было смертельной опасностью для западника; но с другой, российской, стороны подстерегали его «урки», которые были не лучше: бандиты, готовые всегда на циничное надругательство, грабеж, удар топором. Эти до конца расчеловеченные люди показывали нам, как в зеркале, наше собственное будущее.

Скоро ввели для западников минимум выполнения нормы — в 30%. Человек, который давал меньше, шел вечером в карцер. Уже нельзя было больше отсиживаться или медленно ковыряться на работе. Война началась на лесных участках. С утра до вечера стрелки охраны гнали людей от костров, десятники и начальники кружили по лесу, зорко следя, чтобы работа не прекращалась ни на мгновение. Голодные люди огрызались, на них замахивались прикладами, или десятник, выйдя из-за кустов, заставал врасплох людей у огня, хватал «дрын» и матерщиной подымал от костра кружок отдыхавших. Вечером наступала расправа. Каждый бригадир писал «акт» на несколько человек, не выполнивших 30%, конвойный стрелок подписывал: «Мы, такие-то, составили настоящий акт в том, что поименованные з/к-з/к бригады такой-то, дня такого-то, злостно уклонялись от работы, в чем и было им сделано предупреждение. Несмотря на предупреждение, к работе не приступили и задания бригадира не выполнили».

Начальник лагпункта, не проверяя, ставил на акте краткую резолюцию: «5 суток» или «10 суток». В течение вечера заключению в карцер подверглось 40-50 человек, а на другой вечер прибывало еще столько же. Понятно, в карцере не было для них места, и комендант ШИЗО не имел возможности выполнять распоряжения начальника лагпункта. Скоро установилась очередь в карцер. Многие так и не попадали в карцер, в особенности если принадлежали к лагерной аристократии — «придурки». Каждый вечер Панчук и «завшизо» обходили бараки, забирая по своему усмотрению в карцер из длинного списка. В бараках разыгрывались дикие сцены избиения, когда люди не шли добровольно и приходилось вызывать в помощь стрелков и помощников коменданта.

Для огромного большинства не только 100% — полная норма, но и 30% — «беженская норма» — были недостижимы, и не в силу злой воли, а по совершенно объективным основаниям. Я никогда не был в в состоянии сделать 30% на лесоповале, а на более

легкой работе — пиления дров — делал 30% с крайним напряжением, работая весь день без перерыва и до последней границы своих сил. Может быть, я был бы в состоянии дать 30% нормы на разгрузке вагонов или с тачкой на земляных работах. Но для этого я должен был иначе питаться и нормально отдыхать после работы.

Рабочий день заключенного на 2 часа больше, чем для вольных. Когда весь Сов. Союз работал 8 часов в день, лагерники работали 10. Когда же в начале мировой войны, в Сов. Союзе ввели 10-часовой рабочий день, наш лагерный составлял 12. Однако, в действительности наши мучения составляли не 12 часов, а много больше. Задержки на работе, очереди под окнами кухни по возвращении, часовые стояния в строю во время поверки и на разводе — все это требовало физического напряжения и вычиталось из нашего отдыха.

Номинально зэ-ка имеет 3 выходных дня в месяц: раз в 10 дней. Однако, если выходной день не подтверждается приказом из Управления Лага, он не осуществляется. До последней минуты мы не знали на 48-ом квадрате, будем ли отдыхать, и в большинстве случаев действительно не отдыхали. Выходной день просто отменялся в виду невыполнения плана. Зимой 40-41 года, в самые лютые морозы на самой тяжкой лесной работе мы 60 дней подряд, т. е. 2 месяца не имели ни одного дня передышки.

Это кажется невероятным, т. к. превышает нормальную человеческую выносливость. Но это было одним из этапов нашего расчеловечения. Мы не имели обеспеченного нормального отдыха, и каждый выходной день был подарком и милостью начальства. Советские праздники, первомайский и октябрьский, не соблюдались в лагерях. В этот день ничего не прибавлялось к обыкновенному питанию, и заключенные выводились на работу, чтобы подчеркнуть, что праздник советских граждан не касается зэ-ка.

Заключенные не получают зарплаты. Она не полагается им, т. к. они о б я з а н ы работать в по-

рядке наказания. Вместо этого им выдается «премвознаграждение». Разница между «зарплатой» и «премвознаграждением» та, что получаемые деньги не составляют эквивалента работы, а премию, которую государство выдает в качестве поощрения, не будучи к тому обязано. Это «премвознаграждение» составляет жалкие гроши. Я получал в качестве «секретаря начальника» в должности, где по штату полагается «вольный» — 15 рублей в месяц. Дневальные, которые обязаны мыть пол, нары, окна, носить воду, топить, сторожить и обслуживать многолюдные бараки, получают по 5 рублей. Месячный «заработок» работяги на самой тяжелой работе при 100%-ном и ударном выполнении нормы составляет 5-7-9 рублей.

В годы войны, когда кило хлеба стоило в лагерях Архангельской области 100 рублей, одно яйцо — 15 рублей, премвознаграждение было фикцией даже в своих наивысших ставках: врачи получают по 40, 60, иногда 100 рублей. Отдельно стоят случаи, когда «работяги» получают по несколько сот рублей — легендарные случаи, когда з/к, отбыв 10-летний срок, выходит на свободу с 3000 рублей. Об этих лагерных крезах мы скажем ниже.

Итак, непосильный труд и нищета — вот два метода, с помощью которых расчеловечивается "homo sapiens", попавший в советский лагерь. Миллионы людей принуждаются работать не по специальности. Несмотря на частые опросы, регистрации и учеты, нет никакой возможности расставить людей, попавших на эту колоссальную человеческую свалку, по местам, которые бы для них подходили. В советских лагерях, как на любой каторге в любой стране мира, не работа применяется к людям, а люди к наличной работе. Ясно, что повара, парикмахеры, сапожники и портные имеют шансы устроиться в лагобслуге, но этих мест слишком мало, чтобы хватило на всех кандидатов. Ясно, что главбух лагеря — всегда опытный бухгалтер, но не каждый опытный бухгалтер попадет в контору. Огромное, подавляющее, 90%-ное большинство идет на черную массовую каторжную работу. Лагеря,

призванные «исправлять трудом» — как будто можно кого-нибудь исправить обращением в рабство — представляют в действительности дикарскую профанацию труда и неуважение к человеческому таланту и умению. Люди, десятки лет работавшие в любимой профессии, убеждаются в лагере, что все усилия их жизни — пошли на смарку. В лагере учителя носят воду, техники пилят лес, купцы копают землю, хорошие сапожники становятся скверными косарями, а хорошие косари — скверными сапожниками. Людей слабых, чтобы выжать из них максимум, посылают работать вместе с сильными и опытными: в этих условиях физический труд становится не только физической пыткой, но и глубоким унижением. Но и сильные люди не уйдут от своей судьбы. Лагерная система расчеловечивает свободных людей, превращает их в «рабгужсилу», а рабов доводит до скотского состояния, с помощью методического нажима на темп и производительность работы.

Каждый лагерь должен был выполнять годовой план. Однако, мало выполнять годовой план. Администрация, которая хочет выслужиться и получить награду, добивается перевыполнения плана. Возникает метод «трудсоревнования». На воле то же самое называется «соцсоревнованием».

В конторе 48 квадрата висел плакат, из которого мы узнали, что наш лагерь ББК заключил договор о трудсоревновании с лагерями Архангельской области. Мы взяли на себя обязательство перевыполнить план и перегнать архангельские лагеря. Управление ББК совершенно добровольно от нашего имени взяло на себя это обязательство.

Чтобы выполнить его, Управление ББК организовало внутри лагеря трудсоревнование между отделениями. В свою очередь в каждом отделении соревновались между собой отдельные лагпункты, а в каждом лагпункте — отдельные бригады.

Это выглядело так: вечером вызывали замученных, шатающихся от усталости людей, членов бригады, в «КВЧ». Организацией трудсоревнований занимается

культурно-воспитательная часть. В «КВЧ» «воспитатель», платный служащий государства, держал горячую речь о необходимости бригаде «показать себя». Соседи уже взяли на себя обязательство перевыполнить план на 140%, сократить брак и поднять трудисциплину. Что же мы — будем хуже?

Но мы молчали. В бараке остались люди, которые, услышав в чем дело, просто махнули рукой и легли спать. Пошли те, кто не мог вывернуться, кто был «на виду» у начальства. Воспитатель в упор смотрел на бригадира. Тот начинал мямлить, заикаясь:

— Да... как же... товарищи!.. Они 140%, а мы 150! Дадим, как вы думаете?

Как и что мы думали, было ясно без слов всем присутствующим, включая и воспитателя. Он здесь был не при чем и только выполнял то, что входило в круг его обязанностей, и за что ему платили 400 рублей в месяц. Охотников выступать «против» не находилось. И так наша жизнь держалась на тоненьком волоске: не выдадут к сроку ватных брюк или переведут в нацменскую бригаду — и крышка! Итак, все подписывали обязательство, составленное по всей форме советского красноречия. Начиналось оно: **«... Желая помочь Родине и доблестной Красной Армии, оберегающей нас от подлого врага...»,** а кончалось обязательством перевыполнить план на 150%, и не только сократить брак, но и не допустить в течение месяца ни одного случая отказа.

Все эти обязательства никем всерьез не брались — кроме начальства. Начальству же они были нужны, чтобы нажимать и требовать, оставлять на лишнее время после конца работы, грозить и не давать покоя. Всегда мы были что-то должны советскому государству, всегда мы отставали, всегда мы их подводили и были не в порядке. В лагерях и за их пределами эта система стоять с бичом над головой представляла собой самое беспощадное и самое бесстыдное средство злоупотребления властью над рабами. И никакое напряжение с нашей стороны не могло их удовлетворить. Если бригада давала 150%, начальст-

во кивало головой и говорило: «мы знали, что вы в состоянии давать 150%», и получалось, что мы их обманывали раньше, когда давали только 100%, а теперь надо было хорошенько понатужиться, чтобы перевыполнить эти 150%, потому что вчерашний рекорд уже не импонировал. — «Надо еще лучше работать!» — «Еще больше дать Государству!» — Границей этого бега вперегонки было, когда человек надрывался. Тогда его списывали в категорию нетрудоспособных и отправляли в один из лагпунктов, где на инвалидном голодном пайке догорали живые развалины, «ветераны» лагеря.

Глубокая лагерная нищета, как ночь, надвинулась на нас. Через несколько месяцев все, что мы привезли с собой из европейских вещей и мелочей — было либо распродано, либо употреблено, либо раскрадено и отнято у нас. Самые умные из нас сразу распродали все, что могли — лагерным начальникам, нарядчикам и вольным. За это им дали работу полегче, хлеба, лишний талон. Остальные были в кратчайший срок ограблены, когда нахлынули в лагерь «урки», от которых не было спасения — и когда начались «этапы», т. е. переброски с лагпункта на лагпункт. В пути каждый западник и каждый, имевший в мешке что-нибудь съестное или представлявшее ценность, окружался бандитами, которым нечего было терять. В разграблениях участвовала администрация — коменданты и стрелки — облегчая «уркам» их задачу и получая за это свою долю. Уходя на работу, западники привязывали свои сундучки и чемоданы веревками к нарам, но это не помогало: возвращаясь вечером, они не находили своих вещей. Часто владелец какого-нибудь пальто получал со стороны дружеский совет: отдать его добром за несколько рублей. Все лучше, чем даром: а то и так отберут. Осеннее пальто, в котором я явился в лагерь, привлекало всеобщее внимание. Его сняли с меня ночью, когда я спал, накрывшись пальто, на верхней наре густо-набитого барака. В четвертом часу ночи я проснулся от того, что мне стало очень легко и холодно. Пальто ис-

чезло, барак спал, и дневальный ничего не видел. Это пальто вынесли за вахту и недели через две продали вольному на другом лагпункте. Я знал об этом, знал, какую цену взяли, кто продавал и кто купил — но ничего сделать не мог. Лагерные власти не защищают собственности заключенных. Лагерный «закон» прост: что имеешь — береги, а не убережешь — твоя вина. В лагере каждый спасается, как может. Одно заграничное пальто на тысячу раздетых — исключение, оно всех дразнит, и сочувствие окружающих никогда не будет на стороне потерпевшего, а на стороне вора.

Постепенно мы освобождались от балласта вещей. Каждая вещь, которую вы теряли, не могла быть восстановлена. Последний кусок мыла. Последняя коробка спичек. Последняя рубашка украдена. Последний шнурок для ботинок: больше не будет уже шнурков для ботинок. У Левандовского украли, наконец, его желтые сапоги. В лагере носить такие сапоги — это просто наглость. Теперь он, как и все, обернул ноги мешком и ходит по снегу в лаптях. Последний носовой платок. Зэ-ка Марголин пробует еще некоторое время утирать нос рукавом, но это непрактично, и рукава надолго не хватит. Надо учиться по-лагерному очищать нос, приставив палец к одной ноздре и сильно дунув в другую.

Настает момент, когда мы уже больше ничего не имеем своего. Государство одевает и раздевает нас, как ему угодно. Утром на разводе вещкаптерка стоит настежь. Огромная куча вонючего тряпья выложена для босых и раздетых. Если не в чем выйти — бригадир сведет в «вещстол» — вещстол проверит по арматурной книжке, что и когда было выдано просителю, и если он не продал и не потерял, что влечет за собой наказание, — то по записке Начальника работ или Начальника ЧОС'а выдаст записку каптеру, а каптер предложит на выбор опорки и рвань, которую до тебя носили десятки других. Расчеловеченный зэ-ка выглядит как чучело. На ногах и него «ч е т е з э»: эти буквы значат «челябинский тракторный за-

вод», т. е. нечто по громоздкости и неуклюжести напоминающее трактор. «ЧТЗ» — это лагерная обувь, пошитая боз мерки и формы, как вместилище ноги, из резины старых тракторных шин. Эта обувь пропускает воду: завязывают ее веревочкой или полотняными обрезками, пропущенными через прорезы в резине. Летом носят брезентовые ботинки. Зимой «четезэ» колоссальных размеров надеваются на ватные чулки, отсыревшие, рваные и черные от грязи. Ватные чулки завязываются веревочками на ватных же брюках, обвязанных веревкой вместо пояса. Брюки с одним карманом или вовсе без карманов, но зато с разноцветными заплатами спереди и сзади. Сверху, пока нет морозов, зэ-ка носит «телогрейку», а зимой «бушлат», который отличается от телогрейки тем, что он длиннее и в нем больше ваты. За отсутствием воротника, который можно было бы поднять, зэ-ка повязывает шею полотенцем, если имеет его, или какой-нибудь тряпкой. На голове — ушанка, из которой торчат клочья ваты. Все эти вещи маскарадного вида бывают первого, второго и третьего срока. Первый срок — это новая или почти новая вещь. Получить ее можно только стахановцам и по особой протекции, и число таких вещей всегда недостаточно. Можно пять лет провести в лагере и не получить вещи первого срока. Большинство носит «второй срок»: порыжелое, рваное, фантастически заплатанное и вывалянное в грязи тряпье. Есть и третий срок: это, когда бушлат расползается, рукава распались, тело торчит наружу из дыр, и вещь находится накануне «актировки». Ибо, в конце концов, как люди, так и вещи подлежат в лагере «актировке». Наступает момент, когда вещь или человек официально признаются негодными к дальнейшему употреблению. Для вещей минимальный срок — год. Люди часто выдерживают дольше, и, чтобы вывести их из строя бесповоротно, нужны долгие годы мучений и лишений.

Вот стоит пред нами лагерник, с голодным блеском в глазах, нищий, наряженный в шутовские лохмотья. И эти лохмотья тоже не принадлежат ему. Ес-

ли он заболел и остается в бараке, нарядчик возьмет его бушлат и бросит соседу: «одевай, этому сегодня не надо». Первая угроза начальника бригаде, которая не оправдала его ожиданий: «раздену вас, все отберу, в третьем сроке будете ходить». Однако, все это — внешнее. Много еще надо отобрать у человека, чтобы превратить его в «дрожащую тварь».

Прежде всего ликвидируются семейные связи. Лагерник не имеет права быть отцом, братом, мужем и другом. Все это он оставляет, входя в лагерь. Это несовместимо с его назначением. Поэтому внутри лагеря разделяются семьи, как во времена крепостного права в дореформенной России, или как мы об этом читали в детстве в «Хижине дяди Тома»: братьев рассылают на разные лагпункты, отцов отрывают от сыновей, жен от мужей. Это не всегда нарочно: просто, на родственные связи не обращается внимания, когда речь идет о «рабгужсиле». На 48-ом квадрате были женщины-польки, которых потом услали в Кемь, на берег Белого моря, где организовывались особые женские лагеря. У этих женщин были мужья, братья и дети на 48 квадрате, но это не интересовало Управление ББК. Я помню одну из них — кузину известного польского писателя Веха. Это была женщина высокого роста, с гордой осанкой. Но вся гордость и самообладание оставили ее, когда пришла минута прощания с ее 18-летним сыном, и их пути разошлись — может быть, навсегда. Не раз в те годы на моих глазах отец, плача, обнимал сына, и брат брата, расходясь под конвоем в разные стороны. И я сам неизменно терял в лагере всех, с кем меня сводила судьба и в ком я видел друга. В лагере не стоит сближаться с людьми: никто не знает, где будет завтра, каждую минуту может войти нарядчик и отдать приказ: «с вещами на вахту» — на другой лагпункт, где требуются рабочие руки. Систематически производятся переброски, также и с той целью, чтобы люди не привыкали к месту и друг к другу, чтобы не забывали, что они только «роботы» — безличные носители принадлежащей государству рабочей силы.

Расчеловечение идет, следовательно, не только по линии эксплоатации с помощью материального нажима и притеснения, но и по линии обезличения. Мы, западники, долго сопротивлялись этому обезличению. Мы называли друг друга «г. доктор», « г. адвокат», сохраняли смешные и церемонные формы вежливости, хотя каждый из нас был как то срубленное дерево, корни которого видят сон о несуществующей вершине. В этом выражался упрямый протест, когда «доктором» называли человека в рубище, таскавшего носилки с землей, а ночью спавшего не раздеваясь на голых досках. Для администрации лагеря и огромной массы советских зэ-ка, в которой мы постепенно и безнадежно растворялись, эти различия не существовали. И мы постепенно забывали о своем прошлом. Если первое время нам казалось невероятным сном то, что с нами сделали, то через короткое время, наоборот, сном стала нам казаться вся наша бывшая жизнь. Европейская культура, идеи, которым мы отдали свою жизнь, люди, которых мы любили и которые шли с нами вместе, — весь этот мир, где мы были полноценными и гордыми людьми — все было сном, все только привиделось нам.

Постепенно отпадают или деформируются у лагерника и нормальные человеческие чувства.

Начнем с любви и отношений между полами. Сожительство запрещается в лагере. Существуют лагпункты, где нет или почти нет женщин, и такие женские лагеря, где нет или почти нет мужчин. В нормальном лагере женщины составляют небольшое меньшинство и живут отдельно. Трагедия многолетнего пребывания в лагере для женщины больше, чем для мужчины, т. к. за 10 лет ее срока пройдет ее цветение, и она потеряет не только здоровье, но и молодость, и привлекательность, и возможность найти человека, который ее полюбит. Лагеря, где 10-15 миллионов человек в лучшей поре их физического расцвета проводят долгие годы — осуждают их на бесплодность, на суррогаты чувства, мужчин на разврат, женщин на проституцию. В нормальных условиях эти люди да-

вали бы жизнь ежегодно сотням тысяч детей. В лагерях совершается величайшее детоубийство мира. Можно было бы думать, что люди в лагерях страдают от того, что составляет проклятие каждой тюрьмы мира: от "Sexualnot". На тему о "Sexualnot". в местах заключения существует целая литература. Но ошибется тот, кто думает, что это явление существует в советских лагерях. То, что я из книг знал на эту тему, предстало мне в совершенно новом свете, когда я попал в лагерь. В западно-европейских тюрьмах в результате принудительного воздержания возникают массовые явления педерастии и онанизма; случалось, что в одиночных камерах арестанты изготовляли себе из хлеба подобие женских половых органов. Мне это казалось ужасным, но попав в советский лагерь, я понял, что если эти люди могли тратить хлеб на такую цель, то **они были сыты.** В советском лагере, где подбирается малейшая крошка, такая вещь невозможна. Каждый советский зэ-ка скажет, что если эти люди могли думать о женщине, значит, они ели досыта. В лагере "Sexualnot" отступает перед "Hungersnot". Истощенные многолетним недоеданием люди становятся импотентами. Образ жизни, который они ведут, просто не оставляет места для полового влечения. Работать, есть, отдыхать — это все. За лишний кусок хлеба лагерник отдаст все соблазны мира. Во всех лагпунктах, где мне пришлось побывать, вряд ли 30 или 40 человек из тысячи чувствовали себя мужчинами. Конечно, были такие люди: из относительно сытых, из лагерной аристократии, из одетых в хорошие сапоги и бушлаты первого срока, из тех, кто не только сами ели, но и других могли «поддержать». Врачи и лекпомы, имевшие волшебную власть освобождать от работы, заведующие кухней, инспектора ЧОС'а, начальники работ — нуждались в женщине. И все население «женского барака» было к их услугам.

В присылавшихся на 48-ой квадрат «приказах» из Медвежегорска я читал, по секретарской своей должности, безобразные сводки о дисциплинарных взысканиях, наложенных на зэ-ка, уличенных в недозволенных

половых сношениях. И мысль меня не оставляла, что эти мужчины и женщины, которых «поймали», уличили, публично осрамили и посадили в карцер, могли искренне любить друг друга, быть привязаны друг к другу, могли быть единственной поддержкой и утешением друг для друга. Позже я наблюдал в лагере случаи глубокой человеческой любви и нежности, которая в этих условиях имеет трагическую ценность. Но никакому Шекспиру не приснился этот лагерный вариант Ромео и Джульетты, когда их как сцепившихся собак разгоняют палкой, сажают в карцер, называют полным именем в приказе Правления и рассылают по разным лагпунктам, чтобы они больше не нарушали лагерного режима.

Лагерь, где мужчины на 90% становятся импотентами, для женщин, которых слишком мало по сравнению с мужчинами и которые, поэтому, всегда найдут охотника — есть школа проституции. Для молодой женщины, часто 17-18 летней девушки, присланной в лагерь за неосторожное слово или за происхождение — единственный способ уцелеть, это продать себя за хлеб, за одежду, за легкую работу или протекцию начальника. Молодые девушки, попадающие в лагерь, в среду проституток, воровок, бандитов и урок — беззащитны, и лучшее, что они могут сделать, это найти себе поскорее сносного покровителя. Терять им нечего. Через 10 лет пребывания в лагере, они и так обратятся в развалины, в затасканное человеческое отрепье. — Забеременевших отправляют в особые лагеря, где они получают улучшенное питание и на некоторое время до и после родов освобождаются от работы. Детей у них отберет государство. В «книжке норм», где указаны нормы питания для несовершеннолетних и детей, для стахановцев и штрафных, имеются также нормы для беременных и для младенцев в лагерях. Эти нормы — молока, улучшенного питания и покоя — заставляют женщин искать беременности, как средства хоть на короткое время вырваться из каторжных условий. Главным массовым мотивом является для них не сексуальная потребность, а материальная

нужда. Результат тот, что в женских лагерях, где скучены тысячи женщин, мужчина не может показаться без охраны вооруженной стражи. Мегеры обступят его и силой будут готовы вырвать то, что им нужно. Ребенка у них, все равно, отберут, и половая жизнь в них подавлена. Все, что им нужно — это отдых от работы и лучшее питание в одном из специальных лагерей.

Чувство собственного достоинства — этот хрупкий и поздний плод европейской культуры — вытравляется из лагерника и растаптывается еще до того, как его привезли в лагерь. Невозможно сохранить чувство собственного достоинства человеку, над которым совершено циничное и грубое насилие и который не находит оправдания своим страданиям даже в той мысли, что они — заслуженная им кара. Государство всей огромной силой власти организованного общества — раздавило его без вины и без основания, — не наказало, не изгнало за грех, а просто надругалось над ним. Все подавлено в массовом обитателе лагеря: его логика и чувство справедливости, его личное право на внимание к элементарнейшим потребностям его духа и тела. Ему остается только смирение и сознание своего абсолютного ничтожества и бесправия. Даже человеку Запада, который в крови имеет индивидуальную строптивость и личную гордость — невозможно сохранить чувство собственного достоинства, если он продолжает оставаться в лагере. Самый верный способ сделать человека смешным и презренным — если систематически заставлять его делать работу, которой он не в состоянии делать, в обществе людей, превосходящих его силой и умением, и враждебных ему. Я видел в лагере старого и заслуженного общественного деятеля, адвоката из Зап. Украины, который не умел достаточно быстро разжечь костер: здоровые парни, неграмотные, но бесконечно более умелые в лесу, подгоняли его и издевались над его неловкостью. У старика были слезы в глазах. Смешно выглядит и трагедия человека, который не может угнаться за другими и постепенно привыкает к мысли,

что он хуже всех, потому что не может делать того, что ему противно. Здесь еще один, и важный, этап расчеловечения. Настает момент, когда человек ненавидит себя, ненавидит все, что составляет его сущность и что он действительно умеет. Единственным стремлением его становится — не выделяться в общей массе, быть как можно более послушным и исправным орудием чужой воли. Он забывает сегодня, что делал вчера, и не знает, что ему прикажут делать завтра. Он отучился иметь свои желания и знает, как опасно показывать свое нежелание. От животного он отличается только тем, что допускает более разностороннее использование: в лесу и в поле, за столом и при машине, — но не отличается от него ни своим скотским послушанием, ни полной зависимостью от кормящих его и выводящих на «развод».

Состояние, в котором его держат годами, не есть ни сытость, ни тот острый голод, который доводит человека до бунта, до бешенства или смерти в короткий срок. Это всего лишь — недоедание, маленькое, унизительное ощущение, которое, ослабляя человека физически и морально, незаметно для него самого и постепенно разрыхляет его тело и смещает все его мысли, чувства и оценки — в одном направлении. Как охотники загоняют зверя, так лагерника вгоняют в тупик, сжимают вокруг него кольцо, и все уже, все теснее становится круг его человеческих проявлений и интересов. Если не давать человеку достаточно воздуха и воды, можно добиться того, что мысль о воздухе и воде заслонит в его сознании все остальное. Если же не давать ему есть досыта, можно довести его — не сразу, но через 2-3 года — до животного состояния, когда момент насыщения становится кульминационным пунктом каждого дня, единственным импульсом всех его действий. Быть сытым — лежать отдыхая — чувствовать благодетельное тепло — жить текущим днем, не допуская ни воспоминаний о прошлом, ни мыслей о будущем: вот предел желаний и степень расчеловечения, к которой рано или поздно приходит каждый заключенный. Пока он еще испытывает го-

ресть и боль, тоску и сожаление — он еще не расчеловечен как следует. Способность страдать — есть основное человеческое свойство. Но придет такое время, когда все происходящее с ним станет ему, наконец, безразлично, когда он отупеет до полного бесчувствия ко всему, что не связано с низшими функциями его организма: тогда в глазах КВ Части он становится человеком «заслуживающим доверия» — и после того, как его расчеловечили, можно его и «расконвоировать», не опасаясь, что он убежит.

То, что отличает советские лагеря от всяких иных мест заключения на всем земном шаре — это не только их поражающий, гигантский размах и убийственные условия жизни. Это — необходимость лгать для спасения жизни, — лгать беспрерывно, годами носить маску и не говорить того, что думаешь. Конечно, в условиях советской действительности также и «вольные» люди принуждаются лгать, из страха пред властью. Но в лагере, где они находятся под пристальным и постоянным наблюдением в течение лет, от их поведения зависит, выйдут ли они когда-нибудь на волю, и там притворство и ложь становятся необходимым условием самообороны. Надо послушно вторить власти. Надо раз навсегда подавить в себе внутренний голос протеста и совести. Никогда нельзя быть собою: это самое страшное и мучительное для людей свободного духа. Люди в лагере, даже если раньше они были друзьями Советской власти или не имели своего мнения, теперь не могут не быть врагами. Никто не может оставаться сторонником системы, создавшей лагеря, кто их видел. И, однако, миллионы заключенных не выдают себя ни словом, ни жестом. Верит ли им советская власть? Конечно, нет. Но как администрация, так и культурно-воспитательный отдел поддерживают фикцию, делают вид, что все заключенные такие же хорошие и преданные дети советской страны, как они сами. Они только изолированы временно — для проверки. Митинги и собрания, встречи, разговоры, стенные газеты для зэ-ка — все полно слащавой казенной фразеологии, в которой нет ни слова

правды. Трудно выросшему на Западе человеку, понять, что это значит — 5 или 10 лет не иметь ни права, ни возможности высказаться, подавлять в себе малейшую «нелегальную» мысль и молчать как гроб. Под этим неслыханным давлением деформируется и распадается все внутреннее существо человека. В искусственных лагерных условиях невозможно надолго утаить и сохранить от соглядатаев контрабанду недозволенных мыслей и убеждений. Все тайное непременно с течением времени обнаружится и станет явным. Поэтому инстинкт самосохранения заставляет миллионы простых и малоразвитых людей не просто лгать, но и внутренне приспособляться к фикции, «играть» в советский патриотизм и вести себя по законам этой игры. На этом и основано «перевоспитание» в лагере.

Оно основано на том, что убеждения, мысли и чувства человеческие, годами не находя себе внешнего выражения, должны также и внутренне погаснуть и отмереть. Интеллигенция, которая неспособна пройти эту дорогу до конца, вымирает в лагере на 90%. Для всех остальных наступает всеобщая атрофия сознания и марионетизация духа. Нет больше ни лжи, ни правды. Разница между ложью и правдой существует только для бодрствующего и свободного сознания. В подсознании «расчеловеченных» еще сохраняется что-то невысказанное и неизреченное, — но их сознание становится ровно, плоско и серо — абсолютно пассивно и мертво. Никто не требует от зэ-ка, чтобы он «верил» в мудрость и справедливость всего, что делается кругом. В это и сами его палачи не верят. Достаточно просто принимать известный порядок мыслей — не иначе как внешний порядок — к исполнению, как своего рода лагерный ритуал и мундир. Достаточно вести себя послушно и так, как если бы весь этот жуткий театр был правдой.

Человек, который 5 или 10 лет провел в лагере, может быть выпущен на волю без опасения, что он в чем-нибудь станет поперек дороги Советской власти. Он «научен», и этой науки хватит надолго, на ряд лет. Темное основание страха заложено в его душу. Выше

я упомянул о подсознательном остатке, который нельзя уничтожить до конца. Наличие подавленных и глубоко от самого себя упрятанных бессознательных остатков в марионеточном существовании зэ-ка приводит к особым формам того, что можно назвать «лагерным неврозом», и на чем позже я остановлюсь подробнее.

Как возможно, что методы, о которых я попробовал дать самое общее и неполное представление, не вызывают против себя массового протеста в самом лагере и за его пределами? Случаются, хотя и редко, в лагере попытки резкого и безусловного протеста. Однако, они исходят всегда от людей исключительных. Исключительных либо в смысле абсолютной идейной непримиримости и веры, или, наоборот, от таких людей, которым нечего терять и на все наплевать. Вот два примера того и другого.

На 48-ом квадрате и позже я встречал фанатических мучеников христианства. Лагерники называли их «христосиками». Это были последние остатки разгромленной «Святой Руси» — религиозных подвижников, юродивых, самосожженцев 18 и 19 века. Для них Советская власть была делом Антихриста, и они просто отказывались служить Антихристу. Старые женщины и молодые девушки — не то бывшие монашки, не то просто глубоко и неустрашимо верующие — отказывались работать по воскресеньям и в праздники. Группа в 10-12 человек мужчин — «христосики» на 48-ом квадрате — отказались от работы начисто и вообще. Пробовали их держать и в карцере, и в бараке на штрафном пайке — 300 грамм хлеба — но оказалось, что «христосики» получают достаточно хлеба и еды от окружающих зэ-ка, которые им сочувствовали. Такая поддержка и такое поведение «христосиков», конечно, не могли быть терпимы в лагере. Их долго уговаривали, прежде чем применить к ним обвинение в злостном отказничестве. — В моем присутствии начальник КВЧ — женщина-комсомолка — вызвала к себе для разговора монашку-отказчицу. Это был «легкий случай», т. к. она не хотела

работать только по воскресеньям. Вошла баба, закутанная по самые брови в платок, поклонилась в ноги и стала у порога. Лицо у ней было каменное, чужое, далекое — не от мира сего. Может быть, это была святая в советском лагере. Комсомолка смотрела на нее с досадой и некоторым испугом, как на душевно-больную. Разговаривать им было не о чем. Для меня эта допрашивавшая тупоносенькая Марья Иванна в пестрой блузке и ботиках, которая заключенным говорила «ты», а они ей «гражданка начальник» — была во много раз неприемлемее, гаже и отвратительнее, чем несчастная баба, которую ждал расстрел или вторые 10 лет. «Христосиков» скоро расстреляли, и все о них забыли.

Среди нас, западников 48 лагпункта, вдруг обнаружился собственный протестант, который скоро стал знаменит до того, что начальники из отделения, и чуть ли не сам Левинсон приезжали посмотреть на него.

Это был Мет, парень, которому при сей оказии я передаю привет, если он еще жив где-нибудь и продолжает свое полное босяцкой беспечности существование.

Мет был круглолицый здоровый еврейский паренёк из мира "Unterwelt". Так он, по крайней мере, сам себя рекомендовал. Когда записывали специальности, он не стал ссылаться ни на какие пролетарские добродетели, а велел отметить коротко и точно: «вор». До сих пор не знаю, был ли он в самом деле так придурковат, как прикидывался, или просто во много раз умнее и сообразительнее нас всех. Мет не дал себя расчеловечить: он сам с первого дня расчеловечил себя так радикально, что начальство рот раскрыло. Заставить его работать не было никакой возможности. Мет требовал, чтобы ему прежде всего дали как следует поесть. — Ты почему не желаешь работать? — сумрачно допрашивал его в моем секретарском присутствии приехавший прокурор. — Расчета нет! — радостно кричал в ответ Мет, с какой-то по-швейковски идиотски-осклабленной рожей, босой, с голо-

вой вывалянной в соломе, и в немыслимом тряпье, из которого торчало его голое тело. — Это же не еда, гражданин начальник! За такую еду я работать не буду. — Куда ж тебя после этого отправить? — спрашивал прокурор. — К Гитлеру! — гаркал Мет. — Ты что же это, хвалишь немецкое правительство? — Меня правительство не касается, — отвечал простодушно Мет: — я только про колбасу говорю, колбаса у них хорошая! — и рассказывал, что немцы ему на работе давали колбасу, а здесь не дают. Можно поручиться, что начальники, допрашивавшие Мета, в глубине души сами испытывали удовольствие от его откровенных ответов и смелости, с которой он говорил то, что они сами знали, но сказать не могли. Мета сажали в карцер, предварительно раздев до нага. Очутившись взаперти, Мет немедленно начинал дико и страшно кричать. Голосил он, как будто его резали, и кричал часами. Неизвестно, откуда у него силы брались. По временам крик становился особенно страшен, и тогда во всех бараках люди говорили: «бьют его теперь, наверно». На беду, карцер находился под самым забором, а по другую сторону лагерного забора жил в отдельном домике начальник лагпункта. Мет нечеловечески орал ему в самые уши и не давал спать по ночам. На утро его освобождали. К нашему удивлению, он выходил одетый как принц, во все самое лучшее, что было на лагпункте: новый бушлат, целые штаны и целая обувь. Это начальство делало попытку задобрить Мета и показать ему, что если он будет работать, то ничего для него не пожалеют. Появление Мета, одетого с иголочки, с широкой улыбкой на дурацком лице, вызывало сенсацию. Один день он копошился на производстве и милостиво делал 30% нормы. Это было с него достаточно, и на другой день он уже опять не хотел ничего делать. Вечером снимали с него новый бушлат и целые штаны и снова отправляли в карцер. Ночью мы подымали головы с нар и слушали: из домика на пустыре несся звериный низкий вой. Это бешено орал протестующий Мет. — Расстреляют, — говорили одни. — Не расстреляют!

— говорили другие. — Он знает, что делает. Притворяется дураком. Наверно думает, что его в госпиталь возьмут, или еще куда-нибудь.

И в самом деле, Мета не расстреляли. Несмотря на его контрреволюционные речи и прославление гитлеровской колбасы, — а, может быть, именно потому, что он умел создать впечатление невменяемости и юродивости — начальство от него отступилось, и он был одним из первых, к кому применили амнистию зимой 1941 года.

7. ЛЕСОПОВАЛ

За час до восхода солнца по засыпанным снегом тропинкам, по дорогам, скованным ледяной стужей, в лунном полусвете, выходят лесные бригады. Позади остаются шум и сутолока развода. По часу стояли бригады, ожидая, пока откроются ворота и начнут выкликать, потом за воротами под окошком инструменталки начиналась давка. Бригадир Врочинский охапками принимал топоры, поперечки и лучки, раздавал звеньевым, а те — своим людям. На правом плече — лучок, под мышкой или за поясом — топор. — «Пошли!» — И вот бригады втягиваются в лесную чащу.

С полчаса идем молча и угрюмо, позвякивая котелками, где у некоторых — утрешний суп. Нет опасности разлить его — он сразу замерз на воздухе. Люди со сна чувствуют слабость, кости ноют, походка тяжела. Но через час-два и ноги разойдутся, и в руках прибудет силы. Работа втянет незаметно.

Звенья расходятся по лесу, метров на сто одно от другого. Придя на место, начинаем разгребать остатки вчерашнего костра. Серебристая куча пепла еще тепла. Под ней на дне тлеют угольки — или часто один-единственный уголек, маленький, как окурок папиросы. Тогда с величайшим терпением и искусством, на коленях в золе и снегу, дыша на уголек, разжигают его бумажкой, тряпкой или ватой, вырванной из собственного бушлата. На огонек кладут сухие щепочки величиной со спичку, на них щепки побольше — из того драгоценного куска сухого дерева, ко-

торое еще вчера вечером спрятали для этой цели — потом большие сухие поленья, потом смолистые еловые, сосновые ветви, — на них крест-на-крест целые небольшие деревца, — и, наконец, все придавливая, ложится поперек четырехметровый тяжелый брус. Огонь пробился, хвоя трещит и сыплет искрами.

Пред костром кладется большая колода, и члены звена садятся отдыхать. Еще темно. Люди сидят без движения, сосредоточенно переживая тепло, покой и последние минуты перед началом работы.

Но вот сереет, и бригадир, вынырнув из-за деревьев, подымает сидящих: «довольно сидели!» Стрелок обходит звенья, считая людей. Для него разложен отдельный костер, при котором он может сидеть и дремать хоть до самых сумерек.

Наконец, подымается первым лучкист. Выбрав дерево, не спеша, бредет по колена в снегу, оттаптывает снег вокруг дерева, обнажая основание ствола. Потом топором надрубает неглубоко в ту сторону, куда дереву падать. И, раскорячив ноги, наклоняется с лучком. Теперь он похож на огромного, серомышиного цвета, безобразного паука, который присосался и не раньше отогвется от своей жертвы, чем обескровит ее и повалит на снег. Сухой скрежет лучка разрывает тишину леса. С шипеньем и лязгом идет лезвие взад и вперед, и за каждым разом из поперечного надреза вылетает струя древесной трухи, как белая кровь дерева.

До 1940 года западники ничего не знали о лучке. В Польше пилили дерево по-старому: одной поперечкой вдвоем. Лучок выдумали американцы. Это — канадская пила, с тонким лезвием на раме. Зубцы лучка имеют тройное направление: один искривлен направо, второй налево, третий стоит прямо — это называется «разводом», Если лучок правильно натянут, отточен, если зубцам дан надлежащий развод, то в руках мастера-лучкиста он идет как смычок в руках скрипача-виртуоза. Тонкое и хрупкое лезвие проходит сквозь мощные стволы, точно они из масла. Каждые четверть часа падает 20-метровая колонна дерева с гро-

мом и треском, ломая по дороге ветви соседних деревьев. Лучкист распрямляется, и тогда видно, что это — нелегкая работа. Лицо его красно от напряжения, и сердце бьется сильно и часто.

Четыре человека работают в звене. Первый — лучкист — убивает дерево. Второй — сучкоруб — раздевает дерево. Он кидается на него с топором, обрубает вершину, потом поперечные ветви и суки, имеющие иногда изрядную толщину. За ним идет сучкожог. Он собирает обрубленные сучья в охапку, несет к костру и превращает в огонь. По правилу, на месте порубки к вечеру не должно быть никаких остатков. Четвертый — раскряжовщик. Он вооружен 2-метровой палкой, самодельной меркой, на которой нанесены нужные ему деления. Задача раскряжовщика — определить, куда какое дерево годится, и распилить нагие стволы деревьев согласно сортам и стандартам. Много есть сортов дерева. Осина идет на дрова, сосны на «пиловочник» и в лесопилку, березы на «баланс» и в бумажные фабрики, «подтоварник» на подкладки и подпорки, а «судострой» — на мачты. Дрова режутся по 2 и 4 метра, баланс по 2.25, пиловочник имеет свою меру, а судострой свою. Если разрезать дерево неправильно, — это брак, и десятник вечером не примет его. Если разрезать дерево, годное на «баланс», по мерке дров или подтоварника, то это потеря для государства. Раскряжовщик, делающий такие ошибки, человек неспособный или вредитель.

— Берегись! — кричит, не оглядываясь, лучкист, когда чувствует, что дерево начинает дрожать и поддаваться под его плечом. Налечь покрепче, — и оно, надламываясь, начинает медленно падать. Никогда нельзя перепелить дерево насквозь: тогда оно, теряя равновесие на пне, превращается в страшное орудие убийства; нельзя предугадать, куда оно упадет, и не обрушится ли вдруг на самого лучкиста. Но даже если оно и падает в нужном направлении, то часто бывает, что какая-нибудь боковая ветвь зацепится по дороге, и ствол изменит направление. Лесоповал не обходится

без жертв. Каждый сезон бывают на лагпункте жертвы собственной неосторожности или неопытности.

Кажется, что работа сучкоруба или сучкожога легка, но это — заблуждение. Именно на эту работу посылали чаще всего слабосильных западников, и они на ней теряли последние силы. Подбрасывать хвою в ярко-горящий костер кажется очень приятным занятием. В действительности, никакой сучкожог не справится с теми огромными — и по весу, и по объему — хвойнымы массами, которые навалит ему хороший лучкист. Кошмар этой работы — в ее непрерывности. Лучкист свалил дерево и, не оглянувшись, пилит следующее. Сию минуту надо обрубить и унести массы ветвей, иначе через несколько минут на это дерево поперек или рядом ляжет второе, а на второе — третье. Ветви нижележащего будут придавлены, и до них вообще нельзя будет добраться. Надо посмотреть, как узко-грудый и с типичным интеллигентским лицом работник 3 категории, венский еврей Мулер — в прошлом купец или бухгалтер — таскает на огонь огромные охапки ветвей — час, два и три. Сил у него уже нет, но чем больше он тащит, тем больше их прибывает. Он тонет в этом еловом и сосновом потопе, а тем временем то и дело гаснет у него костер. То он завалил его заснеженными ветвями, вода заливает огонь, то все перегорело за те 10 минут, когда он таскал свежие сучья. Огонь играет в прятки с Мулером: то покажется, то скроется, то разгорится ясно, то притухнет. Сколько нервов и напряжения! Густой едкий дым валит от костра. Лицо Мулера черно и опалено. все на нем разорвано, мокро и грязно, весь он в саже и копоти, но сесть нельзя: за спиной с треском валятся деревья, и лучкист гневно кричит: «Опять, жидовская морда, сидишь?».

Одно хорошо в этой работе: забравшись в глубь леса и разложив свой костер, мы — в звене Глатмана — можем на некоторое время забыть о лагере. Мы сами себе хозяева. Никто не стоит над душой, не погоняет, не матерится, не гонит, а начальство — в виде десятника или прораба — заглядывает к нам мимохо-

дом не чаще чем раза два за весь день. Наш звеньевой Глатман, шофер по профессии, завидев издалека идущего, предупреждает нас: «идет!» — и мы с удвоенным усердием хватаемся за пилы и топоры. При начальстве отдыхать не сядешь. Но, пользуясь отсутствием хозяев, мы от времени до времени садимся на так называемый «перекур». Огонь костра обжигает лицо, а одновременно, при 30 градусах мороза леденеет затылок. В полдень, кто имеет, вытаскивает из-за пазухи кусок грязного свалявшегося хлеба. Западники имеют свой способ лакомиться: втыкают хлеб на длинный сучок и держат его над пламенем углей, пока хлеб не станет золотистым и горячим, покроется бронзовой корочкой, а когда переломишь — весь дымится и пахнет...

Часов в 10-11 прибывает первый возчик. К этому времени у нас набралось уже на первый воз. Огромные стволы, как туши лесных зверей, лежат на задымленной полянке, порезанные на части раскряжовщиком. На полянке пылают костры: не один, а два или три. Сучкожог, следуя по пятам лучкиста, чтобы не таскать слишком далеко ветвей, переносит огонь с места на место. Полянка вся в дыму, а люди в жару работы посбрасывали с себя бушлаты. Начинается трудная работа навалки. В ней принимает участие все звено вместе с возчиком. От одного до 2 фестметров входит на воз. Люди вооружаются «дрынами» и начинают подкатывать «балан» к возу: — «Разом! Разом!» — Иногда усилий 5 человек недостаточно, чтобы сдвинуть огромный балан, увязший в топком месте. Подвести дрын, подставить плечо — и налечь до того, что глаза вылезают. Длинный, заостренный дрын гнется и трещит. Трещат и наши кости. Самое трудное — взвалить балан на воз. По подложенным кольям его дрынами подсаживают наверх. Часто в последнюю секунду кто-нибудь не выдерживает, и балан, уже почти на возу, оседает и ползет вниз, ко всеобщему отчаянию. Когда воз нагружен, все усилия обращаются на несчастную лошаденку, которая не в состоянии вытянуть его по трудной скользкой дороге. Наконец, воз тро-

гается и все звено провожает его, помогает лошади тянуть, подпирает плечами на опасном повороте, где воз клонится на бок. Воз скрывается из виду, все без сил, у всех дрожат ноги и спирает дух. Надо отдохнуть, но через 15 минут является бригадир с известием, что воз перевернулся на полдороге. И мы все, с кольями на плечах, идем нагружать заново.

Надо ли удивляться, что в этих условиях мы никогда не могли отправить больше 2 или 3 возов, и для меня никогда не выходило больше 30% нормы на работе, которая вытянула из меня жилы?

В ту первую зиму мы были еще тепло одеты. У меня были валенки и шерстяные чулки, присланные из Пинска. Несмотря на это, в первый же день моего выхода в лес на порубку я отморозил себе большие пальцы ног. Белорусские мягкие черные валенки, которые прислала мне мать, не годились для Карело-Финнии. На севере носили твердые, тяжелые серые валенки, но только избранные получали их. Масса выходила в лаптях и онучах, в рваной обуви, в которую запихивали солому, и все мы ходили с отмороженными пальцами рук и ног. В полдень обходил бригады лекпом с вазелином — на всякий случай.

Звеньевой наш — Глатман — был одним из немногих евреев, которых начальство ставило прочим в пример и в доказательство, что западники годятся для всякой работы. С этой целью Глатмана лансировали, хвалили, а вечером дописывали ему нехватавшие до стахановского пайка проценты. Глатман, настойчивый и здоровый человек, поставил себе целью удержаться в первых рядах на лесоповале. Это некоторое время ему удавалось, и возможно, что в нормальных условиях он стал бы отменным лесорубом. На 48-ом квадрате он надорвался. Скоро стал он бросать лучок в середине, не допилив, выпрямлялся и искаженным лицом, уже не красным, а бледным, сведенным судорогой. Стал раздражительным, начал хвататься за сердце, начал ссориться с десятником. Я не мог оставаться в его звене, т. к. он недвусмысленно, по-хозяйски, дал мне понять, что ему требуется работ-

ник получше. К весне Глатман был кончен: осунулся, похудел, едва двигал ноги. Его сняли с лесоповала.

Рано или поздно лесоповал убивает каждого, кто делает эфемерную карьеру рекордиста в лагере. Каждый кончает сердечной болезнью и инвалидностью. Лагеря полны «бывших звезд», людей, которые ходят с палочкой и рассказывают, какая медвежья сила у них была, и какие чудеса они показывали еще недавно. Вот типичная история такого рода.

Люди, проведшие ту зиму на 48 квадрате, помнят имя Закржевского. Это был русский, несмотря на польскую фамилию, молодой еще человек, который прогремел на все ББК. З/к Закржевский зарабатывал на лесоповале до 800 руб. в месяц. Его звено было сверхстахановское. Оно одно давало по 80 фестметров ежедневно, т. е. втрое больше, чем вся бригада Врочинского из 30 западников. Одно это звено обслуживалось целой бригадой возчиков, которая с утра до вечера возила и не успевала вывезти то, что валил этот худощавый, черный, с глазами обреченного, молодой зэ-ка́. Слава о Закржевском шла по всем лагпунктам. Он был нашей знаменитостью и гордостью, украшением 48-го квадрата и первым на нем человеком. Сам начальник лагпункта, разговаривая с ним, льстиво заглядывал в глаза и гладил по руке. Никаких норм питания для него не существовало. Когда вечером приходило с работы звено Закржевского — гвардия лагпункта — сам завкухней приходил спросить, чего они желают покушать — и им носили полные миски макарон, котлет и булочек — самое изысканное, что было, и без ограничения количества. Для них добывали запрещенный спирт по 100 рублей литр, и з/к Закржевский жил на лагпункте как удельный князь — в отдельном помещении со своим звеном. Закржевский был нужен, чтобы показать серой массе, что такое «аристократия труда», подогнать ее, поставить пред ней цель. Закржевским нас били, Закржевским загоняли массу, как кнутом отстающую лошаденку. Конечно, это был сильный и ловкий работник, вдобавок одержимый своим рекордом, как радеющий

хлыст. Но это все не объясняет 80 фестметров в день. Рекорд Закржевского был блефом. Он был нужен правлению для рекламы, и он достигался такими мерами: Закржевскому давали исключительный участок леса и наилучшие инструменты — освобождали от обязанности валить подряд — он валил только отборные деревья, пропуская невыгодную мелочь — и был освобожден от сжигания порубочных остатков. За ним убирали другие. Затем он не участвовал в навалке. Наоборот: каждый приезжавший возчик обязан был взять лучок и свалить пару деревьев, прежде чем уехать. Наконец, если бы разделить 80 ф/метров на 4-ех поровну, не вышло бы такого блестящего рекорда. Поэтому напарникам Закржевского писали по 50% нормы, а всю продукцию сосредоточивали на нем одном, что давало тот огромный заработок, которым он делился с участниками звена.

Закржевский не импонировал тем, кто видел близко, как «делается» его сверхрекорд. Человек этот прошумел и просиял на 48 квадрате, как падучая звезда. Он выдавил из себя до последнего остатка всю силу, всю кровь и сгорел в 3 месяца. Скоро о Закржевском перестали говорить. Он заболел скоротечной чахоткой. Умирать увезли его на другой лагпункт. Инвалидам принудительного труда не засчитывают их бывших рекордов. Как выжатый лимон, выбрасывают их в самый дальний угол огромной свалки, где копошатся миллионы «доходяг».

Словечко «доходяга» надо объяснить. Когда зэка теряет физический и моральный минимум, необходимый, чтобы держаться на поверхности лагерной жизни, — когда в процессе «расчеловечения» он переходит роковую черту, за которой начинается безудержное крушение, — короче, когда он теряет образ человеческий — тогда говорят о нем на лагерном языке, что он «дошел». Человек «доходит» — по-русски это говорится вообще о лежащем на смертном одре, об агонии. «Доходит» в лагере — значит уже не умывается по утрам, не раздевается на ночь, перестал обращать внимание на свой вид и на то, что о нем

говорят люди. «Доходит» — значит: пал духом до конца, опустился и отчаялся, клянчит прибавку под окном кухни, доедает остатки после других, идет на дно, не сопротивляясь. «Доходяга» — человек с перебитым хребтом, жалкое и омерзительное явление, в лохмотьях, с потухшими глазами, не только без физической силы, но и без силы протеста. — «Урка» — лагерный волк, существо опасное, готовое каждую минуту укусить и огрызнуться. — «Работяга» — тот, кто еще как-то держится, знает себе цену, и начальство его оберегает, так как на нем держится все хозяйство лагеря. — «Доходяга» же — есть лагерный паршивый пес, или гиена. Все на него махнули рукой, в том числе и начальство, которое больше не ждет от него проку и предоставляет его своей участи: «доходит — и чорт с ним». Когда начинается на лагпункте проверка ослабевших и обессилевших людей — а это происходит периодически — то во всякие «слабкоманды» и «команды отдыхающих» отбирают прежде всего таких, которых есть еще расчет подкормить, чтобы вернуть их в ряды «рабсилы». «Доходягу» не возьмут, — это пропащее дело, он списан со счетов. Не стоит тратить на него ни времени, ни внимания, ни скупых материальных ресурсов.

В ту зиму стояли лютые морозы, деревья трещали в лесу, синели губы и кровь останавливалась в жилах. Нацменские бригады из знойной средней Азии освобождались от работы уже при 25° мороза. Для нас граница составляла 30°. Но эта граница плохо соблюдалась. Единственный градусник висел на вахте. Часто, выходя утром на развод, мы видели, что градусник убран, чтобы не смущать людей. День, когда из-за мороза мы оставались в бараках, зачислялся нам в счет будущих выходных дней. С каждым днем росло число доходяг на лагпункте. Сквозь щели в бревнах и окнах ветер навевал снег внутрь бараков. Мы спали на голых досках, подложив бушлаты, в которых работали днем. Я был счастливее других: у меня было одеяло из дому, которым я укутывался с головой. Под головой был у меня мешок с ве-

щами, на полочке, прибитой рукою друга, Арие Бараба — железный ржавый котелок и синяя кружка. Просыпаясь утром, я видел голову спящего соседа в снегу: снег засыпал нару и был на ушастой шапке, в которой он спал. На лагпункте было 350 доходяг. Эксперимент с западниками кончался: половина свалилась с ног.

Из Медвежегорска ударили тревогу. Чтобы поставить на ноги людей, выписали им на 2 недели «слабкоманду». Освободили от выполнения нормы и дали стахановское питание. Тогда люди совсем перестали работать. Установили 30% выполнения нормы, как условие зачисления в слабосилку. Это значит, что премировали стахановским питанием тех, кто еще был в состоянии работать, а другим предоставили доходить. Мы скатывались все ниже, но держались за жизнь цепко: приходили посылки, были еще кое-какие вещи, казенный паек не был для нас единственным якорем жизни. На соседнем пункте покончил самоубийством бывший директор банка, у нас был случай помешательства, но это были единичные случаи. Зато участились больничные смерти. Болезнью, от которой чаще всего умирали западники, было воспаление легких: результат тяжкой работы зимой в лесу плохо-одетых и ослабленных людей.

Одним из первых умер на 48 квадрате молоденький «лучкист» Тимберг. При жизни он все ждал писем от сестры и огорчался, что его забыли и не пишут. Он так и не дождался, но после его смерти вдруг стали приходить частые письма. Только уж некому было их читать и отвечать на них.

Первым симптомом истощения является ослабление мочевого пузыря. Это грозная беда, когда люди должны подыматься ночью по 5-6 раз. Надо представить себе верхние нары, на которые взобраться и с которых спуститься можно только по приступочке с большим усилием, зловонную коптилку на столе, — худые ноги полускелета, которые болтаются в дрожащем свете коптилки, нащупывая край нижней нары и пол, человека в кальсонах, закутанного в одеяло

или бушлат, бредущего к выходу на 30-градусный мороз. Днем «оправляться» при бараке — грозит карцером, но ночью никто не идет дальше шага от двери. Потом, с острого пронзительного холода — прямо к печке. Ночью в бараке печь облеплена худыми фигурами в одеялах, которые стоят неподвижно, облапив печку, прижавшись всем телом, прислонив лоб к горячей стенке. Есть доходяги, которые так стоят часами, пока их не прогонят. Люди, которым каждый час приходится прерывать сон и бежать на двор — не могут выспаться и не отдыхают за ночь. Не мудрено, если днем они засыпают во время работы.

На производстве появились первые случаи самоувечья. Кто-то из западников рубанул себя топором по руке, отрубил два пальца. Люди, которые отмораживали пальцы, не были уверены, что их освободят от работы. Не посчастливилось и человеку без пальцев: власти деловито проверили, как это случилось — и неудачника, который предпочел увечье лесной каторге, отдали под суд по обвинению в умышленном самовредительстве. Его увезли от нас.

Западники держались, как могли. Случались фантастические вещи в онежских лесах. Однажды, сев в кружок вокруг костра, стрелявшего красно-золотистыми искрами во все стороны, бригада горе-лесорубов заспорила, что такое «теория относительности», и может ли обнять ее обыкновенный человеческий разум. Был полдень, время перекура. И я отважно вызвался — ясно и для каждого понятно изложить, что сделал Эйнштейн. Это была аудитория социально-опасных евреев, они сидели, сунув ноги в резиновых «четезэ» прямо в огонь, резина смердела, бушлаты горели, и, раскрыв рты, они слушали в занесенном снегом лесу, под охраной стрелка с ружьем, рассказ о Птоломее, Ньютоне и опыте Майкельсона, преступную повесть, недозволенную воспитателем КВЧ и непредусмотренную «разнарядкой».

А бушлаты горели. — От времени до времени кто-нибудь нюхал воздух и говорил соседу: — Приятель, вы горите. — Где? — спрашивал сосед и начинал вер-

теться во все стороны, пока находил место, куда попала искра. Каждый из нас, начиная от ватных чулок и ватных брюк до бушлата и шапки, был одет в вату, носил на себе целое ватное одеяло. В дыму и пламени костра уберечься было невозможно. Искра, попадая в бушлат, сразу прожигала его худую бумажную ткань, и вата изнутри незаметно начинала тлеть, куриться, разгораться. Минут через 5-10 из дырки начинал валить дымок. Зэ-ка, своевременно заметив, набирал горсть снегу и набивал дырку, затирая искру. Если это не помогало, надо было сбросить бушлат и ткнуть его горящим местом в сугроб. Трудно потушить тлеющую вату. Иногда кажется, что пожар потушен, но где-то осталось раскаленное волокно, и через полчаса из той же дыры опять валит дымок. Или на работе человек вдруг почувствует, что ему в одном месте горячо — жжет: это значит, что бушлат прожгло насквозь, и огонь добрался до голого тела. Надо действовать радикально и решительно — вырвать не только красновато-тлеющее место, но и всю вату, не жалея, вокруг него. Лесоруба легко узнать по сквозным зияющим дырам его одежды, из которых торчат во все стороны клочья обгорелой коричневой ваты.

Мне, как профессиональному сучкожогу и близорукому человеку, часто приходилось вести героические поединки с горящим бушлатом, который ни за что не хотел потухнуть. Я его тушил на спине, а он загорался в рукавах. Я тушил рукава, а он принимался дымить со спины. Кончалось тем, что я вырывал из него чуть не всю начинку и закапывал в снег. До сих пор стоит в моих ноздрях запах мерзлой и горелой, закопченной и прогнившей ваты. Долго сушил я мокрый бушлат перед огнем, — а когда, наконец, одевал то, что от него осталось, то через полчаса, как ни в чем ни бывало, снова шел из него удушливый и прогорклый дымок.

Так как бушлат и ватные брюки выдаются заключенному раз в год, то можно представить себе, как живописно все мы выглядели через короткое время.

Царственно-прекрасны вековые надонежские леса. Зимой это царство белого блеска, радужных, опаловых переливов, Ниагара снегов и таких янтарных, розовых и темно-лазурных акварельных сияний в высоте, точно итальянское небо раскрылось над Карелией. Глубина леса безветренно-невозмутима, огни костров прямо подымаются к небу. Природа прекрасна и девственно-чиста, пока нет людей. Люди в этом лесу, и все, что они устроили — так чудовищно безобразно, так нелепо страшно, что кажется кошмарным сном. Кто выдумал всю эту муку, кому понадобились рабы, конвоиры, карцеры, грязь, голод и пытка?

Вот идут по лесной дороге зэ-ка из дорожной бригады. Сегодня и я с ними. Дорожники в движении весь день — от темноты до темноты. Проходят 15-20 километров, осматривая дороги, поправляя выбоины, закладывая бревна в ямы — выравнивая дорогу саням. Тяжело весь день без костра на морозе. Но зато — как хорошо идти одному с кучкой товарищей через лес, забыв о том, что сзади и спереди. Вот на повороте «карельская спичка»: это дерево, дуплистое, трухлявое, разбитое бурей, которое само собой затлелось и дымится — где-то в глубине дупла рдеет огонек — не день и не два. Возчик, проезжая мимо, останавливает сани и идет закурить. Второй раз он закурит, когда поедет обратно. На километры кругом — ни у кого нет спичек и огня, и только немногие старые лагерники имеют огниво и кресало, а вместо старозаветного трута — ватный фитилек в металлической оболочке.

Группа дорожников с топорами и лопатами идет в лес. Сворачивать им нельзя, а в конце пути ждет стрелок-конвойный. Мимо едет возчик с драгоценным грузом: это — «авио-береза», самое дорогое, что есть в местных лесах. Знаменитой «карельской березы», что идет на дорогую мебель, как раз нет в лесах под Пяльмой — она где-то южнее. «Авио-березой» называется безупречно прямой и гладкий, без сучка и задоринки, без сучков и дефектов, неповрежденный ствол, который идет на выработку пластинок для про-

пеллеров самолетов. Найти такой ствол — один из тысячи — это счастье для лесоруба, т. к. норма тут ниже кубометра: нашел одно-два дерева, и норма перевыполнена. На «авио-березу», как на редкого зверя, выходят в лес охотники: весь день они бродят в глубоком по-пояс снегу, осматривая дебри в поисках чудесного дерева, а за ними вязнет в снегу, проклиная судьбу, стрелок из ВОХР'а. — Когда западники натыкаются на что-то, что им кажется похожим на авио-березу, начинается волнение: призывают десятника, совещаются, долго осматривают. Если в самом деле авио-береза, мрачный взгляд Глатмана смягчается; на его темнобровом еще красивом исхудалом лице выражается удовлетворение. Сегодня удача, сегодня всем «стахановский», будет и хлеб, и каша, и «запеканка»! — Но чаще десятник, зорко оглянув круглую беломраморную колонну дерева, указывает пальцем на еле заметное порочное место — и все тогда разочарованы и обмануты.

Дорожники идут от бригады к бригаде. Вот снова место работы. Над лесом тучей висит дикая матерщина, не та наивная дореволюционная, а новая, в которой своеобразно переломилась сексуальная осведомленность деревни, с неслыханными вариациями, где вместо чорта, бесповоротно вытесненного из коммунистического лексикона, фигурирует во всех словосочетаниях некое более наглядное и отнюдь не клерикальное орудие производства. С грохотом валятся деревья, кричат навальщики, стучат топоры. Стон стоит над лесом, который превращен не только в геенну человека, но и в место мучения животных. Лагерные лошади, как люди, получают по норме и вечно голодны. Беспощадно бьют их дрынами по бокам, по крупу, по голове, и матерятся, точно это люди. Лошади страдают от жажды. Лагерные лошади со сквозными ребрами пьют грязную воду из луж, чего нормально лошадь не делает никогда. — Промчались последние сани с дико-голосящим возчиком, — и на поляне открывается картина сбора бригады, кончающей день работы.

Сумерки. Звенья сходятся в одно место, где работало центральное, особенно важное, звено. Там уже сидит, покуривая, лесной мастер, хлопочет бригадир, скликая людей, но стрелок еще не позволяет выходить на дорогу: еще рано. Где работали звенья, догорают оставленные костры. Заливают огонь, но стараются сохранить угли под золой, чтоб не потухли до завтра. Иначе придется с утра посылать в соседнее звено за головней, выпрашивать, бежать с головней через лес, помахивая, чтобы не потухла. Перед уходом еще быстро пилят дерево в каждом звене — отобранное сухое бревно — в барак для дневального. Каждый несет с собой чурку. На полянке, где собралась бригада, пылает во мраке особенно яркое пламя. Разожгли исполинский костер такой высоты и жара, что и не подойти. Кругом сплошной стеной стоят люди — обсушиваются. Снегом моют руки, поразвешали бушлаты вокруг огня. Дымятся спины, бушлаты, ватные брюки, сверху одетые на свои домашние — все испаряется; на глазах становится сухо, а потом еще смуглеет, бронзовеет — того и гляди, загорится, а по краям, как было мокро, так и осталось. Бригадир собирает, ругаясь, поломанные за день лучки, считает топоры. Одного нет — кто-то забросил топор. Надо искать, — без топора нельзя вернуться. Наконец, долгожданное — «Пошли, ребята!»

Бригада растянулась по лесной тропе, идет двойками, по дороге встречая, нагоняя другие бригады. Все стягиваются к вахте: там по счету принимают людей. Один спокойно другому: «Да ты же нос отморозил! Три скорей!»

А поленья надо припрятать: они краденые. На чурки, которые несут из государственного леса лесорубы, еще смотрят сквозь пальцы: «не полагается, но . . . с ними». А вот пильщики, дорожники и всякие другие, кто сам не валил леса — они свои чурки взяли по дороге из штабелей, приготовленных к отправке — этим лучше дровишки припрятать под бушлат. — «Бросай чурки!» — грозно кричит дежурный стрелок. И до тех пор продержит бригаду, пока не

набросают ему столько дров, что хватит топить железную печку на вахте две недели. А в бараке пусть мерзнут, это дело не наше, нас не касается. Часть людей прямо с вахты отводится в карцер, а остальные, громыхая котелками, идут становиться в очередь под окошко кухни.

8. ВРАГ МОЙ ЛАБАНОВ

За 10 месяцев на 48 квадрате сменилось трое начальников. Петров, великий ругатель, но добродушный и простоватый человек, оказался неспособным наладить порядок на лагпункте. Скоро он загрустил, и начальственность сошла с него. В последнее утро перед уходом Петров совсем упал духом и, выйдя к плотникам, которые строили забор вокруг женского барака, стал в одном ряду с ними прибивать доски и стучать топором. Он скинул гимнастерку и свою старую фуражку, и весь ушел в работу. Казалось, работая заодно с заключенными, он больше чувствовал себя человеком и больше на месте, чем за бумагами в кабинете. Худое, нервное и усталое лицо его приняло мирное и спокойное выражение.

Петров был человеком старшего поколения. Такие люди, которые помнят прошлое без лагерей и романтику гражданской войны, имеют в России свои сокровенные чувства и мысли, горечь и сожаления, о которых никому не скажут. Вряд ли снилось ему, когда он был красным партизаном и ходил в атаку на врагов революции, что судьба поставит его на старости лет начальником концлагеря.

Преемник Петрова, Лабанов был так поразительно молод, что когда он вошел в первый раз в контору, никому и в голову не пришло, что это новый начальник. Местом своим он был обязан протекции в Медвежегорске. Лабанов носил кургузый пиджачок, нос имел вздернутый, вид писарька, и, как две капли воды, был похож на слугу Станислава, который в Лодзи подметал пол и отворял двери в учреждении, где я работал.

Это было во время одного из моих периодических возвращений в контору. После того как Степанов, уполномоченный 3 части, запретил держать меня в конторе, я все-таки несколько раз возвращался туда — на короткое время. Конторские «придурки» держали мою сторону. То табельщик Тененбаум подбрасывал мне талон, то бухгалтер Кунин выдумывал работу на пару дней. Однажды, когда я прилежно строчил какой-то отчет, вошел неожиданно в контору Степанов. Проходя мимо, он чуть-чуть покосился на меня и не сказал ни слова, но главбух Май с досадой крякнул и велел мне как можно скорей уходить в барак — с глаз долой.

Степанов, однако, жил в Пяльме и не мог преследовать меня систематически. Зато Лабанов через короткое время стал для меня грозой. Я не мог понять почему. Это выяснилось позже: я в первые дни неосторожно сказал кому-то, что Лабанов не годится в начальники, а в Лодзи в наилучшем случае мог бы быть швейцаром в конторе. Стены имеют уши, и Лабанову эти слова стали известны. Он никогда мне их простить не мог, и допек меня по всем правилам искусства.

Лабанов был так малограмотен, что с трудом разбирал писанное. Я должен был ежедневно читать ему вслух и пересказывать содержание бумаг. Зато каждую бумажку, которую я составлял, он немилосердно браковал, заставлял переделывать и переписывать по несколько раз. С особым сладострастием он меня гонял с поручениями по лагерю — до поздней ночи.

Настали для меня черные дни. Это было глубокой осенью, когда лагерь тонул в непролазной грязи. Обуви у меня не было, и Лабанов не давал мне ее. — Ты не работяга, — говорил он, — и так побегаешь. — Я почти босиком ходил по лагпункту. На ногах появились у меня раны и нарывы, но Лабанов не освобождал меня от беготни. У меня не было характера отказаться от этой работы, я боялся, что в лесу будет еще тяжелее. Нарядчик Гриб, которого я ког-

да-то угостил салом из посылки, хотел оказать мне услугу и включил меня в «этап», т. е. в партию, которую отправляли на другой лагпункт. Однако, в последнюю минуту Лабанов рысцой вбежал в барак, увидел, что я укладываю мешок на дорогу, сказал тоненьким тенорком: «Не позволяю! Не пойдет он!» — и меня вычеркнули из списка.

В первый раз посадили меня в карцер, когда лилипут Петерфройнд, который оставался в пустой конторе, пока я ходил на ужин, не сразу подошел к телефону. За то, что меня не было при телефоне, когда звонил Лабанов, он мне назначил двое суток. Я сам себе выписал ордер на двое суток, и Лабанов подписал его с удовольствием. Мы так много сажали тогда народу в карцер, что очередь до меня дошла не скоро. Теперь можно признаться, что я совсем не сидел. «Завизолятором» Фридман вписал меня в карцерный журнал, и я отсидел свои двое суток (т. е. двое ночей) только на бумаге.

Лабанов заставил меня оглашать его ежедневные приказы по лагерю при разводе. Я должен был вставать с подъемом, выходить к вахте и перед собранными бригадами читать его распоряжения по лагерю, среди которых были и дисциплинарные взыскания. Составление этих приказов по лагерю входило в мои обязанности «секретаря» Ему доставило невероятное удовольствие, что я, таким образом, должен был составить и огласить приказ о водворении в карцер себя самого. — «Ну, как, — спросил он, — прочел про себя самого?» — и хихикнул.

Хотя Лабанов трижды посадил меня в карцер, я не сидел ни разу, благодаря тому, что заведующий «Шизо» был свой человек, «западник». Скоро Лабанову надоело истязать меня, и он меня отправил в лес. На мое место подобрали русского. Мой преемник был тихий, вежливый, болезненный человек, который лучше меня умел использовать выгоды своего секретарского положения. Карманы у него были полны стахановских талонов, и каждый раз, когда я заходил к нему в контору, он без моей просьбы вручал

мне талон. Зато я, когда получал посылку, обязательно приносил ему пачку украинского табаку.

При Лабанове половина западников свалилась с ног, план не выполнялся, и кончилось тем, что его скоро перевели от нас. На его место прислали Абраменко, бывшего сотрудника 3 (политической) части — «хохла с юмором», о котором я уже упоминал. Абраменко наладил «производство» с помощью нескольких сот русских зэ-ка. От «западников» же толку не было до самого конца их пребывания в лагере.

В одно зимнее утро, когда мы уже часа три отработали в звене Глатмана, подъехал к нам возчик. Подъезд был трудный, и не так легко было поставить сани в нужном месте. Лошадь упиралась, и возчик не мог с ней справиться. Движения возчика были так неловки, и все, что он делал, так затрудняло нам навалку, что Глатман рассвирипел. Как он ни указывал, все получалось у возчика наоборот. Наконец, Глатман размахнулся и наотмашь ударил возчика в лицо.

Я думал, что начнется драка, но вместо этого возчик опустил руки и расплакался, как малое дитя.

Глатман плюнул и отошел в сторону. — «Зачем ты его бьешь? — сказал я с укором, увидев из-под ушастой шапки совсем молодое лицо 17-летнего мальчика. — Все его бьют! опять Салек!»

— Зачем он лезет, куда не надо! — с сердцем сказал Глатман: — разве ему по силам быть возчиком? Разве это для него работа? Ведь он саней повернуть не умеет. Это еще ничего, а если бы в русском звене, они бы ему кости поломали!

Салек все еще плакал, прислонившись к оглобле и не утирая крупных слез. Я подошел к нему и как ребенка стал его утешать.

Салек в самом деле лез, куда не надо. Он был похож на любознательного и наивного щенка, который всюду тычется носом и от всех терпит незаслуженную обиду. Дома, наверное, мать очень его баловала. Салек мне рассказывал про родительский дом и пекарню отца в галицийском местечке, — про то,

какие булки у них пекли и какие перины мать стелила на ночь. Он был здоров, лицо имел пухлое, ребяческое, и отличался удивительной способностью у всех оказываться под ногами. Спускаясь с верхней нары, он непременно задевал ногами сидевшего внизу. Подходя к печке, чтобы помочь (он еще и услужлив был, как хорошо-воспитанный мальчик), подать кому-нибудь кружку с огня, — он ее непременно опрокидывал и разливал. Когда растапливали печку в бараке, он до тех пор ворошил и поправлял дрова, пока огонь не гас, хотя его никто не просил помогать.

Поэтому все его били нещадно и жестоко. Не было дня, чтобы он не плакал навзрыд, чтобы не раздавался его жалкий, ребячий визг, чтобы не бросалось в глаза среди барака его орошенное слезами лицо. Как щенка, его отшвыривали пинком от печи, когда кто-нибудь хотел погреться, а места нехватало. — «Ведь я раньше пришел!» — рыдал Салек, пораженный такой несправедливостью. И быть возчиком он попросился без раздумья, когда вызывали желающих работать на лошади. Он еще не умел соразмерять своих сил. Кости у него были мягкие, но зато аппетит — волчий. Салек никак не мог наесться досыта. А возчиков хорошо кормили.

Мое сочувствие или жалость не могли его накормить или облегчить его работу. Лагерь учил его беспощадно — учил о праве сильного и о законах борьбы за существование. Салек оказался понятливым учеником.

Скоро я увидел, как он бьет тех, кто слабее его. Он научился уходить с дороги сильных и брать за горло, кого можно. У него появился сиплый бас, и он стал материться затейливо и сложно, как заправский урка. В конце зимы опять кто-то жалко плакал в нашем бараке. Но это уже не был Салек. Салек был тем, который избил. В дых, в зубы, в морду, — как его самого били, а потом отошел в сторону и сплюнул — точно так, как это сделал Глатман в то утро. — «Зачем ты так делаешь?» — хотел я спросить — и не посмел. Салек презрительно посмотрел на меня, как

на пустое место. Взгляд у него был волчий. Волченок! Уже он умел укусить больно, выучился воровать, не стеснялся открыто взять чужое, как настоящий урка, нагло глядя прямо в глаза: «посмей сказать слово!» Уже Салека боялись в бараке, и ходили слухи, что он передает в 3-ью часть, о чем разговаривают западники. Так долго топтали Салека, пока он не научился топтать других.

И как могло быть иначе? Сама власть — непогрешимая и всемогущая — преподала ему урок циничного и грубого насилия. Никто его не жалел, не учил уважать человека. А в самом лагере уважали только силу. Скоро Салек научился презирать «доходяг», людей, которые без сопротивления идут на дно, не умеют дать подножку врагу. А врагом Салека был весь мир.

Молодежь 17-18 лет, попадая в лагерь, либо «доходила», т. е. физически чахла, либо быстро дичала, в короткий срок усваивая приемы и мировоззрение бандитов. Не все, как Салек, становились волками. Другие, под конец, как гиены и шакалы, жили падалью, ходили за лагерными богачами и силачами, подбирая объедки, сидели под кухней, ожидая, чтобы им выплеснули помои и картофельную шелуху — сторожили, когда поедет в каптерку воз с капустой, и всей сворой бросались на него, чтобы под ударами кнута стащить качан и убежать с ним.

Тема — «молодежь в лагере» — относится не только к заключенным. В конторе 48-го квадрата работал Ваня — подросток лет 16-ти, вольный — с круглой стриженой головой и смышлеными глазами. Ваня был сыном ссыльно-поселенцев, прикрепленных к району. Это был способный парнишка, он окончил счетоводные курсы и работал у нас в бухгалтерии. В возрасте, когда еще надо учиться, он был вполне самостоятелен и начал карьеру советского служащего. Лагерь его не удивлял и не смущал. Мира без лагерей он себе и представить не мог. Для своих лет он был необыкновенно солиден и сдержан. Ваня жил очень бедно: ел немного лучше нас, носил серо-мы-

шиный бушлат и рубашку, как заключенный; комнаты своей не имел и ютился в углу у кого-то из стрелков. Я к нему приглядывался с любопытством: что этот подросток знал о жизни, какие у него были перспективы в будущем?

С европейской точки зрения Ваня был полудикарь: никогда в жизни не выезжал из онежских лесов, не имел понятия о городском комфорте, вид шляп и галстуков на фотографиях западников приводил его в веселое настроение, о яблоке или груше он знал только по наслышке, никогда не ездил трамваем, не питался по-европейски, не спал по-европейски (пододеяльник ему был неизвестен).

Ваня имел очень смутное понятие о христианстве, никогда не видел ни Библии, ни Евангелия, и вся мудрость мира заключалась для него в политграмоте. В духовном смысле он как бы был кастрирован: не знал, что можно иметь разные мнения о разных вещах, что можно сомневаться в том, что стоит в изданной Госиздатом книге, или иметь о чем-нибудь свое мнение.

Ваня, конечно, матерился как взрослый, но при этом не сознавал, что говорит что-нибудь циничное и грязное. Для него это был обычный способ выражения. Он охотно пил водку со взрослыми и грубо говорил о женщинах.

Романтика, высокие мечтания, преувеличенный идеализм молодежи — восторженный коммунизм, который на Западе оперирует такими понятиями, как «борьба за свободу», «восстание порабощенных», «человечество», — просто не могли быть приложены к нему. Он был счетовод на лагпункте и видел жизнь как она есть. В школе научили его, что это есть самая лучшая жизнь, а за границей — капитализм, эксплоатация, и все гораздо хуже.

Раз он меня попросил, чтобы я ему рассказал, какие фрукты в Палестине. Я ему описал апельсины, бананы, грейп-фруты. «Да, — сказал Ваня, — фрукты интересные. А только эксплоатация у вас — вот это плохо!».

При всем том Ваня был мальчик: ему было трудно вставать рано, весь день до поздней ночи корпеть над цифрами и бумагами и он часто опаздывал на работу. Все вольные служащие у нас, проходя через вахту, отмечались у стрелка, а ровно в 9 часов я забирал у стрелка список и докладывал начальнику лагпункта об опозданиях.

Ваню предупредили раз, два. Наконец, составили акт и послали, куда следует. Ваня получил повестку в Нарсуд. В то время такие вещи еще не имели серьезных последствий. Ване дали не то 4, не то 6 месяцев принудительного труда в той же должности, с вычетом 25% жалованья. Однако, Ваня помрачнел, и стал еще смирнее. Жизнь его не баловала, а приучала к железному порядку. Скоро забрали его от нас в соседний лагпункт.

Ваня, как сын ссыльно-поселенца, вырос уже с сознанием социальной вины и клейма. Но кругом лагеря было много детворы из семей начальников и стрелков. В особенности много было ребятишек на том лагпункте, где я провел три года после 48-ого квадрата. Эти дети часто приходили в контору ремонтных мастерских лагеря (за воротами), и когда мы работали за вахтой [illegible] изи поселка, они к нам прибегали и играли возле [illegible] Они росли на наших глазах, а мы на их глазах [illegible] ли. Всеобщим любимцем лагеря был 5-летний [illegible] а, сын начальника мастерских, всегда окруженн[illegible] целой оравой ребятишек старше и моложе его. [illegible] огда бригады вечером и в полуденный перерыв в[illegible] ли на дорогу и строились, чтобы пойти «домой [illegible] бятишки облепляли их. Заключенные с ними шут[illegible] сажали их к себе на плечи и так носили до самой [illegible] ы. Потом Вова с товарищами делал попытку про[illegible] чить в ворота лагеря, но это было запрещено, и ребятишек отгоняли в сторону. Стрелки смеялись: «Успеете сесть, когда вырастете!» — Дети стояли гурьбой в стороне и смотрели с интересом, как стрелок выходит с ключами, растворяет ворота, а другой считает проходящих парами. А иногда еще интереснее: обыскивают тех, кто идет с поля или овоще-

хранилища, — не украли ли чего. Обыскивают и тех, кто только что шутил с ними и нес на плече. Это в порядке. Вова знал, что люди делятся на 2 категории: одних считают, водят под конвоем, они должны слушаться и делать работу, на которую их выводят. Зэ-ка для этого и существуют. Они некрасиво одеты, и когда папа приходит, они встают и боятся его. Папа может на них кричать, а они на папу или Вову? — смешно даже подумать такое. Папа, или он сам, Вова, или люди на поселке — это совершенно другие люди, чем эти зэ-ка.

Вова рос с лагерниками, как сын помещика с крепостными, не спрашивая, почему одни носят оружие и приказывают, живут в отдельных домах, а другие живут за колючей проволокой, куда никого не пропускают. Он с детства считал это естественным, как мы, городские дети, считали в своем детстве само собой понятным, что вокруг города находятся деревни, а в них чужие, грязные и бедные мужики, которые делают черную работу и живут совсем иначе, чем мы.

Вся окрестность была усеяна лагерями, и это не были «преступники», а нормальная и основная часть населения. Не «преступники», а просто — отверженные. При виде советских детей, растущих среди арестантов, в атмосфере бесправия и человеческого унижения, и привыкающих к невольникам, как к самому нормальному явлению, я думал, что взрослым следовало бы убрать отсюда ребят, как из публичного дома, и не допускать, чтобы детские глаза смотрели на то, что они делают. Что же могло в будущем вырасти из этих детей, кроме тюремщиков — или рабов? Мне было жаль Вову, который с детства привыкал к виду упорядоченного государственного рабовладения. У него были прозрачные синие глаза, и он был отчаянный шалун. Но в 5 лет Вова уже ориентировался в том, что у этих сотен дядей нет и быть не могло семей, таких детей, как он сам, что они не имели права ходить, куда им хочется, и представляли собой нечто среднее между людьми и стадом коров, которых гонят по улице и запирают на ночь. Бояться их нечего: если

они посмеют обидеть его, Вову, то сейчас папа или дяденька с ружьем их отведет в карцер — вон в тот таинственный домик за лагерем, обведенный двойной изгородью и всегда наглухо-запертый.

Как часто, встречая детей с морковкой или куском хлеба в руке, голодные зэ-ка протягивали руку и просили «дать попробовать». Но дети не поддавались на эту удочку. Это были особенные дети. Никто их не учил подавать милостыню, и никогда я не видел, чтобы ребенок что-нибудь подал заключенному. Правда и то, что они не оставляли ничего недоеденного. Когда какой-нибудь лохматый оборванец, подняв голову от недопиленного бревна, смотрел на них тоскливыми глазами, нельзя было понять, к чему относится его тоска: к ребенку или морковке, которую тот держал в кулачишке. А семилетний бутуз, заметив этот упорный взгляд, кричал ему издалека: «Ну ты, работай! а то я стрелку скажу!».

Между Лабановым, Ваней и Вовой была прямая связь. Из этих ребятишек вырастали впоследствии Вани, а из Ваней — Лабановы. Немного надо было, чтобы они сами попали в лагерь. Вплоть до 1945 года мне не приходилось встречаться с детьми в лагерях, но на 5-ом году своего заключения, в Котласском пересыльном пункте, я наткнулся на детскую бригаду. Поблизости, вероятно, была какая-то «трудколония», куда их направляли. Дети от 10 до 15 лет жили в особом помещении. У них был свой «воспитатель», старый западник зэ-ка, по фамилии Пик, еврей, до войны бывший торговым служащим где-то в Литве или Латвии. Дети, как взрослые, выходили ежедневно на работу, таскали доски или копали рвы. Пик с разрешения местной КВЧ пригласил меня читать им ежедневно после ужина часок. За это он давал мне мисочку каши. Ни за что на свете я бы не согласился вести с ними беседу, да этого и не позволили бы мне, но читать по книге рассказы для детей старшего возраста я согласился. Подходящую книгу я раздобыл по счастливому случаю, очень патриотическую. Несколько раз я приходил к ним. Это было в июне 1945 года. К тому време-

ни я порядочно высох, поседел, передвигался с трудом, и дети называли меня «дедом». Я был умудрен опытом и не навязывал молодым зэ-ка своего чтения. Это немедленно вызвало бы реакцию противоположного характера. Я садился в уголку и, выбрав себе одного-двух слушателей, начинал им читать негромко. Через короткое время подбирался кружок в 10-15 человек, и дети сами начинали шикать на тех, кто не слушал. «Тише, не мешайте». А рядом другие продолжали играть в самодельные карты, заниматься своими делами и разговаривать. Судьи, которые послали в лагеря с двух и трехлетними сроками этих малолетних преступников, должно быть не читали «Педагогической поэмы» Макаренко. И сам Макаренко, когда писал свою книгу, должно быть, не был в курсе того, что делается в лагерях, иначе у него пропала бы охота писать. Все эти дети и подростки сидели за мелкие кражи, за хулиганство и бродяжничество. Один из них получил два года за кражу кило картошки с индивидуального огорода. Котласский перпункт, где они находились, был кошмарным сборищем подонков, погибающих людей, женщин-мегер на последней ступени человеческого падения. Нет ничего страшнее и безобразнее женщины-доходяги, которая еще не превратилась в скелет, но уже не находит охотника на свое тело. Присутствие детей в этом месте было двойным преступлением. Какие судьи послали их сюда? Я расспросил 12-летних детей, которые рассказывали мне, что приговор вынесла им женщина. Но это уже не удивляло меня на 5-ом году заключения.

Вернемся в лагпункт над Онегой. Я все-таки не увернулся от карцера. Каждый лагерник хорошо помнит свою первую ночь в «куре». Моя первая ночь пришла после очень неудачного и трудного дня. Началось все очень хорошо: мы вышли на лесоповал в бодром настроении, снег сиял на солнце, было безветренное студеное утро. Мы наткнулись на замечательный участок. Но я сразу почувствовал, что тут что-то не ладно: лес был слишком хорош, — сосна к сосне. Такой лес был для рекордистов, а не для дохлых западников с тупы-

ми лучками. Мы развели костер, посидели и только спустили первую сосну, как прибежал с криком десятник: «Здесь нельзя рубить!». А сосна уже лежала, и над ней дико поругались десятник с бригадиром, а потом — бригадир с нашим звеньевым. С этой ссоры и началось. Бригадир в отместку послал звено на открытое поле, собирать раскиданные случайные стволы, откапывать их из-под снега, носить и складывать. Мы потеряли много времени, и до вечера мерзли в открытом поле без костра. Еле собрали на один воз. К вечеру был готов и второй, но бригадир не послал нам возчика, и дрова остались невывезенными. В таких случаях принято дописать «авансом» невывезенный воз. На этот раз бригадир не только не засчитал нам этого оставшегося воза, но и составил на нас акт: невыполнение 30% нормы.

Вечером мы еле дотащились до барака, голодные и продрогшие после целого дня блужданий в открытом поле. От носки заснеженных баланов все на нас было мокрое. Мы не успели обсушиться, не успели получить свой ужин, как всех четверых со звеньевым вызвали к начальнику.

За столом начальника сидело незнакомое лицо — гость из Отделения. Лабанов, сидя сбоку, коварно улыбался.

— Эт-та что такое? — строго обратился к нам приезжий начальник: — четыре здоровых мужика — вас кормят, одевают — а вы как работаете? Это чей акт?

— Акт наш, гражданин начальник. Дозвольте объяснить...

— Молчать! Никаких разговоров! Я вижу, что делается! Лодыри! В карцер немедленно! Лабанов! Распорядись!

Враг мой Лабанов распорядился с видимым удовольствием. Прямо из кабинета начальника — неевших весь день, в одежде, набухшей водой — отвели нас в избушку под забором. Повели и других, всего человек десять. Пропуская мимо себя в калитке изо-

лятора, комендант Панчук поднял фонарь и осветил мое лицо.

— И Монголин туда же, — сказал он с ироническим удивлением: — что же ты, Монголин, не постарался сегодня?

В предсеннике карцера нас обыскали, отобрали пояса, все, что было в карманах, а у меня, сверх того, еще сняли очки, без которых я слеп. Потом втолкнули меня в затхлую вонючую дыру.

В карцере было темно и холодно. Это была квадратная клетка с двойными нарами против двери. На голых досках лежало человеческое месиво. Я попробовал рукой — чьи-то ноги, скорчившиеся тела. Места не было. У двери стояла параша. На полу разлилась зловонная лужа. Лечь негде. Я стал в углу, прислонившись. Меня трясло и знобило. Стоял я долго... Вдруг за дверью послышался голос «завшизо»:

— Марголин!

— Здесь! — откликнулся я.

— Вам тут хлеба принесли из барака... будете брать?

— Давай! — сказал я и шагнул в темноте вперед. Над дверью было маленькое отверстие, через которое легко было просунуть пайку. Мои соседи по бригаде получили на меня хлеб, и кто-то занес его в карцер, зная, что я ничего не ел с утра.

В эту минуту я получил в темноте сильный удар кулаком в грудь. Кто-то толкнул меня в сторону и стал вместо меня при двери, не произнося ни слова.

— Фридман! — закричал я отчаянно. — Не надо хлеба! Отдайте обратно!

— Не хотите хлеба? — произнес с удивлением голос за дверью.

— Забирайте!

За дверью голоса замолкли, шаги удалились.

— Вот сволочь, жид проклятый! — просипел голос возле меня: — Отдал хлеб! Погоди, я тебя научу!

— Дай ему, дай! — отозвался с нар бас. — Это ж секретарь. Он сидит в конторе и акты на нас пишет!

Отвяжись, — сказал я тихо: — не я пишу, а на меня пишут.

Вот чем противное чувство человека перед избиением: не страх физической боли, а унизительное ощущение бессилия, полной обреченности — в яме, во мраке, на дне — бессмысленный животный ужас перед чужой ненавистью и перед своей потерянностью.

Я крикнул сдавленным голосом, позвал товарищей из своего звена. Они были так близко, — но никто не шевелился, не отозвался.

Какое счастье — бороться, противостоять, кататься в свалке тел! Но мои изуродованные артритом пальцы в эту зиму перестали сгибаться, и я не мог их сжать в кулак! Я поднял эти несчастные бесполезные обрубки и дико закричал в темноту, точно я был один во всем мире.

Я закричал так страшно, что этот крик услышали во всем лагере.

Я упал на пол у параши, и кто-то, кого я не видел, нашел мою голову и стал бить в нее ногой, обутой в форменный лагерный опорок.

Этот мой крик был не от боли и не от страха. Он давно перестал бить и отошел, а я все кричал. Это был припадок бессильного бешенства, как будто от этого крика могли обрушиться стены карцера, стены тюрем, фундаменты всех тюрем мира! — Люди! Люди! Люди! Почему так должно быть!..

Потом я сел на пол у стены, но заснуть я не мог всю ночь. Холод сочился сквозь стены, веял из-под пола, леденящий холод, от которого тело начинает охватывать до костей, и от которого некуда спрятаться. Кто-то сидел рядом, может быть, это был мой враг, но теперь холод обнял нас и прижал друг к другу. Замерзая, мы грели друг друга, сидя в рукавицах и завязанных под подбородком шапках, поджав ноги, чтобы было теплее, и старались согреть руки то в карманах бушлата, то под мышками.

Наконец, нам стало все равно, и мы просто сидели, а когда рассвело, я увидел, что рядом со мной сидел какой-то старик, с красным морщинистым ли-

цом, и все шептал, шептал и качал головой, точно от этого было легче. Я хотел есть. Потом я хотел поскорее быть в лесу, у большого костра.

Когда ударил подъем, люди в карцере заворочались. Урки встали и начали деловито и спокойно ломать нары, на которых лежали всю ночь. Они выламывали доски с сосредоточенным видом людей, делающих понятное и нужное дело. В десять минут карцер был разгромлен, сложили вырванные доски и взялись поджигать их. Но этого не успели сделать, хотя клочья ваты, вырванной из бушлатов, уже начинали тлеть. Отворились двери, «завшизо» и комендант с криком погнали всех вон. В свалке растащили пояса и вещи, сложенные кучей на полу. Я нашел свои очки, это было главное. Я схватил первый поясок, какой попался, и побежал в барак.

Мой хлеб был цел! — Но я твердо решил не возвращаться в ту бригаду, где бригадир составил на меня «акт», и люди моего звена равнодушно смотрели, как меня били. Я не мог с ними больше ни жить, ни работать. В то утро я вышел на работу с бригадой железнодорожников Гарденберга.

9. БРИГАДА ГАРДЕНБЕРГА

1 января 1941 года на 48-ом квадрате была проведена «инвентаризация».

Это важное событие происходит в лагере раз в год и всегда приурочивается к нерабочему дню. Таким образом, государство ничего не теряет, но заключенные лишаются дня отдыха. Инвентаризация требует максимального напряжения сил всех обитателей лагеря без исключения, — зэ-ка, администрации и охраны.

Первый день Нового Года в лагере начался с раннего утра тревогой: «выходить из бараков!» — Мы начали укладываться, как в отъезд. Нас предупредили, что в бараках не должно оставаться никаких вещей. Исключение было сделано только для амбулатории и стационара, где проверка производилась на месте. Барак за бараком пустел. Люди выходили со

своими пожитками, навьюченные, таща мешки, сундучки, чемоданы, с котелком у пояса и миской за пазухой. Стрелки и нарядчики торопили их, погоняли отставших, бригадиры на улице строили своих людей. Шум и крик стоял над лагерем. Наконец, все двинулись к вахте, и совершился великий исход тысячи зэка за ворота в открытое поле.

Когда лагерь опустел, по баракам прошли с тщательным обыском люди коменданта и конторы. Не оставили ничего, вымели начисто, подобрали все брошенное, спрятанное в тайниках, под полом, во всех местах, где лагерники умудряются прятать излишки вещей и всякую контрабанду.

Мы тем временем стояли в открытом поле тысячной толпой, как фантастический обоз. Метелица мела над нами и между нами, в снежном мареве чернели окоченевшие фигуры. Люди прятались за спины товарищей, на краю дороги садились терпеливо на поклажу, пока снег засыпал их бушлаты, плечи и головы.

Поставили столы перед вахтой и стали выкликать бригаду за бригадой. Таков был испытанный лагерный способ, чтобы проверить на людях наличие казенного имущества, согласно арматурным книжкам. Каждого вызывали к столу, как на экзамен. Каждый показывал все, что у него есть — включая белье на теле. Затем стрелок ВОХР'а тут же в снегу перерывал содержимое мешка или сундука, перетряхивал весь хлам до дна, и каждая обнаруженная нелегальная казенная вещь немедленно отбиралась.

Тут и выяснялось — кто продал с себя за кусок хлеба казенную рубашку, а у кого их две, кто носит две пары ватных брюк или ворованную обувь — все злоупотребления, махинации и кражи — в особенности кражи, за целый год. Все неположенное и лишнее без дальних слов конфисковывалось, и при этой оказии проверялось публично до последней мелочи все имущество заключенного: каждый упрятанный клочок бумажки, каждая вещь из дому, фотография или памятка.

Часы проходили. Обыск тянулся невыносимо долго. Люди топтались в снегу, кто послабсе — впал в апатию и не шевелился на своем сундучке. Было 3 часа дня, когда дошла до нас очередь. А за нами еще стояла толпа. В первую очередь пропускали женщин, инвалидов и те отборные лагерные бригады, которые надо было уважить. Просмотренных еще не впускали в лагерь, а перегоняли на другую сторону дороги и кордоном стрелков отделяли от еще ожидавших очереди. Скоро вьюга улеглась. В сугробах только чернел лагерный частокол, и над ним надписи, которые мы знали на память: «не кури на производстве» и «беспощадная борьба бракоделам и вредителям».

Короткий зимний день, наконец, прошел. Были уже сумерки, когда мы ввалились голодной озябшей толпой в ворота лагеря. В бараках погром: нетоплено, доски вынуты из нар, и надо было браться за работу приведения жилья в нормальный вид. Дневальные раскалывали дрова, искали огня на растопку, работяги наново прибивали сорванные полки над нарами, раскладывали одеяла. Кухня весь день не работала, там только начинали варить. Поздно вечером в темноте с ругательствами толпились под окошками кухни, получали ужин до 11 часов вечера. Урки выхватывали из рук миски, пользуясь давкой и темнотой. Так прошел наш «нерабочий» день. Новый Год начинался не очень празднично. Впрочем, какие праздники у зэ-ка?

В нашем бараке еще торчали кое-где над изголовьем нар, где помещались поляки, зеленые елочки — «хойнки». Это польские зэ-ка устроили себе Рождество. В моей новой бригаде Гарденберга было много поляков.

Инженер Карпович из Варшавы, с худым и приветливым лицом, был моим другом. Мы обменялись с ним адресами. Я дал ему свой — тель-авивский, а он мне — адрес своей жены в Варшаве: Улица Фрета № 1. Мы условились: кто из нас переживет лагерь и вернется домой, разыщет семью другого и передаст привет. Вернувшись в Варшаву, я вспомнил это свое обещание, но не мог его исполнить: в море развалин по-

военной Варшавы не оказалось ни улицы Фрета, ни дома № 1, ни жены покойного Карповича, который не пережил советского лагеря.

Старый железнодорожный рабочий Гах был моим «напарником» в бригаде Гарденберга. В ту зиму мы строили ветку узкоколейки, километров в 8 от лагеря. По сравнению с лесоповалом, где люди надрывались, это была легкая работа.

Мы выходили затемно. Уже совсем готовые, одетые и закутанные, еще сидели в бараке, оттягивая до последнего момента выход, пока не вбегал десятник: — Гарденберг, почему людей не выводишь? — или нарядчик с ироническим: — Что, приглашения ждете? — Пройдя вахту, сразу окунались в стужу, в ледяной простор, и начинали день двухчасовым маршем на место работы. — «Бригада, внимание!» Выйдя на полотно жел. дороги, мы вытягивались в цепочку и шли по шпалам. За нами, пред нами и по боковым тропинкам шли другие бригады, расползаясь червяками вправо и влево. Ночное движение бригад, в абсолютном молчании, представляло собой зловещее зрелище, страшное своей необычностью и напряжением. Каждая бригада была как сжатая пружина, которой весь день предстояло разворачиваться, чтобы вечером быть приволоченной к исходному пункту стрелком, как неподвижное, утратившее эластичность и бесполезное тело. Мы шли вперед и скоро втягивались в глубокое и узкое мрачное ущелье. С двух сторон нависали отвесные стены высокого леса, в снегу, в ночном тумане и лунном сиянии. Ночное шествие гипнотизировало нас. Мы шли медленно, как процессия призраков, покачиваясь грузной поступью со шпалы на шпалу. Каждый был полон своих мыслей, своих телесных ощущений, собирал силу, проверял ноги, руки, сердце, мускулы. Вдруг сзади нагонял нас паровоз, и мы сходили в снег, пережидали, стоя по колена в сугробе. Мы не разговаривали. Нижняя часть лица была у нас закрыта, усы и брови в снежном инее. Впереди шли бригадир и десятник. Сзади стрелок подгонял отстающих. Кашевар Пантель нес

котел. Мы уходили слишком далеко, чтобы в течение дня могли нам подвезти стахановскую кашу, и нам ее выдавали вместе с котлом. Это оказывалось очень выгодно: на кухне, «по блату», выдавали нам столько каши, что хватало сварить на всю бригаду.

Придя на место, садились отдыхать. Разводили костер стрелку — в стороне, — другой кашевару, который немедленно приступал к священнодействию: развешивал над огнем котел на двух палках и кипятил воду. Пантель был маленький, круглый как шар, человечек с большим еврейским носом — левый поалей-сионист из Млавы. Он был заряжен энергией и волей к жизни, полон сознания важности своего дела. Бригадир наш был очень молодой юрист — «аппликант» из Варшавы. Десятник и протектор бригады Новак был бывшим советским прокурором, по случайному поводу получившим 3 года (он неосторожно помог составить заявление человеку, с которым советскому прокурору не следовало быть знакомым). Новак был первый из советских людей в лагере, кто по-человечески отнесся к западникам и пробовал им помочь и сблизиться с ними. Новак о нас заботился, поддерживал в бригаде «дух», щедро дописывал нам лишние проценты за работу и добывал нам лишнюю кашу на кухне. По внешности это был плечистый, с открытым и наивным лицом, украинец. Придя на место, он и Гарденберг уходили в кусты и раскапывали спрятанный под снегом инструмент бригады: ломы и кирки, «лапы» и ящики с железом. Все это было слишком тяжело, чтобы мы могли ежедневно таскать этот груз в лагерь и обратно. Начиналась работа.

Старый, сморщенный Гах, единственный в бригаде «настоящий» железнодорожник из-под Катовиц, скреплял рельсы в стыке с обеих сторон. Я нес за ним ящик с гайками и продолговатыми прокладками. Гах прилаживал прокладки и шел дальше, а я приставлял гайки и завинчивал их гаечным ключом. На этой простой работе я делал, или вернее, Новак мне доделывал от 50 до 70% нормы, так что «заработок» мой составлял «первый котел» и от 500 до 700 грамм хлеба.

Этого мне хватало, пока посылки из Пинска давали мне отсутствующие жиры и сахар. Таким образом, я был в состоянии проходить ежедневно по 16 клм и еще работать часов 6 на месте.

Мы не много работали. Одно хождение занимало часа четыре в день. Мы приступали к работе часов в 10, а в 4 уже строились на дороге, чтобы поспеть во время на вахту. В промежутке был получасовый перерыв на «полдник». Тогда бригада рассаживалась торжественно вокруг котла, и Пантель с сияющим и красным от мороза лицом разливал по кружкам и жестянкам свою кашу. Медленно ели ее, а потом еще запивали кипятком и культурно беседовали, грея над огнем руки и ноги, пока Гарденберг не приходил с покорнейшей просьбой не подавать дурного примера и подыматься к работе. То, что мы строили железную дорогу, было сущим чудом: похоже было, что дорога сама собой строилась. Все-таки мы вывели за зиму 1½ километра, хотя качество нашей работы было более, чем сомнительно, и вся ветка оказалась, в конце концов, ненужной.

Работа начиналась с нивеллирования трассы и изготовления насыпи, на которую потом укладывали шпалы и рельсы. После того, как мы с Гахом завинтили, отвинтили и перевинтили все гайки на уложенном пути, пришлось мне взяться за вагонетку. Работали мы вчетвером, с инж. Карповичем, с артистом варшавского «Театра Молодых» Воловчиком и с Гринфельдом, чешским подданным и беженцем из Брно. В карьере долбили кирками и ломами землю. Когда ломы не брали промерзлой земли, разводили на ней костер, чтоб она оттаяла. Комья земли грузили на вагонетки, и я с Воловчиком, грудью нажав, везли по рельсам вагонетку на самый конец стройки, где опрокидывали ее, разравнивали землю и, отдохнув минутку, пускались резвой рысью с пустой вагонеткой в карьер, где снова ее нагружали. То и дело вагонетка соскакивала с рельс. Мы все собирались ее устанавливать, подставляли плечи и дрыны, напруживались, пока Новак дирижировал:

— Раз-два — девки идут,
— Раз-два — песни поют.

и при слове «девки» и «песни» разом подымали вагонетку в воздух и опускали колесами на рельсы. Над нами сияло карельское небо безупречной синевой, розовая заря горела на востоке и отсвечивала на западе, леса кружевели и голоса разносились далеко. — «Которая вагонетка?» спрашивал Новак. И мы ему врали в меру, а иногда без меры. Вагонеток 15 успевали мы свезти за день на двоих, но за такую работу следовал вечером только карцер. Бригада делала фактически процентов 800, вечером Новак «округлял» их до 2-2½ тысяч, а нас было около 30 человек!

Нашу бригаду скоро расформировали, когда выяснилось, что она не вырабатывает того, что съедает. Но я не дождался конца идиллии в бригаде Гарденберга. Уполномоченный Степанов, узнав, что я работаю с железнодорожниками, распорядился снять меня с этой работы. Оказалось, что таким опасным людям, как я, нельзя доверять завинчивать гайки. И я снова вернулся в лес, и стал там ходить с лучком, заготовляя метровые дрова. Это была работа по подборке остатков на участках, где главная порубка была уже сделана другими бригадами.

Снова сцена изменилась. На этот раз я работал один. Сделав ³/₄ фестметра, т. е. 30% нормы, я был доволен. Весь день я был в движении. Мне надо было сложить 40-50 чурок, каждую принести на плече, проваливаясь в снегу. Но готовых чурок не было. Надо было их нарезать из деревьев, которые росли кругом, или из брошенных баланов, невывезенных с лета и похороненных в снегу.

В то время я уже начал волочить ноги и испытывать то особое ощущение слабости и тяжести во всем теле, с которого начинается физическая катастрофа. Я тяжело ненавидел лес: это было орудие убийства, место казни заключенных. Я знал на глаз, сколько чурок можно нарезать из каждого дерева, и сколько соток в осине диаметра 28 сантиметров. Лес

для меня пропах потом и кровью. Я знал, что никогда больше не смогу смотреть на лес глазами дачника и поэта.

Придя в лес, я срубал две палки и вбивал их в землю: это был упор для штабеля, который я складывал. Между ними я клал на снег две другие палки, поперек которых укладывались чурки. Я узнал, что береза тяжела и трудно пилится, а лучше всего пилить трухлявую осину, через которую лучок идет, как через масло. И я научился складывать чурки так, чтобы было между ними много свободного места, и чтобы казалось больше на глаз.

Надо было следить зорко: зэ-ка воровали дерево, норовили унести незаметно чурку у соседа. Но мы знали каждую свою чурку так хорошо, как собственного ребенка, и умели отстоять свое добро. Постепенно это умение вырабатывалось в нас лагерем. Кто не умел реагировать энергично, становился жертвой лагерных волков и гиен. Человек, который на умеет драться в лагере — погибает. Я это знал, но все-таки не умел драться. Поэтому у меня не опасно было красть. В конце концов, у меня и в бараке растащили все, что я имел.

Но все-таки и я однажды поднял скандал.

Лагерная гиена привязалась ко мне, в образе человека со сросшимися черными бровями, цыганского типа, с бегающими глазами и мягким влажным ртом. В прежней жизни это был почтенный экспедитор из Люблина, владелец предприятия. Но в лагере он очень изменился — быть может, неожиданно для себя самого. Что мы о себе знаем — не прошедшие через испытание?

Он неотступно следил за мной, ходил за мной и пользовался всяким случаем, чтобы что-нибудь стянуть у меня.

Он понял, что со мной нет опасности — и даже, если поймаю его с поличным: что я ему сделаю?

Невероятные вещи он проделывал со мной: раз взял без спросу чужие ватные чулки, продал их мне за хлеб, немедленно затем украл эти чулки у меня и

вернул, где взял. Меня он не боялся, а первого владельца боялся. Я видел у него свои вещи — то поясок, то полотенце, то мыло — и молчал. Но, наконец, он стал подбираться к моему хлебу.

В одно утро я повесил бушлат на сучок у лесного костра и полчаса, не разгибая спины, пилил в стороне. Наступил полдень, я распрямился и пошел к бушлату. Там был в кармане ломоть хлеба — вся еда до вечера. Но хлеб исчез из кармана. На такие вещи я реагировал болезненно. Пропажа вещей или денег не переживается так глубоко, как исчезновение хлеба, о котором думаешь с утра. — Терпеливо ждешь полдня, еле-еле дотягиваешь до назначенной минуты, а когда протягиваешь руку — нет хлеба, украли! Холод проходит по сердцу. Слезы выступили у меня на глазах, как у ребенка, и я не находил слов. Сосед глазами показал мне на цыгана, который равнодушно сидел при костре. Он не только съел мой хлеб, но и презирал меня, насмешливо улыбался, глядя в сторону...

А через несколько дней дневальный Киве, оставшись после развода один в бараке с освобожденными, услышал с верхней нары, где было мое место, странные звуки. Что-то бренчало. Он заглянул наверх и увидел, что среди моих вещей, как хозяин, сидел люблинский цыган, разложив мои пожитки. Он достал ящичек, где я держал провизию, но все жестянки, которые он вынимал по одной, были пустые. Наконец, он нашел на дне кусочек колбасы — остаток посылки — и сунул в рот. — Увидев цыгана с колбасой во рту, Киве, хоть и старик, стащил его за ногу с нар и накостылял ему шею. Вечером, после рассказа Киве, я подошел к цыгану, спросил его: «Вкусна была колбаса?» — Но моя утонченная ирония не произвела на него никакого впечатления. Он угрюмо лежал на своем месте, и даже лица не повернул в мою сторону.

Что делать? Непротивление злу всегда мне было противно. Но методы непротивления были у меня интеллигентские: я вынул чернильницу, перо и написал с цицероновским красноречием просьбу коменданту

лагеря убрать из барака этого человека, который... Под этим заявлением подписались бригадир, дневальный и 14 человек идеалистов.

Тут мой мучитель встревожился, т. к. не знал, какие последствия может иметь столь необычный протест. На следующее утро, при выходе на работу, он подошел ко мне и предложил мир: я не буду подавать заявления, а он оставит меня в покое и отныне даже близко подходить не будет к месту, где я нахожусь.

Услышав из уст люблинского экспедитора такие смиренные речи, я торжествовал победу и прогнал его ко всем чертям, даже не дослушав.

Бумажка осталась у меня в кармане: зачем же губить человека, который так извиняется? Целую неделю он вел себя образцово. Вдруг в один вечер, поздно, когда я вернулся из амбулатории, мне сообщили, что он опять подходил и рылся в моих вещах: при всех, открыто и нагло, пока его не прогнали.

Я принял немедленно решение... и лег спать. Я был в бешенстве на самого себя. Даже сейчас, когда этот человек делал из меня посмешище барака, я не находил в себе никакой злобы против него. Той слепой и нерассуждающей злобы, с какой огрызается зверь, когда отнимают у него кость, или зэ-ка, когда отнимают у него пайку — его кровь и жизнь. За пайку убивают в лагере, подымают с земли доску и бьют по голове. А я свое решение принял холодно, рассудочно. Я не умел ненавидеть этого подлеца — я даже сейчас отложил на утро необходимую расправу, почему? Потому что люди спали кругом, и он сам спал, и нельзя было будить его, нарушить сон.

На следующее утро я встал, как человек, которому предстоит окунуться в ледяную воду. Скверно было на душе, но я должен был выполнить то, что было необходимостью. Я подошел к человеку с черными сросшимися бровями. Он лежал внизу, у окна с правой стороны. Лежал на куче тряпья и смотрел на меня ничего не выражающим взглядом, как на муху на стене. Я подошел как во сне, спросил:

— Ты вчера ко мне лазил?

И, не дожидаясь ответа, ударил его кулаком в висок. В первый раз в жизни, если не считать мальчишеских драк, я ударил человека. В первый — и если судьба спасет меня от возвращения в места, подобные 48-му квадрату — в последний. Нельзя бить человека. Когда я ударил его, он ужаснулся. Он не думал, что я могу ударить его. Он был больше и сильнее меня, но теперь он растерялся, в глазах его был настоящий испуг, — а у меня после первого удара — прорвало плотину. Меня понесло, точно какая-то черта была пройдена, и я ощутил всем существом — силу, охоту, право и неожиданную легкость, с какой можно бить. Я навалился на него и осыпал его градом ударов. Он закрыл лицо руками, повернулся боком и, если бы меня не стащили с него, я бы его избил до увечья, до потери сознания. Шум поднялся в бараке. Когда я вернулся на свое место, соседи стали поздравлять меня. Весь день я как именинник принимал поздравления от людей, которые подходили ко мне со смеющимся лицом, и говорили:

— Неужели это правда? Наконец, вы это сделали! Вот молодец! Ну, теперь он вас оставит в покое! Но как же вы решились? Правду сказать, мы вас не считали способным на такое геройство.

Но мне не было весело, и я был полон стыда, унижения и горя. В этот день я прошел еще один этап расчеловечения. Я сделал то, что было противно моей сущности. Среди переживаний, которых я никогда не прощу лагерю и мрачным его создателям — на всю жизнь останется в памяти моей этот удар в лицо — который на одну короткую минуту сделал из меня их сообщника, **их** последователя и ученика.

10. ВЕЧЕР В БАРАКЕ

В бараке людно и тесно, нары забиты сидящими и лежащими, воздух тяжел, не прекращается жужжание и шум разговоров. Но вдруг наступает тишина, и все головы поворачиваются к вошедшему: письма!

Человек из КВЧ подходит к столу, в руках у него пачка, и сразу окружает его толпа, кто-то засматривает через плечо, лежащие садятся на верхних нарах и, обняв колени, смотрят вниз.

Человек из КВЧ читает по порядку все фамилии адресатов. Все слушают с величайшим вниманием.

— Одынец! Ленга! Прайс!

— Есть Прайс!

— Виленский! Эйгер! Косярский!

— Косярского выслали на 5-ый лагпункт! — откликаются с нар. — А Эйгер больной — в стационаре.

Человек из КВЧ делает пометку и читает дальше:

— Марголин! Тимберг! Опять Марголин! Винер!

— Тимберг умер! Винер умер!

Кончив чтение и отдав несколько писем, человек из КВЧ с пачкой писем переходит в следующий барак и начинает сначала: «Одынец! Ленга! — пока не останутся письма к никому неизвестным адресатам, которых давно — быть может, годы — нет уже на лагпункте или нет в живых.

Письма в лагерь легко узнаются по их адресу: не указано ни улицы, ни № дома, но зато есть номер почтового ящика:

«Станция Пяльма, п/я 233/2, такому-то».

Первая цифра «233» — это шифр лагеря, подцифра «2» — номер лагпункта. Таким образом, лагерь никогда не называется по имени. В этой маскировке есть система. Точно также газетки-бюллетени, издающиеся в некоторых лагерных центрах для з/к, с пометкой «только для внутреннего распространения», составляются так, что не упоминается, для кого они пишутся, и такие неделикатные слова, как «лагерь», «заключенные», «принудительный труд», «карцер» никогда не встречаются в тексте. Все выглядит, как будто ничего нет, — как в комнате, где весь мусор замели под кровать, чтобы не было видно.

Чтобы ответить, лагерник должен прежде всего раздобыть листок чистой бумаги. Это не так просто. В лагерях нет писчебумажных магазинов. Написав, он складывает из него треугольник и на другой стороне

пишет адрес. Марок не надо — заплатит адресат. На письме должны быть указаны т. наз. «установочные данные». Это требуется для внутренней цензуры. Мои установочные данные выглядели так:

«СОЭ, ср. 5 лет, дата осв. 20/6 45»

Такую надпись делают карандашиком в углу конверта — и по этой надписи, нестертой цензурой, моя мать впервые узнала, что со мной стало после ареста. Впрочем, на 5-ом году моего заключения, в Котласе, принимались письма и без «установочных данных». Там зато велась в КВЧ картотека пишущих, и отмечалось каждое отправленное письмо. «Каторжникам» позволялось писать раз в три месяца, остальным — раз в месяц, а в некоторых случаях зэ-ка́ могли быть лишены права переписки. На каждой странице полученного письма стоит штемпель лагерной цензуры. В годы войны к ней еще присоединялась общая военная цензура.

Пиисьмо опускается в ящичек на лагпункте и при оказии посылается в отделение. С письмами зэ-ка́ не очень церемонятся. Бывает, что в поисках бумаги для курения, лагерные урки взламывают ящики и расхищают письма.

За 5 лет моего пребывания в лагерях туда не пришло ни одно письмо из-за границы. Мой адрес в ББК в первом году заключения был известен моей семье в Палестине. Этот адрес сообщила в Тель-Авив моя мать из Пинска. Множество писем было выслано на мой адрес из Палестины, но ни одно из них не было мне передано. Точно так же не были переданы на почту письма, которые я из лагеря послал домой. Зэ-ка́ имеют полное право писать заграницу. Это право за ними не оспаривается. Письма их попадают в 3-ью часть, как «материал», но лагерные власти не считают себя обязанными передавать их по назначению.

Причина, по которой письма зэ-ка́ не могут попасть заграницу, заключается еще и в том, что самодельные треугольнички, употребляемые по всей России, не допускаются к отправке за пределы Сов. Союза. Для этого они недостаточно «репрезентативны».

Но мы, сидя в лагере, этого не знали, и мы также не знали, что письма заграницу не опускаются в ящик, а передаются на почте из рук в руки. Этого условия, находясь в лагере, мы выполнить не могли. Наша корреспонденция принималась и отправлялась нашими тюремщиками.

В ту зиму я не страдал от недостатка писем. Прибыв на место, я сообщил моей старой матери мой лагерный адрес и просил писать мне раз в пять дней. «Не смущайтесь, если Вам не о чем будет писать, — писал я ей, — ведь дело не в содержании, а просто в привете, в клочке бумаги из дому». Моя мать сделала больше, чем я просил, писала раз в три дня и всегда находила о чем писать. Благодаря ее письмам и открыткам, написанным знакомым крупным почерком, я сохранил в ту зиму связь с внешним миром, и даже со своей семьей в Палестине. Жена моя писала в Пинск, моей матери, а мать служила передаточным звеном между нами. До лета 1941 года мы знали друг о друге, потом связь прервалась на долгие годы. По воле и по закону захватившего меня государства я не мог дать знать о себе домой и был заживо погребен в лагере.

Мать, не понимая, что в глазах советской власти я преступник, отбывающий наказание — прислала мне в лагерь визу британского посольства в Москве на въезд в Палестину. Эта виза не только была бесполезна — она превратилась в улику против меня, в отягчающее вину обстоятельство. Мне передали сопроводительное письмо матери и на полях его сделали отметку: «Документ изъят и приобщен к актам». — Год спустя, уже далеко от Карелии я разговаривал с уполномоченным 3-ей части, и он сказал мне: «Мы знаем, вы состоите в переписке с иностранным консульством и даже получаете оттуда документы». В его глазах это была вина. За «контакт с иностранным консульством» советских подданных хоронят в лагерях на 10 лет.

Письма матери были полны заботы, любви и наивного непонимания моего положения. — «Где ты работаешь? — писала она — и какая у тебя комната?».

Когда я сообщил ей, что крысы прогрызли насквозь чемодан, где я держал сало из посылки, я получил в ответ не только известие, что высылается новый чемодан, но и добрый совет не прятать сала в чемодан, а повесить его под потолком. Трудно мне было объяснить старушке-матери, что в моих квартирных условиях не только вешать сало в бараке, но и есть его открыто в присутствии посторонних было невозможно. Счастливец, получивший посылку, прятал ее — угощал кое-чем ближайших друзей, соседей, — а остальное ел незаметно, чтобы не бросаться в глаза и не возбуждать ничьей зависти. Мы ели крадучись, отвернувшись к стене, как преступники.

Конечно, не сразу мы начали так поступать. Для этого нужен был лагерный опыт. Сосед, которого не угощаешь из посылки, становится врагом. А соседей много — в бараках по сто человек живет вместе. В тот момент, когда зэ-ка́ вытаскивает свое добро, отрезывает кусочек — люди кругом, десятки людей, иногда годами не видевшие таких вещей, вдруг становятся серьезны, прерывают разговор, воцаряется молчание, — и надо быть уж очень старым, одичавшим зэ-ка́, чтобы не поперхнуться, когда все глаза смотрят в твою сторону, и не почувствовать слюну в чужом рту, обиду и горе обделенных. Слабохарактерные не выдерживают, подходят попросить. Им отвечают грубо, со вскипающей яростью гонят их прочь, как собак. Другие не просят, но зорко следят, куда прячут остаток. А третьи, которые делают вид, что их не касается чужое добро, мрачнеют, приходят в дурное настроение и отворачиваются не только от вида сала, но и от того, кто его так противно смакует, действуя им на нервы.

Дни, когда раздавались посылки, были полны на 48 квадрате электрического напряжения. Уже за день или два было известно, что прибыли посылки. Бывало их 40-50 на тысячу заключенных, а иногда только 8 или 10. Приходили они нерегулярно — иногда с промежутком в неделю, иногда с интервалом в 2 месяца. Посылки из Западной Украины и Белоруси, с их са-

лом в ладонь толщиной, с их белым рафинадом, медом и отличной гродненской махоркой — были сенсацией для наших русских товарищей. Им присылали ржаные сухари, сушеную картошку и бесформенные обломки сахару. Из содержания этих посылок говорила колхозная нищета. Посылки доставлялись в продкаптерку, составлялся список счастливцев, и вечером, после работы, их вызывали «с мешком».

В бараке АТП была «комната бригадиров», где вечером составлялись «рабочие сведения». Туда мы переносили посылки из каптерки — для раздачи. К переноске допускались не все, а только самые солидные и заслуживающие доверия из получателей. С драгоценными пачками, зашитыми в рогожку и полотно, брели торжественной процессией в снегу. Пачки складывались в угол, под охраной стрелков. Начальник лагпункта, дежурный ВОХР'а, нарядчики, комендант — все за столом. А с другой стороны стола: толпа заключенных, не только получающие, но и зрители, урки, бандиты и просто любопытные. Тут и Ваня — смотрит круглыми изумленными глазами на богатства западников. Вызванный зэ-ка́ должен ответить на вопрос: «От кого ждет посылки». Это для верности, чтобы не было ошибки. Вскрывают фанерный ящичек, и дежурный или нарядчик по одной извлекает жестянки, банки, кульки. Все тщательно проверяется. Запаянные банки вскрываются, масло проверяют спицей — нет ли чего внутри. Алкоголь, режущие предметы (бритвы, ножики), химические карандаши — конфискуются. Лекарства отдаются на проверку в Санчасть. Счастливый получатель — в экстазе. Папиросы и конфеты он предлагает начальству. Начальник лагпункта отказывается: ему не подобает, а другие без церемонии угощаются, в особенности Ваня, большой любитель конфет.

Ящик опорожнен. Зэ-ка́ торопливо сгребает в мешок, что получил, и выходит. Кое-что он взял себе в карман, а остальное несет под покровом ночной темноты не к себе, а в чужой барак, к приятелю, у которого никто не будет подозревать укрытого сокрови-

ща. Это — необходимая предосторожность. Иначе он рискует, что у него стащат посылку в тот же вечер, а иногда в первые полчаса, когда он еще ходит в счастливом тумане.

В тот вечер совершаются в бараках трансакции, покупки, обмены, — люди, которые утром смотрели голодными глазами в чужую миску, теперь богачи, угощают бригадира и сияют от счастья. Принимают поздравления: — «С посылочкой вас!» — на это принято сделать кислое лицо и ответить: — «слабая посылка... немножко крупы и этого»... а чего «этого» получивший не договаривает, чтобы не дразнить ближних своих и не вводить их в искушение.

Значение посылок заключалось не только в питательной ценности. Это были не просто продукты и вещи! Это был — иногда за тысячи километров дошедший — привет из дому, знак любви и свидетельство верности. Каждая заботливо упакованная, завязанная, завернутая вещь излучала тепло и ласку. Мы снова чувствовали себя людьми и находили в себе новые силы сопротивления. В одной посылке я нашел старую жестяную коробку из-под чая «Англас», которая 20 лет стояла на полке в кухне моей матери. Я обрадовался при виде этой красной лакированной коробки с гейшами и корабликом, точно это был лучший друг. Эмалированная синяя кружка с ручкой! Носки с монограммой!! В какой оранжерейной атмосфере тепла и любви мы прожили всю свою жизнь, пока случай не бросил нас во власть людей, для которых наша жизнь не представляла никакой ценности. Да был ли это случай? Или, наоборот — лагеря были настоящей школой человеческих нравов, а климат, в котором мы жили до того, — исключением?

В ту зиму я почти не питался из казенного котла. Отвратительный гнилой запах «рыбного супа» отравлял воздух в бараках. Потом мы стали получать «капустник» — кислую воду, где плавали черные листки прошлогодней капусты. Нас кормили соевой кашей, из очистков сои, которая не проходила в мое горло. Зажав в кулак кусок соленой трески, мы шли в барак,

где стол был завален рыбьими костями. «Доходяги» перебирали их и обгладывали кости, уже побывавшие в чужом рту. Случалось, когда кончали раздачу лагерного «супа», называемого «баландой», что на дне котла оказывалась утонувшая крыса. Но лагерники не были брезгливы.

Настоящее отчаяние охватывало нас, когда, пройдя вахту, разбитые 12-часовым рабочим днем и маршем, падая от изнеможения, голодные и измученные, мы слышали слово «баня». Пропал вечер, не будет отдыха! Исполнение банной повинности было пыткой на 48-ом квадрате. Сию минуту в баню! До возвращения из бани не дадут ужина. В бараке — штурм. Измученные зэ-ка́ не идут добровольно. Завбаней лично проверяет нары, силой стаскивает лежащих, либо в баню, либо в карцер! И все-таки никогда не удается помыть всю бригаду: всегда кто-нибудь спрячется.

На баню уходит часа два. Надо быстро выгрузить из карманов все мелочи, талон на ужин, карандаш, ножик — спрятать где-нибудь до возвращения — потом у двери в баню ждать на дворе, пока соберется вся партия — человек 30 — и пока выйдут из предбанника люди предыдущей партии и впустят нас в комнату, залитую жидкой грязью и тускло освещенную керосиновой лампочкой. Когда приносят кольца, начинается сложная операция нанизывания на кольцо всего невообразимого тряпья, которое зэ-ка́ носит на себе зимой. Если колец нет, надо сделать узел из всех вещей и завязать кальсонами, свитыми в жгут.

Работник дезокамеры нагружается кольцами и в несколько приемов перетаскивает наши вещи в «вошебойку», где их прожаривают. Тем временем, человек 30 сидят и стоят нагишом, ожидая, чтоб их впустили мыться. Они дрожат от холода, каждую минуту открываются двери на мороз, входят опоздавшие, и среди голых тел продираются одетые, в мокрых бушлатах. В противоположном конце ломятся в запертую дверь бани, а посреди исполняют хором известную солдатскую песню «Катерина»... В предбаннике находятся дезинфектор (мы уже его знаем, это наш ма-

ленький Бурко, пинский фармацевт) и цырюльник. Производится обязательное бритье подмышек и лобков. Из общей гнусно-омерзительной желто-грязной мыльницы общей кистью каждый сам себя намыливает, а потом подвергается китайской пытке соскребывания тупой бритвой. Парикмахер — зэ-ка́ нетерпелив и груб. Бритву он обтирает о плечо или колено заключенного и, кончив, отталкивает его в сторону.

Наконец, пускают в баню. Входим, каждый держа в руках свою обувь, которую не берут в вошебойку, а оставить ее в предбаннике опасно. Ноги скользят на полу, залитом мыльной водой (в ту зиму у нас еще было мыло) — в пару мечутся нагие спины, торсы, ноги, под краном деревянного чана стоит очередь с шайками. Банщик в подвернутых штанах наливает каждому его меру. Раз окатившись горячей водой, зэ-ка́ приступают к стирке. Баня — важная оказия постирать рубаху, онучи, полотенце. Времени терять нельзя. Стирают прилежно, дружным рядом над скамьей, где стоят шайки. А кто не стирает, спешит занять место у печки и сушится, ожидая сигнала выходить.

В момент, когда люди выходят в холодный предбанник, никого из чужих не должно там быть. Чужие — воры. Правда, и свои — воры, но своих знаешь, и следишь, за кем надо. Критический момент наступает, когда распахивается наружная дверь, и со двора с морозом и ветром вваливается человек из дэзокамеры с вещами. Дверь за ним остается открытой, пока не подскочит кто-нибудь из голых закрыть ее. Тут надо держать ухо востро. Вещи всей партии сваливаются в кучу прямо на пол, начинается давка и свалка. Надо в скудном керосиновом свете отыскать свое в этой куче дымящегося от прожарки тряпья, где все перемешалось, оборвалось с колец, распалось и перепуталось. Люди мешают друг другу, в десятый раз перерывают, разбрасывают чужое, подымают крик: «бушлат пропал! рубахи нет!» — и банщики идут еще раз посмотреть, не осталось ли в дезокамере, и не обронили ли чего по дороге.

После каждой бани непременно есть пострадавшие и такие, которым не в чем идти в барак: все украли.

Полагается после бани новое белье. Это значит — новая очередь, но по большей части белья нет, и зэ-ка́, одев на голое тело горячий бушлат, несет досушивать в барак, что выстирал. Бредут в кромешной темноте и глубокой грязи, гнилые ступеньки проваливаются под ногой, и пройдя по колено в грязи болото вокруг бани, зэ-ка́ возвращается в барак иногда грязнее, чем вышел.

Процедура эта нелегка для свежего и отдохнувшего человека, а для заключенных, весь день проработавших в лесу, голодных и едва дошедших до вахты после дороги в несколько километров — это новое мучение.

Теперь только наступает очередь за едой, за «рыбным супом», за талоном и хлебом.

Поев, мы засыпаем немедленно. Хорошо лежать, вытянувшись на верхней наре, в сплошном ряду тел. Под тобой бушлат, а скатанные ватные брюки и все прочее положено под голову. То, что отделяет тебя от остальных — твой дом и убежище — это одеяло — большое полушерстяное одеяло, привезенное из Пинска. Это одеяло — предмет зависти зэ-ка́ — конечно скоро будет украдено у тебя. Но пока можно завернуться в него с головой, и, засыпая под шум и говор толпы в бараке, чувствовать рядом с собой не чужих, а своих — таких же, как и ты, западников: Карповича, Гринфельда, Воловчика.

Скоро мы погружаемся в сон и спим мертвецки, спим как могут спать люди с чистой совестью после целого дня работы на морозе и двух часов «бани», которых ждет «подъем» до зари. Вдруг что-то подсказывает спящему, что он должен проснуться.

Он подымает голову. Глубокая ночь. В бараке тихие шопоты, та неуловимая тревога, которая без слов передает о близкой опасности. Враг близко! Сосед уже сидит. Лицо его спокойно, и одним движением губ, не поворачивая лица, он говорит:

— Обыск!

Ночной обыск в бараке! Этим нас не удивишь. Ночные обыски — обычное дело. Обязательно они происходят в лагере накануне праздников — в октябре и 1-го мая. Зачем это нужно — дело темное, но так уж заведено в лагере. Первый обыск застал меня врасплох в октябре 1940 года. Тогда я жил в бараке АТП и был единственным человеком, который пострадал от обыска: у меня вытащили из кармана брюк и отобрали мой замечательный «настоящий» перочинный ножик, еще из дому. С тех пор я привык к ночным налетам и дневным ревизиям, настоялся с растопыренными руками, пока чужие пальцы лазят под бушлат и вдоль ног, — насмотрелся, как переворачивают листы найденных на наре книг, или, подкравшись сзади, берут из руки недописанное письмо и читают то, что, все равно, пойдет в цензуру.

Первое, что я делаю: прячу ножик. Тихонько закладываю его в щель между двух досок нары. Денег у меня нет (сверх 50 рублей — забирают). Надо еще спрятать бумаги и письма. Беру сверточек из чемодана, и в последнюю минуту успеваю еще сунуть в ватные чулки, в которых сплю.

Обыск происходит либо таким образом, что всех сгоняют в средину барака и перерывают опустевшие нары, либо как сейчас:

Стрелок вскакивает на нару. (4 стрелка проверяют сразу сверху и снизу, с обеих сторон, пятый наблюдает в центре барака). Полулежа на наре, со свешенными ногами, стрелок командует:

— Вставать!

Я симулирую пробуждение и изумление. Я лежу в конце ряда, и стрелок уже устал. Ему надоело. Высыпав мой сундучек и перетряхнув одеяло, он торопится дальше: «Отдавай ножик!»

— Да нет у меня, гражданин начальник (у нас все стрелки — начальники).

— А эта миска — откуда?

Миска куплена у другого зэ-ка, но, понятно, она — кухонная, казенная. Миска летит вниз. Неприятно, когда отнимают книги. Раз отнятая книга (на просмотр)

редко возвращается владельцу и раскуривается на вахте. Но на этот раз им нужна посуда. Миски, жестянки, банки.

Несмотря на то, что обыск производится ночью, в соседних бараках уже известно, что у нас делается. Поэтому там уже ничего не найдут, и идти туда бесполезно. Повальный обыск всего лагеря сразу производится только раз в год, во время инвентаризации. Сил охраны хватает в нормальное время только на частичные обыски и ночные налеты, на обыскивание входящих и выходящих бригад, и на индивидуальные ревизии.

За годы каждый зэ-ка привыкает к унизительному полицейскому ритуалу поисков и осмотров, к недреманому оку и неусыпному наблюдению, к тому, что государство роется в его белье и в его мыслях, в его вещах и в его душе, как будто это выдвижной ящик стола, всегда открытый для полицейского контроля. Это — часть лагерного «перевоспитания». В лагере нет ни одиночества, ни возможности сохранить надолго секреты. И лучше для лагерника, что он живет в толпе — общая беда легче переносится. А что до скрывания секретов — будет ли это ножик или запрещенная мысль — то, конечно, нельзя их скрывать годами. Если бы стрелок захотел потратить время — он нашел бы и мой ножик в щели нары, и мою веру в щели сердца. В течение дня, или года, или пяти лет — все запрещенные ножики или мысли непременно очутятся на поверхности, — и если не всегда будут замечены и изъяты, — то это объясняется не столько несовершенством лагерной системы, как таковой, сколько отсутствием вышколенного персонала, способного выполнить предначертания. — Лагерная система есть законченное выражение сталинизма. Но нет еще людей, стоящих на высоте задания. Это — идеальное орудие коммунизма, но пройдут еще поколения, пока советские люди научатся делать обыски как следует. Надо думать, они усвоят себе это трудное искусство, поскольку с ним связано существование режима.

11. ЛЮДИ НА 48-ОМ

На поляне в лесу сидели люди. Это было польское звено Гржималы, и оно выглядело, как гравюра Гроттгера из серии «1863 год». Костер горел, и когда люди поднялись к работе, один остался. Я вышел из-за деревьев и увидел: он беззвучно молился, сложив руки. У него было молодое лицо, но люди его звена относились к нему с почтением, как к старшему.

Это был ксендз, укрытый среди поляков. В ту зиму все мы что-то «укрывали» в лагере: кто скрывал свой сионизм, кто — социальное происхождение. Некоторые — даже национальность. Нашлись поляки, которые выдали себя за белоруссов и даже немцев, думая, что так выгоднее. Среди поляков на 48-ом выделялся человек с серебряными волосами и благородной осанкой. Ходил он в длинной крестьянской «сукмане», которая, однако, очень шла к нему, имел очень мягкую и симпатичную манеру разговаривать, добродушное круглое лицо. Это был Левандовский, капельмейстер Польского Радио в Варшаве. Я, правда, не мог припомнить такого имени, но факт, что среди нас находился музыкант, был признан официально: в ведение Левандовского были переданы две балалайки и гитара, хранившиеся при «клубе», и даже позволили ему первое время спать в теплом углу при КВЧ. Входя туда, я находил Левандовского за топкой железной печурки или присутствовал при том, как он с серьезным лицом и смеющимися глазами подыгрывал на балалайке, пока наш воспитатель исполнял душераздирательный романс «Эх зачем эта ночь». Старику под шестьдесят было нелегко, но он не жаловался никогда, всегда был ясен, ровен и невозмутим, полон тихой веселости. Разговаривая с ним, я мог убедиться, что Левандовский не был тем, за кого выдавал себя: его отношение к музыке не свидетельствовало о профессионализме. Жена его была англичанка и находилась в момент начала войны в Египте. Левандовский рассказывал мне под большим секретом, что жил «на кресах» в доме, где было 28 ком-

нат. Вероятно, он доверил этот секрет не мне одному: скоро стали говорить на лагпункте, что под именем Левандовского скрывается польский аристократ.

Левандовский трагически погиб в лагере. Люди, пережившие лагерь, сообщили мне его настоящее имя, которое я оставляю на совести информаторов: граф Вашиц.

На 48-ом квадрате было много духовных. Надо сказать, что религиозные евреи держались в лагере с большой моральной силой и стойкостью. Пареньки из йешивы, молодые хассиды лучше держались, чем бывшие комсомольцы и социалисты, которые, попав в лагеря и убедившись, что это не дурной сон и не буржуазная клевета (а некоторые из них имели стаж польских тюрем, сидели за коммунизм), переживали настоящий шок. Я помню, что в день 1 мая 1940 года, когда нас, зэ-ка, погнали на работу, один из «комсомольцев» расплакался от стыда и досады: первый раз в жизни заставили его работать в день первого мая. Наши религиозные евреи не позволили выгнать себя на работу в Судный день. Группа евреев получила разрешение у начальства не работать в этот день под условием, что они отработают в ближайший выходной. Им предоставили для молитвы помещение. Нашелся и «хазан». На Новый Год и Йом-Кипур молилось человек 50-60. Начальник лагпункта и комендант Панчук пришли посмотреть на это необыкновенное и невиданное ими зрелище. — Поляки в лагере богослужений не устраивали, да и у евреев скоро прошел молитвенный пыл: на Пасху уже ничем не ознаменовали праздника. Лагерь подсек крылья.

Был среди нас один молоденький «подрабинек» — спокойный, тихий человек. Другой ревнитель — был старик Ниренштейн. Ниренштейн в лагере был десятником и имел под своим началом женскую бригаду из полек и галицийских евреек, которых одели в мужские бушлаты и послали в лесные дебри на «сжигание порубочных остатков». Он с полной серьезностью, опираясь на суковатую палку, водил в лес польских полковниц, учительниц, на смерть перепуганных тету-

шек, варшавских беженок и еврейских лавочниц, растерявших на этапе мужей. Старик Ниренштейн не принимал участия в беседах о политическом положении. — «Все ваши расчеты, — говорил он, — ничего не значат. Бог захочет, и в один день все переменится». — А с подрабинком я разговаривал на философские темы: «Что такое свобода».

— «Свобода, — в один голос сказал он и два богомольных еврея из Столина, — это делать, как Бог велит». Я спросил, почему в книге Иова, где рассказывается, как Бог вернул страдальцу все его потери и восстановил его счастье — почему ни слова не вспоминается о детях его, которые погибли. Как же возможно, что судьба этих детей не имела самостоятельного значения, и они погибли только потому, что надо было испытать Иова?

Подрабинек усмехнулся, выслушав это замечание. Он очень мерз и на работу в бригаде Гарденберга ходил в ту зиму, завернувшись в черное солдатское одеяло, как в юбку. — Насчет Иова он поучал меня, что вся история — только «пример», сказка, а не быль — и не надо принимать к сердцу судьбы детей Иова, которые не могли умереть, раз они и не жили вовсе.

В конторе 48 квадрата, а потом на тягчайших работах на лесоповале я встретил также и пастора: редкое явление в Советском Союзе. Пастор, широкоплечий и коренастый (пасторы узкоплечие уже вымерли к тому времени), разговаривал со мной по-немецки. В ту зиму 40-41 года немцы еще не снижали голоса, разговаривая в лагерях по-немецки. Я его просил рассказать мне историю лютеранской церкви в России после октябрьской революции. Это была печальная история, на которой невозможно здесь останавливаться. Из двух престарелых епископов, которые управляли протестантами в России, один умер, а другого отпустили в Германию. Советское правительство разрешило потом открыть школу для пасторов — на 30-40 человек на весь Союз. Собеседник мой окончил эту школу. Через некоторое время по окончании, его и остальных питомцев этой школы отправили в лагеря.

Он рассказывал об этом спокойно, без тени надрыва или возмущения. А я, вспоминая Нимеллера и пасторов, расстрелянных в Польше гитлеровцами, смотрел с симпатией на этого человека, который не имел больших шансов вернуться когда-либо к своему призванию. Месяца два позже, выходя с бригадой из лесу, я увидел пастора в бушлате лесоруба, с топором и лучком при работе. Я подивился силе и ловкости его движений. У не-евреев, даже если они и были интеллигентами, все же сказывалась наследственность — крестьянское или простонародное происхождение. Им легче было перестроиться, предки им помогали, а мне — 60 поколений предков-грамотеев и индивидуалистов, не знавших крепостного права, не давали смириться и покорно сунуть шею в лагерное ярмо.

На другом полюсе лагерной массы находились партийные: ответственные сотрудники, бывшие секретари парткомов, райкомов, вычищенные, потерпевшие крушение среди усердного служения, но еще не потерявшие надежды когда-нибудь вернуться в тот дивный мир власти и привилегий. Эти, как срезавшиеся ученики, горели нетерпением выдержать переэкзаменовку, и смотрели на нас, чужих с Запада, как на каких-то наглецов: мы не уважали лагеря, а они его у в а ж а л и, как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Это были добровольные помощники, опора администрации, службисты, нечто вроде «капо» в немецких лагерях. Через 5-6 лет выдыхался и у них этот порыв, вместе с остатками физических сил. В лагере находился нацмен-комиссар, в прошлом член правительства где-то в Узбекистане или Туркмении, с фамилией, кончавшейся на ... баев. С высохшим монгольским как пергамент желтым лицом, с голым черепом и козлиной бородкой, сморщенный и мумиеобразный, он ходил с палкой, не мог подняться на горку — сердца уже не было — инвалид II категории. Просто невероятно было слышать, что всего лишь год тому он резал по 18 фестметров на лесоповале. Его жизнь кончилась. Только сон остался об удивительной поре его жизни, когда он жил по-

европейски, и даже жену имел русскую — врача в белом халате. Жена — врач, в белом халате...

Тогда вдруг приехала на 48-ой — по спецнаряду из Медвежегорска — зубоврачиха Дятловицкая, на 3 дня. У нас не было зубного врача, и мы все лечили зубы раз в три месяца, когда проезжал специалист по лесным пунктам. Устроили Дятловицкой «кабинетик» при КВЧ, поставили особо-сильную лампу, она выложила свои инструменты, лекарства, под дверью стала очередь. У Дятловицкой был маленький срок — три года — и сразу я узнал знакомый тип: еврейка из Бобруйска. А помогала ей красавица Наташа — тоже заключенная. Обе женщины были в белом, все кругом так не по-лагерному чистенько и мило, точно на воле. И б. комиссар из Центральной Азии не хотел уйти... Как завороженный стал, глядя как двигались в кругу света от лампы две женские фигуры, звучал мягкий, ласковый голос. Уже спросил, что надо, ответили, — а он все стоит, пялит глаза, ищет слов... а в глазах тоска, тоска по культурной нездешней жизни, где все так чисто и красиво... если ранка, йод... если холодно, топят печку... если голоден, садись к столу... И вдруг Дятловицкая догадалась (хоть и не знала, что это бывший «нарком») и сказала ему: «у вас, наверно, в бараке не очень приятно... так вы, дедушка, посидите здесь, погрейтесь... Наташа, дай табуретку...» и он сел и ждал, пока мне расковыривали зуб. Грелся в человеческом тепле, в неправдоподобном оазисе, как собачонка, которую с улицы пустили погреться.

В боковушке, где жило человек 10, собирался кружок евреев послушать дневального Паппенгеймера. Под этой шиллеровской фамилией скрывалось больное существо, молодой немецкий еврей, разбитый, волочащий ногу, заика, с мертвенно-белым лицом. Паппенгеймер рассказывал нам про гитлеровский концлагерь Дахау, где он просидел 7 месяцев. По его рассказам получалось, что он сидел там среди арийцев, что не очень согласовалось с его семитской наружностью. — «Тогда я еще был здоров! — рассказывал Паппенгеймер. — Волшебная жизнь была в Да-

хау до войны! Работа без нормы. Сорок пять минут работай, четверть часа отдыхай. Хлеба кило триста, колбаса, мармелад, на обед гуляш — «настоящий гуляш»! И у каждого кровать! Приходя с работы, все обязательно мылись, снимали рабочее платье и одевали войлочные туфли, которые стояли под кроватью. В лагерной кантине каждый мог купить на 70 марок в месяц, и чего только не было в кантине?..»

Часами рассказывал калека, трясясь и жуя губами, про хорошее время в Дахау. Охотно слушали его евреи и верили в немецкий рай в Дахау! Каждый из них тосковал не по свободе — куда уж! — а по европейскому концлагерю, где кровати, кантина и хлеба «кило триста». Евреи тосковали по Дахау! Угрюмый гротеск этой сцены навсегда врезался в мою память. Каждый из них готов был хоть сейчас переменить 48-ой квадрат на гитлеровский лагерь 1937 года. И хотя я не мог разделить с ними это восхищение Дахау, но и я бы тогда поменял охотно советский лагерь на добрую старую польскую тюрьму, где политических содержали отдельно, не принуждали к рабскому труду, где были у них не только книги и еда, но и возможность учиться и смелость не скрывать своих мнений.

В том помещении, где дневальным был Паппенгеймер, среди нескольких интеллигентов помещался Фербер — молодой человек с щеголеватыми усиками и в необыкновенно элегантном зеленом сюртучке. Фарбер работал в конторе и выделялся среди нас не только зеленым сюртуком, но и острословием и подчеркнутой «изысканностью» манер. Фарбер был львовчанин. Природа ему положила пленять женские сердца и блистать на танцовальном паркете. Это был позер, из породы людей, никогда не забывающих о производимом ими «впечатлении». Был у него дядюшка во Львове, на которого он очень надеялся, писал ему о посылке — но дядюшка не отозвался ни словом. В те дни Фарбер был полон самоуверенности, рассказывал анекдоты и препотешно, ко всеобщему увеселению, муштровал Паппенгеймера, обучая его, как должен вести себя образцовый дневальный. — «Паппенгей-

мер! сюда!» — петушинным тенорком командовал диктатор Фарбер: «Стать во фронт перед шефом! и грудь вперед! Почему не выметено под нарой?» — «Me-me-me-melde gehorsamst», — отвечал бедный Паппенгеймер, у которого Дахау и 48-ой квадрат окончательно смешались в голове.

Вдруг выгнали Фарбера из конторы. Изгнание из конторы автоматически влекло за собой перевод в рабочий барак. Фарбер не выдержал работы и голода. Сперва продал зеленый сюртучок. Потом перестал мыться и потерял юмор. Потом уличили его в краже куска хлеба и избили в лесу. Наконец, сослали его в кипятилку. Там, на пустыре, с глазу на глаз с полудиким нацменом, не понимавшим по-русски — он окончательно одичал. На него стали находить припадки бешенства, когда он дико кричал на своего напарника. Крики в лагере — дело обычное. Но он кричал чуточку громче, чем надо. Раз я увидел, как он выбежал в полночь из дверей кипятилки, хватаясь руками за голову, в исступленном отчаянии. Как-то в один глухой и ненастный вечер мы вслушались в этот дикий вопль из кипятилки, и вдруг кто-то сказал:

— Слушайте! Да ведь он просто сошел с ума!

Сумасшедшего Фарбера убрали из кипятилки, но продолжали посылать на работу. Но тут стал он мочиться под себя, не выходя из барака. Его положили отдельно, на самом плохом, холодном и загаженном месте у двери. Между ним и ближайшим соседом сделали промежуток — никто не хотел лежать с ним рядом. При уборке барака обходили его место.

Фарбер не был опасен. Он улыбался робкой, щемящей, потерянной улыбкой. Когда бригада мылась в бане, надо было следить за ним: он брал у раздевающихся людей все, что видел: надевал чужую чистую рубаху или чужие ботинки. А когда в бараке кто-нибудь не находил своей вещи, он прямо шел в угол, где валялся несчастный инвалид.

Никто из людей его компании, из конторских «придурков», которые начали с ним лагерную жизнь и жили на счет получаемых посылок, не сделал ма-

лейшей попытки помочь ему, подкормить, приглядеться к нему, пока еще было время. В лагере никто не имел ни охоты, ни возможности спасать погибающих. Каждый был занят собой. Редчайшие исключения ни в чем не меняли лагерной атмосферы. Филантропия в лагере — то же, что одеколон на бойне.

Евреи и поляки в ту первую лагерную зиму жили рядом — жили вместе — и без трений. Поляки составляли среди нас меньшинство; русские зэ-ка и начальство одинаково называло нас «западниками». Общая беда, общий язык и общее неприятие всего окружающего сблизили нас. Иногда это вызывало удивление среди русских. Русские евреи удивлялись польским: «Откуда у вас этот польский патриотизм? — говорили они: — сами рассказываете о польском антисемитизме, а стоите за них горой!» Русские поляков не любили: относились к ним с иронией, с инстинктивной враждебностью, не понимали ни их католицизма, ни их культурной обособленности. — «Паны, шляхта!» — говорили о каждом и пожимали плечами, видя, как горячо мы защищали все польское. Среди сотен евреев жили десятки поляков, и, конечно, мы были им ближе, чем другие в лагере. Были среди поляков бывшие судьи и полицейские, инженеры и служащие, рабочие и крестьяне, были люди всех партий, бывшие эндеки и будущие андерсовцы... но тогда, под влиянием страшной национальной катастрофы, забыты и заглушены были все разделения и различия, и в особенности легко сходились тогда в лагере польская и еврейская интеллигенция.

Только польской молодежи, замкнутой и молчаливой, мы не доверяли, зная, чувствуя недавний ее гитлеризм, памятуя, как в предвоенной Польше она в массе шла в направлении людоедского шовинизма. А лагерь не был школой, которая могла бы противодействовать этим зачаткам. Наоборот. Из лагеря они должны были вынести волчью злобу, сознание того, что все можно и все позволено по отношению к режиму, создавшему этот позор. Лагерь воспитывал не-

нависть. У нас не было сомнения, что эти молодые люди вынесут из лагеря не уважение к демократии и достоинству человека, а контр-коммунизм, т. е. фашизм. Некоторым из них лагерь импонировал, они учились, как надо расправляться с врагами. Они хотели бы ввести такие лагеря во всем мире, но только сажать в них других людей. Не разрушить лагерную систему, а присвоить ее себе. — Был среди нас один молодой поляк с типичным лицом студента, острой бородкой, в шапке-конфедератке, надетой набекрень. Он держался в лагере независимо и задорно, поглядывал на окружающих серыми насмешливыми глазами; пока чувствовал себя здоровей и крепче других, ходил гоголем. Его фамилия была Яцко. Когда мы случайно оказались соседями по наре, он мне както высказал, что у него накипело на душе. Один — единственный раз его прорвало, и он сказал мне, что немцы правы в Польше, применяя силу, и тот дурак, кто не использует своего физического преимущества! — «Давить слабых! — сказал он, блестя лихорадочно светлыми глазами, — и я тогда же подумал, что сам он, должно быть, не очень здоров. — И мы будем давить, будем непременно давить! Пилсудский скотина! Разве так надо было готовить Польшу к драке! Погодите, еще придет наше время!» — Но уже поздно было Яцко давить слабых. Его песенка была спета. Много было тогда и вышло из лагеря людей, мечтавших «давить слабых», а кончавших тем, что пресмыкались пред сильными.

Впечатления польского антисемитизма изгладились в нас, когда мы встретились с гораздо более массивным и стихийным русским антисемитизмом. Он был для нас неожиданностью. Мы нашли в лагере открытую и массовую вражду к евреям. 25 лет советского режима ничего не изменили в этом отношении. Неизменно в каждой бригаде, каждом бараке, каждой колонне оказывались люди, которые ненавидели меня только за то, что я был еврей. Их было довольно, чтобы отравить атмосферу в каждом месте, где мы жили. Несмотря на то, что они ничего не знали о Гит-

лере, они создавали временами вокруг нас гитлеровскую атмосферу, когда обращались, не называя имен: — «Эй ты, жид!» — «У кого лопата?» — «У жида». — Это были люди из города и колхоза, воспитанные уже в советское время, и их отношение имело все черты естественного и общего явления. Тогда же я познакомился с тем словцом, которое в Сов. Союзе часто заменяет кличку «жид»: — «абрам», с гортанным «р»: «аб'гам». На воле те же люди были осторожнее; в лагере они не стеснялись. Раз установленный факт нашего еврейства сразу обращался против нас, в бытовых отношениях или на работе. В ежедневной дискриминации, в маленьких придирках, ядовитых замечаниях и в тысяче способов отравить жизнь. Если потух костер, и надо взять огня у соседа, он не дает головешки, потому что ты еврей, и огонь у тебя именно потому и не горит, что ты рассчитываешь на его костер, а свой запустил. Если ты не выполняешь нормы, то это потому, что евреи работать не хотят. Если еврей принят в контору, то конторские придурки постараются его выжить. Недоверие к еврею ощущается повсюду, и надо преодолеть его, чтобы наладить какой-то личный контакт с людьми.

В лагере есть только одна должность, которая занимается евреями преимущественно: это — «ларечники», т. е. попросту лагерные лавочники. «Ларек» совмещается с продкаптеркой, складом хранения продуктов, откуда они выдаются на кухню и стрелкам ВОХР'а. «Ларек» — это те экстра-продукты, которые «забрасываются» на лагпункт для продажи зэ-ка «на коммерческий расчет», как своего рода премия. При мне ларек на 48-ом квадрате пустовал, но иногда поступали туда две вещи: селедка и брынза наихудшего качества. Еще продавались деревянные ложки лагерного производства (бригада «ширпотреба») и — хлеб, как добавление к пайку. Все ларечники и продкаптеры, которых я знал в лагерях, были евреи, т. к. эта должность требует умения обходиться с товарами, считать, развешивать и обслуживать так, чтобы все были довольны, включая начальство. Русские

люди в такой должности сразу проворуются и получат второй срок. Ларечником-каптером не может быть ни человек абсолютно честный, ни человек, не знающий удержа. Обеих крайностей не допустит начальство, которому надо, чтобы ларечник его кормил и сам не попадался. Поэтому бывают ларечниками чаще всего старые евреи, которые на торговом деле съели зубы.

Русские евреи лишь тогда хорошо жили со своими собратьями зэ-ка, когда могли им импонировать своим уменьем держать себя — удальством, силой, — когда они были больше русские, чем евреи. Еврей Сашка в бригаде косарей — кроме того, что был черномазый и горбоносый — ничем ровно не отличался от своих соседей. Так же пел русские песни и ругался, так же мог запустить башмаком в соседа или пригрозить ему ножом, стянуть, что плохо лежит, и на тяжелой работе отдать последнюю каплю силы. Когда же Сашка увидел польских евреев, у него вдруг дрогнула какая-то струнка, отозвалось что-то забытое, и он, ко всеобщему и собственному удивлению, начал говорить с нами на каком-то подобии «идиш»... Нашелся еврей и среди грузин... Все они, обыкновенно, не сразу признавались в своем еврействе, сперва ходили вокруг да около, присматривались, а потом с оглядкой, в порядке интимного признания, «открывались» нам, как Иосиф своим братьям. Грузинский еврей был еще совсем мальчик, с деликатным лицом и тонкими членами. Он рассказал нам, что приехал к бабушке в Тифлис и потерял документ. Как беспаспортного и, к тому же, без определенной профессии, его присоединили к ближайшей партии и послали в лагерь — «чтобы не путался под ногами». Он припомнил и деда-раввина, и обрывки иврита. Он повторял отдельные еврейские слова, как талисман. Польские евреи, услышав «Шма-исраэль»... заулыбались, стали хлопать его по плечу и угостили сахаром.

Если русские люди ничего не знали о том, как живет и работает заграница, то вид русских евреев, заглохших как бурьян, оторванных от живой связи со

своим народом, был вдвойне тягостен нам. С 1937 года им, как и всем советским гражданам, было «рекомендовано» прекратить переписку с родственниками заграницей. Задолго до того наступила стерилизация и сепарация русского еврейства от национальной еврейской жизни во всем мире. Так выглядели дети тех, кто был когда-то авангардом еврейского народа, кто создал сионизм и заложил основы новой Палестины. Их дети и внуки в лагере ничего не слыхали о Палестине, не знали Библии, не имели понятия о национальной культуре и тех именах, которые дороги каждому еврею, — точно они были с другой планеты. Когда мы им рассказывали о Тель-Авиве и Эмеке, они слушали, как негры из центральной Африки слушают рассказ белого человека о чудесах Европы — с удивлением, но без особого интереса, как о чем-то, что слишком далеко от них, чтобы быть реальным. И я вспомнил первомайские плакаты на улицах Тель-Авива с приветствиями Сталину (т. е. начальнику нашего лагпункта) и Красной Армии (т. е. нашему комвзвода) — и подумал, что мы, евреи, щедрый народ, если так легко забываем о собственной плоти и крови. Сиди, Сашка, в лагере, из-за тебя ссориться не будут...

По мере успехов Гитлера антисемитизм нарастал в лагере. Здесь можно было наблюдать, как эта сторона немецкого расизма подкупала сердца и притягивала симпатии, как она создавала психологические предпосылки для политического сближения. В то время редкие советские газеты, попадавшие в лагерь, были полны немецкой рекламы. Никогда впоследствии речи Черчиля так не приводили в советской прессе, как речи Гитлера до великого перелома: печатали их на полстраницы. Все стрелы иронии и критики направлялись на хищный англо-американский империализм. Эта циничная кампания проводилась со всей последовательностью. Когда в начале 41 года началось вторжение Италии в Грецию, то на 48-ом квадрате политрук объяснял снисходительно, что виновата... Греция, а Италия только защищает греческое побережье от его захвата англичанами. Таким путем за-

щищалась косвенно и политика Сов. Союза в Финляндии. Лагерная же шпана из этого делала свои выводы: Гитлер прав, и жидов следует бить. Несколько месяцев спустя, под влиянием первых успехов Гитлера на советском фронте, в лагере создалась такая атмосфера, что никто из евреев не сомневался, какова была бы их участь, если бы лагерь попал в руки немцев или финнов. Нас перерезали бы в первый же день. Лагерники угрожали нам открыто, и когда мы вместе толпились под окошечком кухни, на евреев направлялись взгляды, полные ненависти, и слышались голоса: «Перебить их всех надо! Ни одного не оставить!»

В декабре 40 года вечером в бараке АТП состоялся форменный диспут между мною и интеллигентами, жившими в помещении административно-технического персонала. В большой избе стояла посредине печь-плита, на которой круглый день кипятилась вода, стояли всякие кружечки, котелки. Здесь не было ржавых погнутых железных котелков или мисок, подобранных в помойке. Миски были металлические, чистые, а котелки из белой жести, аккуратные, с ручками. Не было нар, а рядами стояли деревянные койки с сенниками. В глубине помещения за печкой стоял стол на козлах, за которым при керосиновой лампе сидели вечерами, ужинали, писали отчеты. Здесь я ввязался в зимний вечер 40-го года в неприятный разговор.

Люди, среди которых я сидел, имели среднее и техническое, некоторые даже высшее образование. Все воспитались в Советском Союзе, происходили из трудового народа, собрались сюда со всех сторон России и имели самый разнообразный и большой житейский опыт. Кто сидел за растрату, кто по бытовой статье, кто за неосторожное слово, но даже и те, кто имел 58-ую статью, за «контрреволюцию» — тоже не были политическими заговорщиками, а представляли собой средний обывательский элемент. Эти люди принадлежали к 15-тимиллионной массе советских зэ-ка, а эта масса, в свою очередь, представляет собой

90% населения России. Можно было бы в один день освободить все эти миллионы и посадить вместо них другие — с тем же правом и основанием.

Разговор начался с Гитлера — «почему он не любит евреев?» — и «что такое евреи сделали немцам?» и перешел на еврейский народ. Я разговаривал только с одним человеком, но не прошло и 10 минут, как весь барак принял горячее участие в беседе.

Я попробовал рассказать этим людям, никогда не выходившим за пределы России и советской информации, — об историческом мартирологе моего народа, о его заслугах пред человечеством, о его способностях и умении творчески работать там, где ему дается возможность.

Но с равным успехом я бы мог это проповедывать немецким SA или польским мещанам. Столько сосредоточенной злобы, яда, шипящей ненависти пролилось на меня, что я вдруг почувствовал себя, как на эндецком собрании в Польше. Люди, которые уже тихо лежали на койках, разувшись и заложив руки за голову, вдруг не выдерживали, вскакивали и обращались ко мне так, как будто я был виноват во всех их несчастьях. Я, не зная того, затронул больное место. Нельзя было в их присутствии говорить хорошо об евреях. — «Ваша нация! — звучало со всех сторон. — Не рассказывай сказок, сами все знаем, вы — хитрый народ!» — Каждый мог говорить о евреях без стеснения — зная, что на его стороне и начальники, и стрелки, и каждый вольный. Антисемитские выходки никогда не наказывались в лагере, они заглаживались начальством, которому не приходило в голову обидеть «своего» русского человека за то, что он «не выдержал».

И в тот вечер пришлось бы мне плохо, но под конец вошел в барак всеобщий любимец, белоголовый Васька, приемщик на лесной бирже, шутник и балагур. Он вступился за евреев. — «Нет, что же вы, ребята! — сказал он. — Разные бывают евреи. Вот я на Украине бывал в еврейском колхозе...» и начал рас-

сказывать про еврейский колхоз, а потом разговор плавно сошел на другую тему.

Я вышел за печку, где стояла моя койка, разделся в темноте и лег. Голос Васьки доходил до меня, беспечный, домашний, и все они уже успели забыть о взволновавшем меня разговоре. Вася был их человек, и между собой им было хорошо. Лишний раз я убедился, что антисемитизм можно вогнать под землю, но нельзя уничтожить его до тех пор, пока еврейская масса остается в прежнем положении в социальном организме других народов, как ясно-различимое инородное тело.

12. ВЕСНА 1941 ГОДА

Весна пришла на 48 квадрат. Снега набухли водой, не держали саней, уступали под ногой. Мы шли на место работы полянами, где снег расстилался ровно и гладко. Но при каждом шаге мы проваливались в него выше колен, брели как через речку, погружая и подымая ноги, вода чавкала под нами. Лесные бригады работали на воде, сучкорубы с трудом добирались до поваленных ветвей. Наконец, передвинули время работы.

Ночью мороз еще держал санные дороги в сносном состоянии, а днем они подтаивали. Поэтому мы стали выходить на работу в полночь — и, возвращаясь в полдень, ложились до вечера спать. Ночью леса были полны костров и крика, как днем. От луны зеленели снега, а лица людей, худые, темные, с ввалившимися глазами, были как чужие.

Ранней весной я ушел работать на «биржу № 5». Лесная биржа — это площадь с обеих сторон жел. дор. полотна, где на километр тянутся склады, штабеля и запасы дров, приготовленных к погрузке. Штабеля громоздятся выше человеческого роста. Весь день идет приемка леса, который доставляется возчиками с мест порубки. Штабеля укладываются и раскатываются, дрова «подносятся к габариту», т. е. на определенное расстояние вплотную к полотну жел. до-

роги. При штабелях стоят козлы и люди пилят. Костров на бирже разводить не позволяют, и весь день стрелки и бригадиры заняты тем, что разбрасывают и заливают костры, которые зэ-ка умудряются разложить в тени штабеля хоть на полчаса.

Работали втроем: Марголин, грузин Чикавани и западник, пинский еврей Клейман. Клали на козлы по несколько бревен разом и перепиливали вместе на метровые отрезки. Двое пилило сразу, стоя рядом. Клейман укладывал дрова, но имел еще особое задание. Всюду под снегом и в ямах лежали полусгнившие, невывезенные, погребенные штабеля напиленных дров. Найдя под снегом такой штабель, забытый с прошлого года, Клейман, улучив минуту, утаскивал чурок десять и приносил на наш штабель. Иногда завбиржей, проходя издалека, кричал ему: «Откуда дрова тащишь! Брось немедленно!» Тогда Клейман, в прекрасной шубе, с которой не расставался ни на миг, с маленьким лисьим лицом, ронял дрова и ждал, пока завбиржей пройдет. А мы с Чикавани пилили, не сходя с места, круглый день.

Из лагеря я вынес чувство уважения к грузинскому народу. Грузины отличались в общей массе зэ-ка какой-то врожденной мягкостью и спокойствием, умели держать себя с достоинством, без дикости и свирепости, с гордостью старой культурной расы. Все эти черты были свойственны другу моему и брату Чикавани, одному из неизвестных мучеников этого народа, чей вклад в лагерную массовую могилу — один из самых ценных в Советском Союзе. Я сблизился с Чикавани уже на склоне его жизни. Он сидел в лагере уже 3 года, и оставалось ему больше, чем он мог вынести. Все в нем было утишено и смягчено предчувствием конца. Чикавани был только грузинский крестьянин, но он имел деликатность, великодушие в мелочах быта и благородство, которых мог бы себе пожелать английский лорд. Я любил этого человека. Быть вместе с ним — пилить стоя рядом — облегчало работу. И я любил слушать его рассказы, в которых оживал далекий и яркий мир южной кавказской

страны, долины и горы Картвели, белый деревенский дом его матери, солнце, и виноградные лозы, и улицы Батуми над Черным морем.

Рассказов Чикавани хватило бы на целую книгу. Мы оба с ним тогда тосковали по родине, жили одной мыслью о ней. Я мечтал о том, что поеду когда-нибудь в мой край, Палестину, через Батуми — и мы оба будем тогда свободны. Но все сложилось иначе. — И грузинские слова, которым научил меня «Мегобаро Чикавани» — «друг мой Чикавани» — выпали из моей памяти.

Мы возвращались в полдень, километра за 3, и по дороге проходили места, где корчевали пни. Это — тяжелая работа, на которой иногда звену приходится потерять полдня над исполинским, особо-упорным и глубокосидящим корнем. «Указчики» кишели вокруг пней. Едва окопаешь — и яма заполняется водой. Под водой надо откапывать, находить и перепиливать отроги корней, высвобождая пень, и, наконец, подвести под корень в одном или нескольких местах, как рычаги, длинные «ваги». Конец ваги, как оглобля, торчит кверху, и звено подымает его, выворачивая, вырывая, опрокидывая корень. Но иногда никакие усилия не помогают: значит, остался где-то внизу под корнем, куда не добраться ни топором, ни пилой — последний незамеченный отрог, и остается копать, все глубже копать, пока люди не уйдут по пояс в болото и в воду.

«Указчики», корчевавшие пни на 48 квадрате в ту весну — были молодые люди в возрасте 17-20 лет, которых взяли в лагеря по знаменитому указу летом 40-го года, направленному на изъятие недисциплинированной молодежи. Тогда по всей необъятной России суды получили задание прочесать железной метлой советскую молодежь и в кратчайший срок ликвидировать хулиганство. Метод полицейского воздействия здесь соответствовал точно методу «ликвидации вшивости в недельный срок» на нашем лагпункте. Летучие бригады тогда ликвидировали вшей, обходя бараки и проверяя рубашки у зэ-ка. У кого находили

вшей, того немедленно отправляли в баню. Хулиганство точно так же ликвидировали нарсуды — с помощью массовых отправок в лагеря всех, кто в то время имел несчастье попасться. Таким образом, накануне войны было сразу отправлено в лагеря на сроки в 1, 2 и 3 года около миллиона молодых людей.

«Указчики» выделялись среди массы советских зэ-ка не только своими «детскими» сроками, но и всем своим типом: это были испуганные юнцы, которые в лагере растерялись и ужаснулись — привезенные прямо со школьной скамьи или с бульвара большого города, где они совершили свое преступление. Один напился и наскандалил в общественном месте. Другой вечером пристал к девушке, а та позвала милиционера. Третий на улице выругался по матери. Последних в особенности было много. Бытовые преступления этого рода как до указа, так и после указа, разумеется, не представляют редкости в Сов. Союзе. Итак, чтобы отучить молодежь от матерщины, которой они научились у взрослых, послали этих юнцов в лагерь, и там они только научились лексикону, который превосходил все, что они слышали дома, и могли убедиться, что без неслыханного по виртуозности сквернословия, проникающего во все пóры мысли и сознания, не обходится в лагере ни один вольный, ни один начальник, включая и «воспитателя». В «исправительно-трудовом лагере» сломали им жизнь по-настоящему, с немилосердной и лютой жестокостью, терроризовали на всю жизнь и вписали им в документы отметку о пребывании в лагере, которая им в будущем отрезывала возможность нормального устройства. За что? — Каждый из них был повинен в мелком проступке, в основе которого лежало воспитание, данное советской улицей. Насколько молоды и легкомысленны они были, я мог убедиться, разговаривая с этими юнцами, которые еще помнили атмосферу родительского дома, говорили «мама» или «у нас дома на веранде качалка есть». В лагере смешали их с уголовными, с преступниками-рецидивистами, с у́рками и проститутками, и еще хуже — с совершенно невинны-

ми, ни за что погибающими массами, согнанными со всех сторон огромной страны — в том возрасте, когда этот опыт и эти впечатления должны были стать для них решающими. Среди тающих снегов я их видел сидящих у костра, дрожащих от холода, в лохмотьях, не покрывающих тела, в невыразимом состоянии: матери их кусали бы себе руки от отчаяния, если б могли их увидеть. Голод и лагерь сделал из них настоящих беспризорных. В тот полдень, идя мимо, я увидел: Витя, сын городского архитектора в областном городе Сев. Кавказа, 18-летний юноша, полунагой, весь в зловонной грязи, с черными руками и немытым лицом, набрал в карман бушлата гнилых селедочных головок из помойки лагерной кухни. Кто-то из старших зэ-ка увидел эту гниль и силой заставил его выбросить в грязь эти вещи, которых и свинья не ела бы. Но не успел он отвернуться, как за его спиной произошло побоище: все указчики наперебой ринулись подбирать селедочные головы, с дракой и руганью вырывая их из рук друг у друга.

Весна шла, дороги были затоплены, и мы были отрезаны от нормального сообщения с Медвежегорском и Пяльмой. Доставка посылок прекратилась в марте, и в мае, чтобы прокормиться, я продал свои последние штаны из дому. Я ходил в казенных ватных брюках и в них же спал, не раздеваясь. В мае перевели нас работать «на карьер». Мы работали как бы на острове, окруженном водой болотной низины. На место работы мы пробирались по кладкам, и, теряя равновесие, падали в воду.

«Карьер» был самым подходящим местом для западников. С двух сторон подымались отвесные желтые глинистые стены в человеческий рост, и мы лопатами, ломами, кирками дробили песок и погружали его в деревянные тачки. По размокшей грязи тачки не могли двигаться, поэтому для них были проложены мостки из досок. Дела было много. Одни из нас таскали доски на плече за полкилометра, другие сколачивали мостки, третьи копали песок, четвертые во-

зили его в тачках на насыпь, пятые разравнивали насыпь и вели ее все дальше через низину. Мы буквально засыпали болото песком. Необыкновенное оживление было в карьере. Низина кишела народом. За нами забивали сваи в воду тяжелыми бабками, которые с трудом подымали вчетвером. Впереди нас, где обрывалась насыпь, — тянулась узкая болотистая равнина, откуда еще надо было отвести воду. С этой целью с обеих сторон ее копались канавы. Каждый зэ-ка имел свой урок — положенное число метров. Я неутомимо возил тачки — работа, при которой можно думать о своем, скрытом.

Пока Гринфельд нагружал мне тачку, я стоял сбоку и смотрел, как взлетала и падала его лопата и как сыпался мокрый песок в тачку. Когда в песке попадались большие камни, я сбрасывал их. — «Хватит!» — Гринфельд ударами лопаты плашмя уминал песок, я брал в обе рукавицы расходившиеся ручки тачки и осторожно катил груз по доскам на насыпь. Всюдя валялись колоды, выкорчеванные пни, журчала вода, а далеко кругом в открытом поле лежал еще белый снег, весь подмытый, розовея на солнце.

Гринфельд обладал особым талантом: угадывать без часов время, с точностью до 15 минут. Часов ни у кого из нас не было, и когда надо было спрашивали Гринфельда. Он, живые часы бригады, взглядывал на небо и говорил уверенно: половина первого. Тогда садились вчетвером и открывали под стеной карьера заседание на опрокинутых тачках: грузин, поляк, палестинец и чех. Батуми и Тель-Авив, Варшава и Брно встречались в карело-финском лесу. Каждый день один из нас по очереди рассказывал в перерыва работы какую-нибудь историю. Из этих рассказов складывался лагерный Декамерон: сто историй на полях нашей собственной скверной истории.

В километре от карьера проходила железная дорога. Туда нас часто водили разгружать платформы с песком — или нагружать вагоны дров. Идя, мы не знали, зачем нас потребовали, и что нас ждет в конце дороги. Это было нам совершенно безразлично. Важ-

но было только дотянуть день. Иногда приводили нас к поезду, груженому тяжелыми рельсами — тогда начинался ропот и возмущение: «откуда силы на это?». Кое-как мы скидывали рельсы с платформ под самые колеса вагонов. На следующий день нас приводили на то же место — отнести рельсы прочь от габарита, чтобы не мешали движению.

10 июня 1941 года с утра снежная буря разразилась над лагпунктом.

Окрестность покрылась тонкой пеленой снега, и мы, ступая, не знали куда попадем ногой. Онежский июнь не баловал западников. В этих местах лето ограничивалось, в сущности, одним месяцем: — июлем. В мае еще лежал снег, июнь был полон капризов, а в августе начинались уже холодные ночи. Резкий ветер и снег сделали работу невозможной 10 июня. Мы развели костры, как зимой. Укрыться было негде. Люди сидели тупо и оцепенело, втянув шеи и понурившись, с видом заморенных кляч под рогожкой. Нехватало мест у костра, поэтому за сидевшими у огня стоял второй ряд и над головами протягивал к огню руки в дырявых рукавицах. Мы — новые огнепоклонники — молились над огнем, как наши матери над субботними свечами. Ветер каждую минуту менял направление, и дым валил в лицо. Снег шел на нас, снег валился на плечи, на круглые дикарские шапки, снег пушистой броней покрывал наши бушлаты и колени. Нам ничего другого не оставалось, как ждать. Снег пройдет, а мы останемся. И день пройдет, а мы останемся. Весь лагерь пройдет...

— Panie, — наклонился Карпович. — Плохо мне, скверно... Что же они сделали с нами? За что?

— Надо продержаться, — сказал я ему синими губами. — Зима в июне недолгая. Это — как туннель.

И я рассказал ему очередную историю, про туннель.

... Это было в Италии, в Генуе. Нас было двое, мы были молоды. Впервые на итальянской Ривьере.

Мы сели в забавный маленький вагончик третьего класса, переполненный людьми. Итальянцы смеялись, шутили с нами. Один старичок, живой и подвижный как ртуть, спросил: — Жена? Когда поженились? — Я показал знаком: неделю тому назад. Итальянец ткнул в меня пальцем и отпрыгнул с комической ужимкой.

— Жарко! Горит! Жжет!

И все захохотали, а мы, в конце концов, не могли усидеть и вышли на открытую площадку в конце вагона.

Поезд шел лигурийским побережьем, парил как птица над неоглядной далью Средиземного моря, в потопе света и солнца, в сиянии и просторе. Бухты, полные цветных парусов и мачт, мирные городки и зеленые рощи лежали под нами. Издалека звонили колокола — воскресенье.

Совершенно неожиданно, без малейшего перехода, мы нырнули в туннель, наперерез горы. Точно, сзади подкравшись, накинули мешок на голову. Стало темно и душно, и в резкой тряске вагона стоя на открытой площадке, ослепленные и задыхающиеся, мы схватились за руки — и едкая копоть и гарь окутали нас.

Так стояли схватившись за руки, пока поезд громыхал, терпеливо пережидая — секунды, минуты — черный переход от света к свету.

Вдруг — так же мгновенно, как поезд вошел в туннель, он вырвался из него. И снова летел вперед, как птица, и та же панорама лигурийской весны, и то же море, и то же небо, и тот же солнечный блеск. Только мы оба были черны и закопчены, как два трубочиста.

Это ничего! Бывает и в жизни туннель, как в горе. Гора зла, гора несчастья и горя. Разбить нельзя, объехать нельзя. Остается проехать.

День 10 июня 41 года нам актировали. Составили акт, по которому день был признан нерабочим. Питание начислили нам по выработке предыдущего дня.

13. ЭТАП

Возвращаясь с работы 22 июня 1941 года, с трудом пробираясь мимо конпарка в грязи и лошадином помете, мы услышали слово, от которого дрогнули и смешались ряды:

— Война с Германией!

Весь день что-то назревало. С утра начальники бегали с растерянными лицами, не обращая внимания на нашу работу. В 2 часа вместе со стахановской кашей привезли на производство странную новость, которой никто не поверил. В шестом часу, еще прежде чем дошли до вахты, мы уже знали: немцы напали на Советский Союз.

Вечером, несмотря на отсутствие радио, все уже знали о бомбардировке советских городов и о приказе Красной Армии: идти вперед и стереть с лица земли фашизм.

Невыразимое возбуждение овладело всеми. Что будет теперь? Лопнул какой-то гигантский нарыв, теперь кровь и гной должны были брызнуть рекой...

Зная о пребывании Гесса в Англии, мы опасались только одного: что за немецким выступлением кроется сговор с Англией. Соглашение Гитлера с демократическим Западом было бы еще большей катастрофой, чем его соглашение со Сталиным. Русские зэ-ка́ молчали, но некоторые — может быть, провокаторы — высказывали нам свое мнение, что Советский Союз больше месяца не продержится. Этим людям я отвечал неизменно, что они недооценивают силу Красной Армии. Но про себя и я думал, что Советский Союз не переживет этой войны.

Для западников, похороненных в лагерях и лишенных надежды когда-либо выбраться из советской страны, эта война была единственным шансом выйти на свободу. В этой войне двух врагов Европейской демократии нам терять было нечего, и мы искренне желали им обоим скорой гибели. Роль tertius gaudens переходила теперь от Сталина к англо-американцам.

Прошло 2 дня. На вечерней поверке начальник

лагпункта Абраменко обратился к собранным бригадам зэ-ка с речью. Он объявил о начавшейся войне и сразу перешел к угрозам.

— Мы знаем, о чем вы шепчетесь между собой! Вы ждете, чтобы разорвали на куски Советский Союз! Но раньше мы ваши тела разорвем на куски! Мы прольем море крови, но не выпустим власти из рук...

В тот же день было арестовано несколько человек из бараков. Надо было показать пример. В числе расстрелянных оказался Левандовский, мнимый варшавский капельмейстер. Он поплатился жизнью за несколько неосторожных слов, о которых донесли начальству.

Западники перестали разговаривать между собой на политические темы.

Еще через день подняли нас в этап. Карело-Финская ССР была объявлена прифронтовой полосой, лагеря подлежали эвакуации. На 48-ом квадрате оставили небольшую группу заключенных, которых эвакуировали зимою в трагических условиях. Наша судьба была счастливее. Мы были переброшены на восток, с основной массой заключенных ББК. Когда вокруг Онежского озера закипела война, финны заняли столицу Карело-Финии — Петрозаводск — и центр лагерей ББК — Медвежегорск. Балтийско-Беломорский канал и Мурманская ж. д. подверглись воздушным бомбардировкам и были частью разрушены. Но 48-ой квадрат не попал в руки финнов и фронт на несколько километров не дошел до него.

Первой остановкой этапа было Боброво, маленький сельхозный концлагерь, в 8 или 10 километрах от 48-го квадрата. Там мы остались до 1 июля. Мы жили вне истории и ничего не знали о катастрофе на фронте. Отсюда перегнали нас в Остричь над Онежским озером.

Часть пути мы шли пешком, по трудной лесной дороге. Сразу спутались ряды, старики и больные отстали и конвойные пришли в ярость. Несколько раз командовали нам «ложись», и вся толпа валилась на землю, где стояла; это средство укрощения арестантов,

когда начинается непорядок. Карпович стал отставать. — «Прибавь шагу!» — «Я не могу идти скорей! — сказал с мертвенно-белым лицом Карпович, — у меня сердце больное». — «Меня твои болезни не касаются! я не врач!» — В хвосте колонны возникло замешательство. Там не своим голосом кричал конвойный на кого-то: «Выходи из рядов! Иди в лес!». — Но, разумеется, заключенный отказывался «идти в лес»: «пойти в лес» — пойти в сторону от колонны равнялось попытке бегства и давало право конвою стрелять.

В лесу посадили нас на платформы и повезли в Остричь той самой дорогой, по которой мы прибыли в прошлом августе.

В Остричи мы провели несколько трудных дней. Это был большой лагпункт, много больше нашего «48-ого квадрата». Здесь были многолюдные бараки, электричество, толпы народа. Нас загнали в пустой дом со множеством маленьких комнат и мы там лежали на полу, не раздеваясь, сплошной массой устилая коридор и сени, а утром выходили работать на озеро.

Острый ветер дул с озера, температура была здесь всегда ниже, чем в глубине леса. Два или три дня мы работали на сплаве. Берег представлял собой лабиринт штабелей и лесных складов. Мы разгружали штабель в воду, подкладывая с двух сторон мощные круглые балки. По ним мы сталкивали древесные стволы. Действуя дрынами, как рычагами, мы опускали штабель, пока не оставался от него один нижний — неприкосновенный настил. Стрелок сидел неподалеку, наблюдая за каждым нашим движением. Мы подходили к нему на предписанное законом расстояние и говорили: «Разрешите оправиться, гражданин стрелок!» — на что стрелок отвечал «иди» — и указывал направление за штабель. «Баланы» с грохотом обрушивались с высоты, подпрыгивая, или тяжело оседали фут за футом. Бухта была полна плавающих бревен, которые потом соединялись в плоты.

Разувшись и засучив штаны, мы входили в воду и длинными шестами разбивали заторы у берега, мешавшие спуску бревен. Каждую минуту кто-нибудь

срывался со скользких, танцующих в воде бревен и вылезал сушиться на берег. Было пасмурно и холодно, облака плыли над Онегой. Во время дождя мы забивались под штабеля, между досок, и были довольны, что имеем передышку. Нескончаемо долго тянулся день над озером. Под конец мы без сил лежали на бревнах. Ночью, в чужом и переполненном лагере нам запрещали выходить на двор. Едва кто-нибудь выходил, окликали в темноте: — «Стой! Куда пошел?»

Снова плыла баржа через безбрежный простор Онеги, переполненная польскими, еврейскими и русскими зэ-ка́.

Мы пересекли Онежское озеро и прибыли в Подпорожье. Пред нами открылась панорама важного центра водной коммуникации. Десятки барж и пароходов бороздили воду, на берегу дымились трубы заводов и рядами подымались элеваторы и большие деревянные постройки. Оживленная и населенная местность резко отличалась от пустынных северных мест, откуда мы прибыли.

На берегу выстроили нас по 4 в ряд и повели. В большой колонне западники с их чемоданами и узлами заняли середину. Сзади и спереди шли чужие. Я нес рюкзак на спине и чемодан в руке. Другой чемодан я отдал нести товарищу. Это был сильный и рослый львовчанин. Пока мы строились, мы чувствовали, что за нами наблюдают со всех сторон урки, которых привлек наш багаж. Они старались втянуть в свои ряды людей с чемоданами.

— Сюда становись! — окликали их, тянули силой, показывали, — здесь трое в ряду, становись четвертым. — Но западник, увидев чужие лица, отшатывался и уходил скорей, а в спину ему летели насмешливые выкрики:

— Абрам, чего боишься?

— Дело плохо,—сказал наш предводитель, львовчанин. — В бараке жарко будет. Я эту шпану знаю. Если хотите отстоять свои вещи — держитесь кучей вместе и никого близко не подпускайте.

Нас впустили в огромный порожний элеватор. На

полу его лежали сотни людей. Мы шли по проходу, как сквозь строй. Наше появление всех взбудоражило. Урки, скаля зубы и заглядывая в лица, подымались со всех сторон нам навстречу, замешивались в нашу группу, задевали плечами, — и не успел я опомниться, как меня оттерли от товарищей, и я почувствовал, как ножом перерезали лямку моего рюкзака. Кто-то рванул чемодан из рук. Но я не дал ни того, ни другого. Впереди кто-то пронзительно крикнул: «На помощь!» Львовчанин подоспел во-время, чтобы спасти рюкзак, уже наполовину снятый с моего плеча.

Мы ориентировались молниеносно. Группа человек в тридцать пробилась в угол элеватора. Мы сложили всю свою поклажу вместе и накрыли ее сверху бушлатами. Чемоданы связали веревками вместе и обвязали веревками так, что ни одного нельзя было шевельнуть отдельно. Сверху уселись самые здоровые и сильные, закрыв чемоданы ногами. Спинами к ним с четырех сторон сели остальные на пол. А к ним привалились, лежа, остальные. Таким образом вокруг вещей образовался вал человеческих тел. В десять минут все было готово.

Огромный элеватор, недавней стройки, еще пахнувший свежими досками, был полон заключенных, шума и гуденья. Через бошую дверь падали лучи заходящего солнца. Вдруг ее закрыли. Мы были одни в полумраке, полном ропота, как островок среди русских зэ-ка. Западники островками в 30-40 человек были вкраплены среди враждебной стихии. Год назад нас бы взяли, как малых детей. Но теперь мы были готовы дать отпор.

Урки двинулись в атаку с четырех сторон, цепями по 5-6 человек. Они тянулись гуськом, видные глазу, все как на подбор: остроносые, худощавые апаши, с твердыми глазами, с голыми шеями и мускулистой грудью. Все это была одна компания, свои ребята.

Ни с того, ни с сего взялся между нас, в самом уязвимом месте, где лежал старик Ниренштейн, неизвестный парень с разбойничьей рожей, горящими бел-

ками глаз — как щука среди плотвы. — «Куда садишься! — крикнул старик Ниренштейн, — здесь места свободного нет! На ноги садишься?».

Парень пробормотал: «ты, дед, не волнуйся... я на минутку... мне только вот...» и вдруг, неожиданным ловким движением, точно пловец ныряющий в воду, вытянулся всем телом и, прежде чем мы опомнились, между трех рядов человеческих тел дотянулся рукой до бушлатов, откинул и во мгновение ока нашел, нащупал, проверил то, что мы спрятали: «Чемоданы, вот они!» — Вскочил и бросился в сторону. Это был разведчик. А за ним двинулись штурмовики. Не спеша, подошел костлявый скуластый урка в рубахе на выпуск, сказал деловито: «Посторонись-ка,» и, отодвинув плечом заробевшого Ниренштейна, вступил в средину. А за ним еще несколько — и вбили клин в наше расположение.

Тогда поднялся львовчанин и с силою оттолкнул первого из нападавших. Еще секунда, и началась бы драка, во время которой из-за спины дерущихся растащили бы все пожитки западников. Но вместо драки произошло другое. Все 30 западников начали кричать изо всей силы.

Эффект получился немалый. Немедленно отозвались другие группы западников. Нас было человек двести в элеваторе. Наш дружный и потрясающий рев разнесся далеко. Мы кричали: «Пожар!» Нападавшие, зажав уши, ретировались в сторону. Двери распахнулись, вбежала охрана с оружием.

Стрелки, народ бывалый, сразу поняли, в чем дело. — «Грабят?» — Но они даже не спрашивали нас, — кто? А мы не были заинтересованы в доносах, а в том, чтобы нас оставили в покое. Стрелки постояли, подождали пока водворилась тишина, и вышли. Это не предвещало ничего хорошего, потому что ночью, в темноте, штурм бы повторился, и на этот раз мы бы его не отбили. Оставаться с урками в одном помещении было невозможно.

Через 15 минут мы начали опять кричать «пожар». На этот раз мы орали так дико, что прибежал сам ко-

мандир охраны. Через полчаса нас убрали из элеватора. Отворились двери, подали команду: «Только поляки — выходить!» И мы перешли в большой пустой амбар рядом, где нам было раздолье: никого постороннего, все помещение к нашим услугам. Мы разлеглись широко, разделись и спокойно провели ночь.

Два дня мы жили взаперти. Весь день стояли в очереди «за водой» и «на двор». Не было и речи о том, чтобы продолжать дорогу с двумя чемоданами. Я оставил себе рюкзак и маленький чемоданчик. Мое прекрасное одеяло я отдал львовчанину, а другой чемодан со всяким лагерным «барахлом» — кинул. Я увидел, что другие практичнее меня: подобрали брошенный чемодан, не представлявший ценности, и вынули все металлические части, замки, скрепы, которые слесарь еще мог использовать. При случае можно было выменять это все на кусок хлеба...

На третий день мы уходили из Подпорожья. Вдоль дороги стояли цепи охраны, чтобы никто не сбежал из рядов. Мимо нас шли прибывающие транспорты заключенных. Это была однообразная картина, все как один. Но вдруг на дороге началось оживление. Все стали показывать пальцами в одну сторону. В амбары, откуда мы вышли, вгоняли новый транспорт, и это было, действительно, фантастическое зрелище.

Это была партия литовцев — прямо из Ковны: в последние дни пред немецким нашествием угнали оттуда десятки тысяч политических арестантов, всю литовскую «элиту» — буржуазию, интеллигенцию, чиновников и просто «подозрительных». С первого взгляда было видно, что это «новенькие» — люди не имеющие понятия, куда и зачем их везут. Они еще имели все достойный и перепуганный вид — эта процессия с того света. Шли патриции и сенаторы, раввины в меховых шапках, адвокаты и банкиры, величественные пузачи, евреи и не-евреи, в неописуемых пальто, шубах, шляпах, а за ними несли и везли смехотворные сундуки, щегольские кожаные чемоданы, как будто они выехали на курорт в Ривьеру. Их по-

явление сопровождалось сенсацией — охрана и урки, толпы зэ-ка смотрели на них и передавали из уст в уста: «Литовцы приехали! несметные богачи! еще таких не было! вон тот, с бородой, министр!» — Мы смотрели на холеные бороды, на золотые пенснэ, на гору багажа, и представляли себе, что со всем этим будет завтра, когда их погонят в этап, пешком, за сотни километров. Какую надо было иметь детскую наивность, чтобы в таком виде явиться в Подпорожье!..

Позднее дошла до нас весть, что только немногие из этих людей выдержали лагерь. Голландские и бельгийские евреи, которых везли в газовые камеры Освенцима пассажирскими поездами, вероятно, выглядели так же, как эти литовцы. В Освенциме кончалась их мука в первый же день приезда. Этих ждали годы в лагере. Чья смерть была легче — кто знает?..

И мы тронулись в путь.

В партии было человек 800. Половина — западники. Люди из 48-го квадрата перемешались с зэ-ка из других пунктов и отделений. Мы шли в двух колоннах, между которыми был промежуток в 100-200 метров, пятеро в ряд. Впереди — комендант этапа, офицер НКВД в порыжелой шинелишке, на котором лежала ответственность за наш ночлег и кормежку. По бокам и сзади — конвойные с ружьями наперевес, человек 12. Сзади тащилась телега для больных. Она скоро отстала и только на главных стоянках мы ее видели по временам. Иногда давали нам подводу на вещи, но мы до последней минуты не знали, будет ли подвода. Когда раздавалась команда: «подымайся!», а подводы не было — начиналась паника. Тогда одни бросали свои вещи, а другие подымали на плечи свои узлы и чемоданы, чтобы бросить их через час или два, или несли попеременно, уступая за это часть вещей. Вещи, погруженные на подводу, были наполовину потеряны. По прибытии на стоянку их выбрасывали на дорогу и подвода, взятая на один день из колхоза, уезжала обратно. Зэ-ка разбирали свои пожитки, при этом одни не находили своих вещей, а другие находили раскрытые чемода-

ны и развязанные узлы. Через неделю люди шли налегке. Багаж растаял, дорога за нами была усеяна брошенными бушлатами и деревянными арестантскими сундучками.

Мы шли на восток. Мы были частью советского пейзажа или русской древней традиции. Мы шли громадой, как сто лет до нас шли во времена Николая I, и спрашивали себя, как это возможно, чтобы такое обращение в рабство сотен тысяч иностранцев и миллионов собственных граждан не вызывало ни протеста, ни противодействия заграницей, как будто мы попали в руки дикарей в Центральной Африке, или торговцев рабами в 17-ом веке.

Мы шли по 30-40 километров в день, через леса и равнины, города и деревни, по редко-населенной местности, где не было железных дорог, и где, должно быть, со времен Васьки Буслаева не было войны. Эта местность никогда не видела ни иноземных войск, ни иностранцев-приезжих. Мы шли через деревни Карело-Финии. Нескладно-высокие карельские избы стояли на холмах. Это были первые недели войны, и проходя мы иногда замечали редкие плакаты с обращением к населению. Деревни казались вымершими. Ребятишки, женщины и старики копошились у избенок, и редко-редко можно было увидеть мужчину. Босой оборванный колхозник выглядел так, как будто он сбежал из наших рядов. Пустынные карельские колхозы являли образ запустения и разорения, как после пожара или погрома. Много было разрушенных, необитаемых домов, где окна и двери были забиты досками. Заборов между избенками не было. Мы останавливались не доходя деревни, или за деревней, — и сейчас же начинали шнырять вокруг нас ребятишки. Конвойные не подпускали к нам никого, но иногда мы получали разрешение купить еды. Тогда оказывалось, что крестьяне не принимают денег за продукты. Они предлагали нам яйца и молоко — единственное, что у них было — за хлеб. Крестьяне выходили на дорогу просить хлеба у арестантов! Они знали, что мы получаем 500 гр. хлеба ежеднев-

но: этапный паек. За этот хлеб они предлагали нам яйца и молоко. Не надо было расспрашивать, как им живется. Достаточно было пройти через десяток деревень, чтобы получить картину такой черной и горькой нищеты, какая была возможна разве только во времена московского средневековья. Мы не спрашивали себя, куда девался их хлеб, плод тяжкого и подневольного труда. Их хлеб раздавали нам каждое утро — и этот хлеб в руках государства превращался в условие поддержания политического и военного аппарата **Диктатуры.**

На сотни километров однообразное зрелище человеческой нужды, беды и горя. Мы скоро вышли из Карелии, и смешные домики-надстройки сменились русскими избами с попытками украшений: то резные ставни, то резной карниз. Мы были в Архангельской области. Кто-то имел лишнее время на эти украшения, которые остались на память от прошлых времен. Они находились в смешном и жалком контрасте с покосившимися стенами и провалившимися крышами.

Мы прошли город Пудож: глухие местечковые улички, одноэтажные деревянные домики, немощенные улицы, отсутствие лавок. Вывеска: «склад промкооперации»... и знакомая картина: запертая дверь и терпеливая очередь баб и мальчишек с бутылками на керосин. Молодая женщина прошла мимо нас, должно быть, учительница и член партии: миловидное славянское лицо, свежевымытые розовые щеки. Светлая кофточка, городские туфли, косы уложены кольцом... Покосилась на пылящую толпу, на конвойных, и на секунду наши глаза встретились. Идет в строю странный человек, в очках, с явно-нерусским лицом интеллигента. «Заключенный». Отвернулась, упрямо сжала губы, точно зуб заболел: уж очень много сразу, пусть уж пройдут, наконец. А я вспомнил «14-ое Пудожское отделение ББК». В этом городишке находится отделение лагерей ББК, да еще какое: четырнадцатое!

Мы шли. Был июль, лучшее время северного лета. Нас подымали до рассвета, чтобы использовать

для марша прохладу ранних часов. Лучше всего было идти до 10 часов. Когда начиналась жара, мы обливались потом и изнемогали под тяжестью своей клади. Мы шли до заката солнца — до 6 часов. Потом мы делали привал на опушке леса или на лугу под открытым небом. Иногда загоняли нас в старые сараи, где крыша протекала во время дождя. Одну ночь я спал на чердаке полуразрушенного дома, в пыли и курином помете. Комары облепили нас густой тучей. Ночью я поднялся, не находя себе места, ходил по чердаку среди спящих тел как привидение, спустился по шатким ступеням вниз — всюду лежали десятки тел, не раздеваясь, и только обувь стояла у каждого в головах. — Комары доводили нас до неистовства. Кровь струилась по лицу, и руки были у нас замазаны кровью. Мы шли через архангельские леса, по тенистым тропам, и ландыши цвели под нашими ногами — я никогда не видел столько ландышей.

Мы редко встречали людей. Иногда проезжала телега, мужик хмуро поглядывал на нас из-под картуза. В соломе на возу сидела, поджав ноги, крестьянская девочка в платке, бледненькая, или стояла какая-нибудь важная бочка государственного предназначения. Иногда обгонял нас грузовик, полный домашнего скарба, кроватей, столов, и загруженный женщинами и детьми — это уже была эвакуация гражданского населения из прифронтовой полосы. Арестанты уступали дорогу — сходили на край, пока грузовик проскакивал мимо, трясясь на ухабах. Иногда гнали мимо колхозные стада. Худые коровы позванивали колокольцами, как в Тироле. В продолжение всего этапа мелодический звон колокольчиков сопровождал нас. А колокольчики у коров были все одинаковые — большие и неуклюжие, стандартной продукции — должно быть, с одной фабрики на весь Советский Союз, — и одинаково звенели здесь и на Алтае в ушах этапных, шедших долгими днями из лагерей в лагеря.

Мы шли по 12 часов в день, от 6 до 6, а иногда еще раньше начинали свой марш. Ночью было вар-

варски-холодно. У меня уже не было одеяла. Я лежал на влажной, сырой земле, сырость входила в тело, ноги ломило, я дрожал от холода и натягивал бушлат то на грудь и лицо, чтобы спастись от комаров, то на мерзнувшие ноги. Спали скверно и мало, маялись, а на заре, когда бледные звезды еще стояли над полем, полным лежащих тел, кто-то садился, и сразу кричал ему конвойный с края поля: «Ложись сию минуту!»

— Оправиться, стрелочек!

— Никуда не пойдешь! — Наконец, по сигналу вся громада подымалась. Не было много времени. Если была близко вода, ручей или лужица — умывались из горсти. Потом длинные ряды выстраивались за хлебом. Раздавали полкило хлеба, черпак баланды. Зэ-ка съедали хлеб мгновенно. Но я себе оставлял половину на полдень. Остальные до вечера ничего не ели.

И вот команда — «Стройся!» — и первые ряды уже выходят на дорогу. Месили глубокую черную грязь, подымали облака пыли, шли вверх и вниз, по горам и долам, мерно и тихо покачиваясь, молчаливо потупясь в землю. Только станет шумно в строю: «прекратить разговоры!» — Я шел в бушлате и старых ватных брюках, оттягивая руками лямки оседающего на крестец рюкзака, и то и дело встряхивался, подымая ношу на плечи. В руке чемоданчик, который каждый километр перекладывал из руки в руку. Вдоль тракта дорожные столбы отмечали пройденные километры. Сразу в дырявые, с отстающей подошвой, башмаки набивалась земля и камешки. Ходить становилось больно, и надо было на ходу вычистить, что набилось. И уже хромал кто-то, и отставали подростки и больные. Худое тело настораживалось, собиралось: вот эти ноги, эти плечи, сердце, легкие — твой единственный союзник. Не подведут, выдержат, вынесут сегодня, как вынесли вчера! Что могут другие, и ты можешь! Когда 5 километров осталось позади, чемодан становился свинцовым. О рюкзаке уже не думалось, как будто его не было вовсе. Все вни-

мание — чемодану. Рука не успевает отдохнуть. Перекладывать приходится все чаще, продевая руку под веревку, которой опутан чемодан.

Каждые 8-10 километров мы отдыхали. Это зависело от воды. Дойдя до воды — ручья или речки — устраивали привал. Когда воды не было — шли лишние километры. Наступал момент, когда больше не было сил. Саднило плечи, спотыкались ноги, липким потом заливало тело, и руки сводило судорогой боли. И только движение колонны несло еще вперед комок человеческой слизи — по инерции. Теперь уже скоро: еще 10 минут, еще четверть часа. И вот издалека уже видно: речка под горой, кусты, ракиты. И первая колонна уже лежит, как серая гусеница, с краю дороги. Команда: «Ложись, отдыхай!».

Сотни людей валились на землю в упряжи рюкзаков, не снимая, чтобы потом не тратить времени на закладывание. Когда мешок перестает тянуть плечи вниз — он превращается в упор. Тело благодарно прислоняется к нему. Наступает минута такого блаженного полного телесного облегчения, точно мы расстались с плотью и живыми вступили в небо. Глаза закрываются, руки опадают. Получасовый отдых течет, как плавная и медленная прохладная река. Кругом звенят котелки. Набирают много, пьют по очереди, передавая из рук в руки. Иногда кажется, что стрелки забыли о времени. Конвоиры сидят в стороне от арестантов. Они идут как мы, и устают как мы — они только не так голодны...

— «Подымайся!» — и сразу проходит движение по скошенному человеческому полю. За эти несколько минут многие успели заснуть, но сон их чуткий — только тронь плечо, и уже торопливо подымаются.

Теперь нет и мысли об усталости: впереди 2 или 3 часа марша. Солнце жжет. Чтобы легче было ходить, мы думали о чем-нибудь другом. Думали о еде. Чувство голода, которое дурманило нас вместе с июльским зноем и дорожной пылью — было не личное, а коллективное, всеобщее чувство зэ-ка. Мы шли в облаке голода. Все было в нас распалено, растревоже-

но, натянуто как струна. Я тайно торжествовал: в рюкзаке было у меня 200 грамм хлеба, недоеденных утром...

Через 2 часа я буду есть. Кто писал о голоде? Гамсун... «Илайяли»... Как это смешно, литературно... Что за голод может быть в городе, где все кругом сыты, где столько разной еды и витрины полны всякого добра? Это поза, голод от гордости... В каждой помойке столько съедобного, только нагнись... Город полон запаха хлеба, который не входит в равнодушные ноздри. Город полон непомерных, расточенных, незамеченных богатств, там на базарах люди ступают по еде, топчут ее, собаки и птицы не успевают подобрать остатков. ...Столбик на баллюстраде... Я шел, как пьяный. На приморском бульваре Тель-Авива, на столбике баллюстрады, ребенок, по дороге в школу, оставил кусок белой булки, недоеденный кусок с вишневым вареньем. Ранним утром, сходя купаться к морю, я увидел этот кусок булки. Белый с вишневым — красочное пятно, больше ничего. Мне и в голову не пришло, что это можно съесть. Вечером я был на том же месте. Прошел долгий летний счастливый полный день в том городе, где столько людей счастливы до того, что уже не ощущают своего счастья. Тысячи людей прошли мимо столбика, и все еще лежал утренний кусочек белой булки с вишневым вареньем — нетронутый. Птицы не расклевали его, и голодных не было в том городе. ...Илайяли... Витрины магазинов полны света, звенят трамваи... Здесь голод в пустыне, голод в дороге, арестантский голод. Ничего нет, и не будет. Видеть еду — уже половина сытости. Разве это голод — не иметь денег купить? Разве это голод — стыдиться попросить?.. «Илайяли»...

И вдруг, вместо Илайяли, я увидел мысленно то, от чего у меня подкосились ноги и перехватило горло: кусок пеклеванного хлеба.

Хлеб свежий до того, что не режется ножом; по другой стороне он весь в белой муке, и мука осыпается на пальцы; лакированная гладкая золотистая кор-

ка потрескалась. Надо было намазать этот душистый огромный кусок хлеба медом. Но я не успел. Руки задрожали у меня от жадности. Мед был на столе под рукой. Но я не стал его брать...

Полный рот хлеба! Я шел с рюкзаком, открыв пересохший рот как рыба...

На горизонте встала церковка с зеленым куполом. Издалека она имела вид достойный и мирный, но когда через час, наконец, брели по деревенской улице мимо — мы увидели: руина без креста, двери сорваны с петель, окна выбиты.

Нет, меня нельзя было повалить! Когда уже спекшиеся губы почернели, и стал валиться из рук свинцовый груз, я позвал на помощь. И в эту каторжную толпу вступила белая фигура, которую только мои глаза видели. Я посторонился, давая место, и поднял голову. Мы шли вдвоем, шли рядом, как всю жизнь. Как я был силен! Это не был бред, это была правда! Тысячи километров разделяли нас, но я их зачеркнул в эту минуту. Я разговаривал с кем-то, повернув голову и улыбаясь. Я старался не показать, как мне трудно, чтобы не испугать светлой тени, идущей рядом.

— «Видишь, какие дела! — сказал я. — Но это пустяки. Не тревожься, я дойду».

И я ободрился до того, что наклонился и поднял с земли синий суконный армяк. Это было хорошее полупальто Кунина — того Кунина, который выписывал в конторе 48-го квадрата котловые ордера. Теперь он шел впереди меня, и это полупальто он бросил только что в пыль дороги. Я поднял его и перебросил через руку. Люди в ряду удивленно покосились на меня.

— Донесу! А ночью будет чем покрыться...

Однако, на следующий день я отдал нести мой чемодан Мету, который шел в первых рядах, веселый, осклабленный и более здоровый, чем когда-либо. За один день носки я дал ему пару обуви, которая еще была у меня. Зато целый день я шел налегке, с одним рюкзаком и синим полупальто через руку. Те-

перь, когда не было чемодана, я больше чувствовал тяжесть на спине.

На пятый или шестой день марша мы пришли к берегам большого озера. Здесь мы провели блаженный день. Озеро дремало во всей ширине своей, противоположный берег чуть был виден в дымке, на песчаных отмелях лежали тысячи людей. Здесь встретилось несколько арестантских этапов. На месте, где мы расположились, следы вчерашних костров показывали, что мы здесь были не первые. С утра мы купались, и среди плеска и возни чувствовали себя, как на пляже. Потом сушились на солнце и спали. Проснувшись, я констатировал, что у меня во время сна сняли очки с носа. Это сразу и очень резко изменило мою жизненную ситуацию. Я не сразу понял, как же мне теперь жить. Без очков я ничего не вижу. Я пошел к этапному начальнику просить, чтобы меня посадили на телегу к больным. Но мест не было и, когда ряды двинулись, я сделал открытие, что можно идти не видя. Люди и предметы слились в туманное облако, земля под ногами клубилась, но страдать пришлось мне недолго. На второй день я откупил свои очки у вора за полотенце и пару носков. В ту минуту, когда у их одевал, я был счастлив и вполне примирен с жизнью.

Вечером 7-го дня открылся пред нами древний город архангельского севера, Каргополь, во всей красе своих куполов и колоколен, пятиглавого собора и белостенных монастырей. Город в лучах заходящего солнца сиял и горел, как видение летописного прошлого. Мы ночевали недалеко от города. И здесь, как на озерном берегу, тысячи арестантов лежали на смежных полях, отделенных вооруженной стражей. Мы могли двигаться только на отведенном нам участке поля. Шум стоял над полем точно это была цыганская ярмарка. Я не мог отвести глаз от панорамы города. Пока я глазел, совершилось неизбежное, и у меня украли мой чемодан. Я нашел его раскрытым и пустым, метрах в 50, в сторонке. Белье, верхние рубашки и прочие богатства из Пинска исчезли. Теперь

уже можно было не бояться долгого этапа. Воров искать было не долго. Кампания урок невдалеке делила мои вещи. Я вступил с ними в переговоры, в результате которых один из них великодушным жестом бросил мне фотографию в рамке, — единственное, что им не было нужно из моих вещей. Я еще попробовал выпросить на смену одну рубаху. — «Иди-иди, — сказал, угрожающе приподымаясь, лупоглазый рябой парень, на котором в обтяжку сидел мой свитер, — а то по голове стукну». Я еще пошел пожаловаться стрелку, что было уже совсем глупо. Конвойный ходил взад и вперед по окраине поля и даже не подпустил меня к себе близко. Выслушав в чем дело, он махнул рукой: «Не мое это дело». Конвой отвечал пред властью за число зэ-ка́, а не за их собственность. Удивительно было не то, что украли, а то, что я дотащил свой чемодан до самого Каргополя.

Под стенами летописного града Каргополя отобрали из наших рядов всех больных и неспособных продолжать работу, и здесь я расстался с одним из братьев Куниных, с которыми сидел вместе с первого дня в пинской тюрьме. Старшего Кунина положили в Каргопольский лагерный гооспиталь, где он и закончил свою жизнь. Младший, от которого я унаследовал синий суконный армяк, умер, уже по освобождении из лагеря где-то в Центральной Азии. Так в общий итог шести миллионов еврейских жертв войны входят жертвы немецких и советских лагерей.

Город Каргополь, чего мы тогда не знали, был центром Каргопольлага, и в значительной мере жил на счет армии рабов, сосредоточенной в предприятиях и лагпунктах окрестности. Однако, в связи с войной совершился перевод правления Каргопольлага в Ерцево по Северной ж. д., и нам предстояло продолжать путь до Ерцева.

Утром следующего дня провели нас по улицам Каргополя. Вблизи город оказался, как Пудож, разоренным и бедным захолустьем, с ветхими деревянными домиками, улицей Ленина и жалким сквериком, где босые ребятишки играли в городки. Мы пропылили

по улице Ленина, сопровождаемые скучающими взглядами каргопольских граждан, с которыми я бы не хотел поменяться, даже идя в арестантском строю, — и вышли на пристань.

В сумерки, после многочасового стояния в очереди, нас погрузили на пароход, и мы поплыли вниз по реке. Мы лежали на покатом помосте, вытянувшись, и отдыхали. Хорошо было ночью лежать на спине, закинув руки, и глядеть в беззвездное темное небо. Хорошо было днем под солнцем следить с помоста, как проплывали низкие берега и зеленые росистые луга. Мы чувствовали себя туристами — это была наша настоящая «поездка в неизвестность». За нами было уже 10 дней марша.

Часу во втором следующего дня пароходик неожиданно причалил в открытом поле к песчаному низкому берегу, и мы снова, к великому своему разочарованию, двинулись пешком. Снова открылся размытый тракт с глубокими колеями, и пошли мелькать дорожные столбы и редкие деревеньки с заколоченными домами мобилизованных и высланных. В предпоследний день нам предстояло пройти 40 километров, но мы заблудились и прошли 7 километров в сторону, а потом те же 7 километров обратно. Таким образом, рекорд нашего этапа составил 54 километра в один день.

Было утро, росистое июльское утро со щебетом и порханием птиц, со стуком дятла в лесной чаще, когда мы дошли до сторожки в лесу, где нас дожидались уже какие-то вольные, очень делового вида, в кепках. Стрелки, увидев их, повеселели, и мы поняли, что наш этап кончается. Нас повернули в глубину леса, и мы пошли спотыкаясь по деревянному настилу. Кукушка накуковала мне 120 лет жизни, так что я и считать бросил. Пахло смолой и где-то близко чувствовалось рабочее место. Мы шатались от усталости, но бодрились, понимая, что это последнее усилие. За нами было 500 километров дороги. Лес кончился, — и мы вышли на широкое двойное полотно железной дороги.

Не узкоколейка, как над Онегой, а магистраль, благоустроенная и прямая, как стрела. Мы шли вразброд по шпалам — и вот открылась справа картина большого лагпункта. За оградой колючей проволоки стояли бараки, по углам сторожевые вышки, широкая дорога к вахте, и по обе стороны ее — много зданий «за зоной». До вахты мы не дошли. Нас оставили на конец дня и ночевку за зоной в открытом поле. Это было Ерцево, по Сев. ж. д., центр Каргопольских лагерей.

По случаю окончания этапа я вынул со дна мешка заветное сокровище — остаток из посылок матери — советский «лапшовник», продукции Одесского консервного завода. Я вскипятил кружку воды на углях костра, растолок камнем прессованную плитку и всыпал ее в кипяток. Через 15 минут каша поспела. В последний раз — на долгие годы — я съел нелагерную еду и заснул сытый у затухающих углей.

На утро нас погрузили на платформы, и через 40 минут мы прибыли к месту. Колонна человек в 300 выгрузилась на переезде, за которым тянулась широкая улица. Мы шли, осматривая домишки с обеих сторон.

— Далеко идти, гражданин начальник?

— Двадцать шесть километров, — ответил этапный офицер, делая грозное лицо.

Мы повздыхали, подтянули лямки мешков и приготовились шагать до вечера. Но не успели пройти и 100 метров, как слева вырос высокий забор, знакомые ворота с надписью «Да здравствует мудрая сталинская политика!» и раздалась зычная команда: «Стой»

Мы прибыли на место.

14. АМНИСТИЯ

Сангородок Круглица занимал площадь около трех гектаров. Внутри ограды был использован каждый квадратный метр. Не было гнилого болота, не валялись неубранные пни, как на 48-ом квадрате.

Вдоль бараков были проложены деревянные мостки. Под окошками кухни, где выдавали пищу, был устроен навес, чтоб не мокнуть ожидающим под дождем. А когда мы увидели перед стационарным бараком клумбу с цветами и скамью, нам показалось, что мы в санатории. Для довершения эффекта карцер был вынесен за ограду и не мозолил глаз заключенным.

Сангородок Круглица — санитарный городок — и был своего рода санаторием. Здесь находился медицинский центр ерцевских лагерей. Было тут два легочных барака, хирургический, несколько обыкновенных стационаров, аптека, зубоврачебный кабинет и рентген. Всего находилось тут человек 300-350 больных и столько же обслуги и рабочих. Не только госпитальные, но и рабочие бараки были электрофицированы и радиофицированы. При вахте, где производилась поверка, находился на открытом воздухе громкоговоритель. Слева от вахты была открытая площадка со скамьями и сценой-раковиной, как для оркестра в городском саду. Здесь устраивались летом киносеансы и выступления.

За оградой лагеря тянулся ряд домиков — поселок Круглица. Там жило человек 300 вольных. Все они кормились при заключенных, работая — кто в администрации, кто в Санчасти, кто в охране. Справа от вахты к переезду расположены были в поселке лагерные «центральные технически-ремонтные мастерские», окрашенно называемые ЦТРМ — «цэтерэ́м». Тут стояли токарные станки, чинились тракторы и сельскохозяйственные машины. Бригада заключенных металлистов человек в 40 работала там; было и конструкторское бюро, и своя электростанция. — Еще дальше, при полотне жел. дороги находилась нефтебаза, торчали высокие цилиндры, резервуары, покрашенные в черный и красный цвет. — Слева от вахты по улице поселка был огороженный скотный двор, тоже принадлежавший лагерю: конюшня, свинарник и около 30 коров.

Пройдя улицу поселка, где 10 месяцев в году бы-

ла непролазная грязь, мы через 5 минут доходили до «сельхоза». За оградой был обширный огород и парники под рамами, где выращивали помидоры и табак-самосад. В военные годы, когда не стало украинской махорки, этот «самосад» был единственным куревом на всю округу. Помидоры у нас не дозревали. Их солили и употребляли на лагерной кухне зелеными. До 60 гектаров было занято луком, морковью, капустой, турнепсом (кормовой репой, которой кормили заключенных), но, главным образом, картошкой. В дальнем углу сельхоза была хибарка, где заключенная птичница Анисья держала белых кур. Куры несли яйца, но, конечно, не для заключенных. В Круглице зэ-ка́ состояли при коровах и свиньях, но не владели ими. Только самый незначительный процент всей сельскохозяйственной продукции предоставлялся для нужд лагеря. Остальное забирало государство.

В этом прекрасном лагпункте, где не было лесоповала и тяжелых работ, я провел три года своей жизни. Это было большой удачей. Немногим из западников удалось задержаться в Сангородке.

Нас пригнали сюда не на житье, а для медицинского освидетельствования и распределения по рабочим лагпунктам. Комиссия отобрала людей, нуждавшихся в поправке, в слабкоманду, а остальные в два дня были выведены из Круглицы.

На второй день я пошел в Санчасть. Маленький домик Санчасти находился при вахте налево. Три ступеньки, сенцы и ожидалка, откуда 4 двери вели в 4 крошечные комнатки: зубоврачебный кабинет, канцелярия и две амбулаторные приемные. Все очень бедно, но чисто. В ожидалке боченок с питьевой водой прикрыт доской, скамья для ожидающих и радиоприемник.

Я пожаловался на крайнюю слабость и сильные боли при дыхании. В движениях врача была стремительность, в глазах какие-то необычные боевые искорки, акцент — явно польский. Это был молодой варшавский хирург, д-р Шпицнагель. Не долго думая, он постановил направить меня в туберкулезный ста-

ционар. Начальница Санчасти сидела рядом, подозрительно посмотрела на нас обоих, но промолчала. Я вышел, ошеломленный своей удачей. А вдруг в самом деле — туберкулез в зачатке? Это дало бы мне возможность задержаться в Сангородке надолго, может быть, на месяцы... Дальше, чем на месяцы, мое воображение не простиралось. Обстановка в стационаре превзошла все мои ожидания. Я лежал в длинной белой палате на чистой койке. У меня была тумбочка у кровати, пара туфель и халат. Правда, войлочные туфли и халат были общие и странствовали от больного к больному, но даже спрашивать — «где туфли?» — было приятно. Мне принесли кружку, ложку и полотенце. Кормили нас три раза в день. Я был потрясен, когда принесли мне в обед немного жареной картошки и настоящую мясную котлетку... Я забыл про голод и был просто взволнован человеческой стороной этого отношения к больным. В лесу у нас не было обедов, а жареной картошки я не видел уже год... О, счастье быть легочным больным! Ради этого стоило пройти сотни километров этапа...

Соседа моего звали Иван Николаевич. Это был высохший, как щепка, угрюмый и желчный конторский служащий. Он пристально рассмотрел меня, узнал во мне еврея и сразу нахмурился. Это не поразило меня. Я так переживал великолепие стационара, что готов был обнять всех антисемитов Сов. Союза. — На следующее утро Иван Николаевич долго приглядывался к моей постели. Одеяло было сложено неровно.—«Еврейская натура!»—тихо, но явственно произнес Иван Николаевич. Он непримиримо и немедленно с первого взгляда возненавидел меня, мою наружность, слова, движения и даже книгу и очки, которые лежали на тумбочке. Иван Николаевич был старый лагерник, досиживал 8-ой год и через короткое время готовился выйти на свободу. Чахотка и воля наперегонку играли его жизнью. Пришло время, полгода спустя, когда я спросил: «а где же Иван Николаевич? не видать его...» и мне сказали «не знаете разве? — на освобождение пошел»... и я представил себе

Ивана Николаевича на свободе — с зарядом антисемитизма, ненависти и горечи, глубоко упрятанных в сердце, с чахоточным кашлем и горбом восьми лагерных лет — одного из миллионной массы советских Иван Николаевичей.

На второй же день, к ужасу моему, у меня прошла боль в груди. Я вздыхал на все лады — не болит! Хорошо в госпитале, если бы не врачи! Туберкулезным госпиталем заведывала Валентина Васильевна, пухленькая и милая особочка, большеглазая, с вишневыми губками, и именно ее я должен был бояться: главврач, да еще и вольная!! Валентина Васильевна велела отправить меня на рентген, и мое самозванство разоблачилось. Через три дня изгнали меня из рая. Иван Николаевич торжествовал и посмеивался. Ничего у меня не оказалось, кроме простого растяжения мускула на груди...

Шпицнагель ухмыльнулся, увидев меня снова в арестантском бушлате.

— Я знал, что у вас ничего опасного, но тем временем ваш этап уже отправлен из Круглицы, а вы остались. Теперь выпишем вам на две недели слабкоманду.

«Слабкоманда» заключалась в том, что мы выходили на работу через день, мало работали, и еще меньше ели.

В свободные дни я ходил по лагерю, заходил в контору, к нарядчику, предлагал свои услуги: не надо ли чего посчитать, пописать. Круглицкие бараки были большие, каждый человек на 100 и больше. Когда проходил этап вроде нашего, бараки переполнялись, люди спали на полу и на скамьях. Потом снова было просторно. При входе в каждом бараке было отгорожено место. Там за досчатой перегородкой помещались «знатные люди» данного барака: помощник нарядчика, комендант и т. п. лица. В бараке тянулись в два ряда двухъярусные нары, потемневшие от грязи, полные клопов, посреди был некрашенный стол и пара скамей. За перегородкой зато нары были чисто застелены (у обыкновенных зэ-ка

постели не было), чистая посуда стояла на плите сбоку, и людям из барака запрещалось заходить туда без дела.

В одной из таких коморок я переписывал сводки для помощника нарядчика и надеялся, что при этой работе удастся мне задержаться. Но вышло иначе.

В конце июля вывешен был на доске КВЧасти нумер «Правды Севера» с известием о заключении польско-советского договора: амнистия заключенным полякам! Первое следствие войны, новый курс! Мы пережили дни подъема и счастья, ходили в блаженном тумане, возбужденные и гордые. Итак, ошиблись те, кто пророчествовал полякам смерть на чужбине! Мы были правы, когда год тому назад смеялись, расписываясь в получении 3 и 5 летних приговоров и отказывались брать их всерьез. В Москве слишком поторопились стереть Польшу с географической карты.

Захватив Польшу, Гитлер превратил ее в «Генерал-губернаторство», но не называл ее Германией. Советская власть пошла дальше. На советских картах того времени не было Польши, а была, на запад от Буга и Сана, «Область государственных интересов Германии». В лагере из этих 4 слов оставалось только одно. При опросе польских зэ-ка писали место рождения Варшава, в скобках Германия. Июль 1941 года был месяцем отступления Красной Армии и месяцем перелицовки этой мудрой сталинской политики. Вчерашние союзники стали врагами, враги — союзниками. Неописуемо было отчаяние тех поляков, которые малодушно выдали себя в лагере за белоруссов и даже немцев. А мы, польские граждане, торжествовали и готовились выйти на волю.

Нам казалось, что «амнистия» — дело нескольких дней: сказано, сделано. Раз люди амнистированы, надо отпустить их. Слово «амнистия» означало, что надо раскрутить мясорубку и вынуть оттуда человеческое мясо, предназначенное на перемол. Словом «амнистия» вежливо назывался акт возвращения захваченной человеческой добычи. Возвращали нам

звание и достоинство человека. Страшное нетерпение овладело массами поляков и польских евреев.

Еще вчера лагерные власти третировали нас как рабочий скот. Теперь мы были — гости в лагере. Советские зэ-ка смотрели на нас с чувством зависти и горечи. «Поляки подняли голову», — говорили, криво усмехаясь, зэ-ка. Нам, поднявшим голову, было неловко смотреть на людей, лишенных надежды.

С первого дня, когда я прочитал сообщение об амнистии, я находился в состоянии лихорадочного ожидания. Мысль о том, что меня могут исключить из амнистии, просто не пришла мне в голову. Не знаю, был ли еще хоть один среди западников, кто бы с таким страстным нетерпением дожидался воли. Я уже видел себя в форме польской армии, представлял себе части польских евреев, сражающихся в первой линии, благодарил судьбу, которая, наконец, давала мне возможность принять участие в войне с Гитлером. Никогда еще я не переживал так остро нелепость и унизительность моей вынужденной пассивности.

Неделя за неделей проходили, а мы все сидели. Наконец, в конце августа, первая небольшая группа поляков была отправлена на волю. Для меня было жестоким разочарованием, что я не попал в эту группу. Среди отправленных был Корень — польский офицер-еврей, из белостокской промышленной семьи, окончивший школу подхорунжих в Вильне. Этот человек был комендантом одного из окрестных лагпунктов, и в этой должности «переусердствовал» — возбудил против себя ненависть польских зэ-ка. Ему грозили: «Погоди, когда-нибудь в Польше сведем с тобой счеты». Не успел тронуться эшелон с поляками из Ерцева, как над Коренем учинили расправу. Его избили до смерти, труп выбросили из вагона.

1 сентября всех поляков Круглицы вывели за вахту... Вместо освобождения произошло нечто неожиданное: всех нас перевели в «штрафной» лагерь Осиновку, километров в 15 за Круглицей.

Первый день в Осиновке я работал в качестве водоноса.

Очень хорошо помню угрюмый и облачный день северной осени. Утром дали мне два деревянных тяжелых ушата. От лагерного колодца, где я набирал воду ведром на веревке, до кипятилки, куда я тащил ее, было метров 200. Я снес всего 35 пар ведер. Таким образом, я прошел 7 километров с полными ушатами и 7 километров с пустыми. По дороге я взбирался на бревенчатый настил, переходил канаву, а дальше начиналась сплошная грязь, где я пробирался по проложенным доскам, прыгал с кирпича на кирпич, а в некоторых местах останавливался, чтобы сообразить — как здесь пробраться? В течение дня мои ватные брюки — те самые, в которых я вышел из 48-го квадрата, — и бушлат промокли насквозь.

Медленно продвигаясь, чтобы не расплескать воду, останавливаясь раза два по дороге, я вспоминал старого пинского водоноса, по имени Гершл. Это был еврей, который в течение ряда лет каждое утро приносил на кухню моей матери два ведра воды. Гершл, всклокоченный, с сизым щетинистым подбородком, красными глазами, красным носом, худой и тощий как огородное пугало, казался мне олицетворением еврейской нищеты. Я смотрел на него с чувством вины и брезгливой жалости, не предчувствуя, что придет время, когда я буду ему завидовать. Теперь Гершл представился мне в новом свете. Я делал теперь его работу. Мои лохмотья были много хуже его одежды. На ногах моих были опорки, пропускавшие воду. Онучами служили мне грязные мокрые тряпки. Лагерные ушаты были много тяжелее ведер моей матери. Гершл получал за пару ведер десять грошей. Эти гроши казались мне тогда подаянием нищему. Теперь, медленно колыша свои ушаты, я забавлялся тем, что подсчитывал, сколько бы я заработал, если бы мне платили как пинскому водоносу.

Десять пар ведер! — И вот я уже заработал один злотый. Что купить за эти деньги?

Во-первых, я купил бы целое кило хлеба. Кило

хлеба стоило в Пинске 15 грошей. Потом я купил бы 10 яиц. Это бы стоило 50 грошей. За остальные 35 грошей я бы купил 200 грамм сала. Какую исполинскую яичницу я бы соорудил из всего этого!

От одной мысли о яичнице я ускорял шаг, и ушаты бились о мои колени, а вода плескала через край, обливая ноги.

Но одного злотого мало. Надо принести еще 10 пар ведер воды! За второй злотый я бы купил сахару полкило и десятку чаю. Потом еще литр молока за 15 грошей. И у меня бы еще осталось на кило крупы!

Я считал, считал, и от 35 пар ведер воды у меня еще оставалась масса денег. Теперь я понимал, что Гершл мог прокормить не только себя, но и жену с ребенком. Этих денег хватало на мясо и на рыбу к субботе! Этот Гершл был богачом по сравнению со мною! И вдобавок он имел это возвышенное, божественное право шваркнуть к чортовой матери оба ведра, в любой момент, когда ему это захотелось! Я был лишен этого права, и все, что мне давали в лагере при 100% нормы, были 700 грамм хлеба — т. е. в лучшем случае — это составляло в польской валюте 39-го года — 30 грошей. Шесть ведер! А я снес 35!

В 5 часов комендант разрешил мне кончить работу. Я отнес ушаты в кипятилку и отправился в барак отдыхать. До прихода бригад оставалось еще 2 часа. Замечательная работа! Охотно я бы остался работать водоносом, но для этого не было у меня достаточной протекции... Впрочем, это были последние дни в лагере! Не стоило и стараться особенно...

На следующий день приписали меня к русской сенокосной бригаде. Опять удача! Эта бригада, после напряженной летней работы, «кантовалась» в сентябре, т. е. с ведома начальства делала вид, что работала, подбирала по лугам неубранное сено, докашивала огрехи. По старой памяти писали всем по 125%, и мы получали «ударный» котел. За добавку к еде вычитали из «заработка», так что мое «премвознаграждение» за «ударный» сентябрь составило ровно 3 рубля 25

копеек. На рассвете мы уходили, забирались в туманные топкие низины. Никто нами не интересовался. Может быть, это несчастье на фронте так отражалось в отсутствии контроля и в деморализации лагерных верхов? Вяло побродив по мокрым и бурым полянам, перелескам, кучка людей выходила на возвышенность, разводила костер и дремала часов до 11. Над нами на горке, как цепной кобель, сидел конвоир и тоже дремал. Потом мы спохватывались, кто-нибудь говорил, берясь за грабли: «пошли, ребята, что ли?» и мы часа два гребли и снова садились. Перед уходом снова ходили с граблями часа два. Вряд ли делали мы четверть нормы, но вечером бригадир составлял фантастические «рабочие сведения», за которые полагался нам ужин из особого окошечка, «ударный» — с кусочком дельфина или сушеной рыбы.

Время шло, а мы сидели, словно и не было амнистии. Леса под Осиновкой были полны рябины. Алые гроздья рябины раздражали нас своей несъедобностью. Голод не тетка. В конце концов мы начали есть рябину. Всю первую половину сентября моросило. Под дождиком мы собирали мокрые глянцевитые гроздья рябины, обламывали шумящие пламенные суки, сносили охапками к костру и начинали «печь» рябину. Алая гроздь чернела, горячие ягоды лопались, и из них тек горький, терпкий клейкий сок. В таком виде мы потребляли рябину в огромных количествах, забивали пустые желудки и обманывали голод. Тогда уже давало себя чувствовать отсутствие посылок, которые как рукой сняло с начала войны — сказались результаты этапа и предшествовавшего лагерного года — вместе с резким сокращением лагерного питания. Это было только первое сокращение, за которым последовала серия дальнейших. Но уже и тогда «ударный» ужин не был для нас достаточен — и мы засыпали голодные.

Первая половина сентября была расцвечена яркой рябиной, вторая прошла под знаком картошки. Я работал в польской бригаде, где была атмосфера раз-

дражения, ссор, споров и ежедневных конфликтов. Гнездо ос! Эти люди переживали нервный кризис: на волю или с ума сойти. С трудом держал своих людей в порядке бригадир Брандес (Виктор), журналист-варшавянин и пламенный польский патриот. Ум и энергия этого человека сделали его предводителем полуков в Осиновке.

Мы копали картошку тяпками в глубоких черных бороздах. Другие в ящиках сносили ее к бригадиру. Ни разводить огня, ни печь картошки нам не разрешалось. Брандес вступил в переговоры со стрелком. В золе его костра пеклась нелегально казенная картошка, и сам бригадир, оглядываясь во все стороны, подбрасывал по очереди по одной печеной картофелине каждому из своих людей — прямо в развороченную борозду. Съев свою картошку, мы ждали полчаса или час, пока Брандес с оттопыренным карманом своего польского пальтишка не пробегал снова по полю, разделяя «по одной большой или по две маленьких».

... В соседнем поле была капуста. Смельчаки воровали большие белые кочаны и немедленно делили среди людей, т. к. качан должен был быть съеден в мгновение ока. Тогда я сделал открытие, что кролик не глуп, и неважно даже, если мясистые белые листья запачканы землей и лежали в грязи. Момент, когда в кучке столпившихся, притаившихся зэ-ка мелькнуло белое пятно качана и шопотом спрашивают: «у кого ножик, давайте скорее...» — это момент триумфа. В это время из-за изгороди набегают стрелки и люди с перекошенными злыми лицами: заметили... Крики, брань, угрозы... И, наконец, подымают нас и отводят на работу подальше от опасного соседства...

В краже казенной картошки и капусты принимали участие люди, в прошлой своей жизни не погрешившие ни разу против чужой собственности: адвокаты, учителя, судьи. Здесь кража была актом самообороны против открытого насилия над нами государства, воскресившего рабовладение. Не философ-

ствуя, мы знали, что мораль едина и неделима, и законы общежития обязывают жертву не больше, чем они обязывают палача.

В продолжение сентября тревога росла среди поляков в Осиновке. Второй месяц после объявления амнистии шел к концу, а мы продолжали оставаться в заключении. Мы были попрежнему отрезаны от внешнего мира. Мы опасались, что нас пропустят, забудут о нас или сознательно задержат в лагере. Местное начальство ничего не могло ответить на наши запросы — оно само ничего не знало. Мы стали домогаться свидания с представителями Управления в Ерцеве. Но никто не торопился разговаривать с нами. Тогда мы решились организовать демонстрацию протеста.

Это было непросто. Никакие коллективные самочинные выступления в лагере не разрешаются. Сказать «мы» — значит поднять бунт. Когда Виктор Брандес и другие «западники» обращались к начальству, они это делали от своего имени и по своему делу — но сказать «мы» значило взять на себя ответственность за контрреволюционное выступление, ибо в Советском Союзе право организовать массу и говорить от ее имени имеет только «партия» и органы ее власти. Не раз нам рассказывали русские зэ-ка о случаях голодных бунтов и возмущений доведенной до отчаяния массы, которые подавлялись кровью или лишней подачкой хлеба, — но никогда эти взрывы не носили характера организованного политического выступления. Наша затея была опасной новостью: протест против бесправия, против незаконного задержания нас в лагере.

Вечером 28 сентября в большой тайне прошло несколько человек по баракам и отобрало у западников «талоны», выданные с вечера на питание следующего дня. Все без исключения отдали свои талоны. На рассвете 29-го, только пробили подъем, 120 человек собралось в одном бараке. Это было все польское население первой Осиновки. Настроение было у всех торжественное и приподнятое. Как на молитву

перед боем, стали поляки и евреи и пропели старинный хорал: "Kiedy ranne wstają zorze"... Затем отнесли начальнику лагпункта сверток со 120-ю талонами. Мы постановили не принимать пищи и не выходить на работу, пока не добьемся освобождения.

— Поляки бастуют! — разнеслось по лагерю. Если бы русские зэ-ка позволили себе нечто подобное, с ними бы не поцеремонились. Самая дерзость этого выступления свидетельствовала о том, что поляки чувствуют силу за собой. Начальство растерялось. Сперва прибежал нарядчик, на обязанности которого лежит вывод людей на вахту — и оторопел. Попробовал взять силой, выругался, стал грозить — но барак, битком набитый, не боялся его. В барак стали заглядывать любопытные соседи. Наши дневальные не впускали посторонних. Прибежал в страхе инспектор КВЧ с увещаниями: «С ума вы сошли? Не знаете, что полагается за такое дело?» — не слушали и его. Тем временем прошел развод и лагерь опустел. Люди вышли на работу, и только один барак, как новый «Броненосец Потемкин», был полон ослушников.

Наконец, появился начальник лагпункта. Он медленно вошел в самую гущу людей, стал посреди барака, оглядел нары, где скучились заключенные, помолчал и спросил голосом, колючим, как штык:

— Так что же? Не будем работать?

Наступила мертвая тишина. Вдруг из задних рядов брызнули голоса:

— Зачем нас держите? Нет права держать по амнистии. Мы голодные!

— Чего вы хотите? — спросил начальник.

Администрацию лагеря напугал не столько наш невыход на работу, как отказ от пищи. Голодная забастовка — серьезное оружие заключенных, т. к. лагерная власть обязана довести еду до зэ-ка. Не смеет не выдать ее. За некормление людей она отвечает, и в данном случае не наше нарушение дисциплины ее пугало, а нерозданная пища на 120 человек, что могло привести к самым неприятным последствиям. Начальство боялось за себя.

Первым выступил Брандес и спокойно изложил требования поляков: немедленный вызов прокурора из Ерцева для переговоров. Наше задержание противоречит амнистии и закону, и никто не имеет права заставить нас работать после того как мы амнистированы.

Говорили доктор Шпицнагель, молодой поляк Новак, который, если не ошибаюсь, приходился родственником кому-то из польских министров. Наконец, и я взял слово, чтобы как можно примирительнее и спокойнее объяснить начальнику лагпункта, что среди нас нет врагов Советской власти, что мы — граждане союзного государства, и место наше — в рядах польской армии, борющейся с общим врагом.

— Если друзья Советской власти, стало быть — помогайте! — сказал, внимательно глядя на меня, начальник лагпункта. — Зачем же отказываетесь работать?

— Работа в лагере, — ответил я ему, — есть наказание, от которого мы по амнистии освобождены. Работать в лагере — не будем.

— Не будем! Не будем! — хором закричали все собранные.

Начальник без слов повернулся и вышел. Через 15 минут вошел комендант и вызвал к начальнику всех, четырех, которые говорили. Нас привели в контору и по одному стали вводить в кабинет начальника.

Когда пришла моя очередь, я увидел пред собой целый аэропаг: за столом заседала коммиссия, там были, кроме начальника лагпункта, заведующие КВЧ, Санчастью и прочие руководители лагпункта.

Меня допрашивали $^3/_4$ часа. Добивались ответа: кто собирал талоны вчера вечером, кому я отдал свой талон. Я сказал, что не помню. Потом мне стало стыдно своей нерешительности, и я сказал им, что не следует задавать мне таких вопросов.

— Почему? — заинтересовался начальник лагпункта.

— Потому что, если бы я и помнил, то все рав-

но не сказал бы вам этих имен: я понимаю, что вы ищете людей для обвинения, но люди, собиравшие талоны, не были вовсе нашими «вожаками». Это были случайные люди.

— Так почему же все-таки не сообщаете их имен?

— Это было бы бесчестно. Вы первый не уважали бы меня, если бы я был доносчиком на своих товарищей.

— Слышите, что он говорит? — охнул начальник лагпункта. — Вот каков!

Мой ответ был наивен, так как каждый из людей, сидевших за столом, сам был доносчиком и сотрудником НКВД.

Меня вывели и в соседней комнате раздели до гола, обыскали, нашли и забрали, в который раз, ножик, — и через 10 минут я был водворен в карцер, в камеру, где уже сидели Брандес, Новак и Шпицнагель.

Начальство действовало по классическому рецепту: изъяло, прежде всего, представителей «мятежников» — обезглавило массу. Мы были готовы к геройской защите, чувствовали прилив сил и бодрости. Мы стряхнули с себя рабское оцепенение, и сознание общей борьбы сразу сблизило нас. Все мы в камере сразу перешли между собой на «ты».

Но страдать нам не пришлось. Часа через 3 отворилась дверь карцера, и вошел прокурор Каргопольлага — тот самый, которого мы тщетно добивались целый месяц — и после краткого опроса велел нас выпустить. В бараке мы были встречены общим ликованием. Оказалось, что в наше отсутствие прибыли из Ерцева все центральные власти: начальник Каргопольлага, начальники КВО, САНО, уполномоченный и прокурор. На собрании в бараке западникам обещали, что в течение месяца все будут освобождены; а когда стали жаловаться на содержание в штрафном лагере — обещали немедленный перевод в другие «нормальные» лагпункты.

Итак, победа по всей линии! Брандес выступил вперед и в короткой речи поздравил западников с

успехом демонстрации и примерной дисциплированностью; особо поблагодарил трех своих товарищей по карцеру. Я в ответ от имени всех участников забастовки выразил благодарность Брандесу, — и обе речи были покрыты аплодисментами. Длинная очередь западников выстроилась под окошками кухни получать утренний завтрак.

Утром следующего дня нас вывели из Осиновки первой. Часть была отправлена во вторую Осиновку, а часть, в которой и я находился — в Круглицу. Таким образом, 1 октября 1941 года я снова очутился в Сангородке. В половине октября большая партия западников была освобождена. Этого было достаточно, чтобы успокоить оставшихся. Мы с верой и надеждой ждали своей очереди.

Главный организатор сопротивления, Брандес, был отправлен в Ерцево. Там он продолжал бунтовать. Он требовал разрешения снестись телеграфно с польским представительством в столице. Ему позволили написать письмо, на которое так и не пришло ответа. Ни на одно из потопа писем, которые были отправлены в ту зиму из лагерей на адрес польского посольства, не пришло ответа. Мы не могли представить себе, чтобы польское посольство не отвечало на письма польских граждан в беде, и считали, что либо наши письма не передаются по адресу, либо ответы не пропускаются в лагерь. Так или иначе — фактом остается, что после «амнистии» мы попрежнему были лишены контакта с польскими властями и целиком зависели от произвола органов НКВД.

Тогда Брандес снова — на этот раз единолично — отказался от работы. На этот раз он просидел в карцере, не принимая пищи, 9 суток. После этого его перевели в больницу. По выписке из больницы он снова отказался от работы. Тогда его официально освободили от работы «по состоянию здоровья», т. е. легализовали его протест. И, наконец, в январе 1942 г. он и Новак были освобождены. Я и Шпицнагель продолжали оставаться в лагере.

Зима 41-42 года была самым тяжким испытанием

моей жизни. Голод подтачивал мои силы. Но страшнее было другое. До того я относился к лагерю, как наблюдатель со стороны, как литератор, как человек, которому в будущем предстояло написать о нем книгу. Лагерь казался мне редчайшим секретным документом советской действительности, к которому я случайно получил доступ — захватывающим документом и панорамой. В эту зиму я понял, что легче войти в лагерь, чем выйти из него. Лагерь перестал быть для меня темой для наблюдений. Я перестал наблюдать и начал умирать в лагере. Я почувствовал, что изъятие из амнистии есть для меня — смертный приговор.

Я был отрезан от всего мира, от семьи, от родных и близких. Мои письма не передавались заграницу. В Сов. Союзе не было у меня ни души. Некому было оказать мне материальную и моральную помощь. Город Пинск, где я оставил свою старую мать и преданных друзей, был занят немцами, и советские газеты сообщили об избиении там 10.000 евреев. Теперь я знаю, что моя бедная мать еще была жива в это время. Гетто в Пинске было окончательно уничтожено в октябре 1942 г.

Незнание будущего давило нас. Советско-немецкая война была для нас войной горилл и каннибалов. Обе стороны были нечеловеческим искажением всего святого и дорогого нам. «Амнистия» превратилась для нас в орудие шестимесячной пытки и безграничных терзаний. Каждые 2-3 недели в течение этого времени освобождали из Круглицы по 5-6 человек — иногда одного, единственного — и нельзя было понять, почему именно этих, а не других. Волосы подымались дыбом от ужаса: а если задержат? Быть исключенным из амнистии — было много хуже, чем вообще не иметь амнистии: это отнимало надежду и на будущее. Мы уже давно перестали добиваться смысла и логики в обращении с нами. На волю, к Андерсу, шли заведомые фашисты, матерые польские антисемиты, противники правительства Сикорского. Мы — евреи-демократы, чьи семьи погибали в гетто, задер-

живались без объяснений. Мы не знали, ни как, ни против чего нам защищаться. Нам не объясняли тайных мотивов нашего задержания. Сперва мы объясняли себе задержку освобождения — трудностями транспорта: вагонов нет. Но проходили месяцы за месяцами, и это объяснение отпадало. Наконец, само это «мы» — начало таять. С каждым месяцем сужался круг западников. Нас были сотни, потом остались десятки, потом, в марте 1942 года, полгода после забастовки в Осиновке, остались считанные люди. Эта «амнистия» по капле высосала из нас кровь, довела нас до исступления и нервной катастрофы. Только когда мы остались последними — и 90% западников ушло из лагеря — мы поняли то, что должны были нам сказать с самого начала, чтобы избавить нас от нечеловеческой пытки ожидания: что нас не освободят, что советская власть применяет амнистию не ко всем, кого она касается, — и именно к нам, небольшой кучке оставшихся, она не будет применена.

Ряд месяцев мы жили в неописуемом нервном напряжении. Мы ждали неделями, пока придет список на освобождение. Вечером после работы мы узнавали, что в УРБ лежит список на 7 человек. — «Кто такие?» — Каждый подавлял волнение, делал вид, что он спокоен: «не в этот раз, так в следующий пойду...» Но внутри все кипело и дрожало: «столько людей уже ушло, и столько месяцев уже я жду — почему мне быть последним?»

И вот, названы 7 имен, среди них твой сосед по нарам или человек, которого знаешь давно. К радости за них примешивается горькое отчаяние за себя. Лица людей, вызванных нарядчиком — преображены и сосредоточены, серьезны и полны скрытого возбуждения... Некоторых среди дня вызвали с производства: «бросайте работу, идите немедленно в лагерь — оформляться на освобождение!» — Оформление — дело сложное. Надо сдать все лагерные вещи, некоторые переменить. Существует инструкция, по которой освобождаемым, не имеющим своих вещей, выдается обмундирование второго срока, не новое, но

опрятное и прилично выглядящее. Перед уходом из лагеря — обязательно баня. Люди потрясены, но стараются не выдать своего счастья, а большинство «не верит»: «пока не отъеду сто километров отсюда — не поверю».

Но мы уже чувствуем какую-то черту между ними и нами — которая отделяет живых от мертвых. В последнюю минуту суем им записочки с адресами родных заграницей — «когда-нибудь передайте о нас, помните о нас!» — Все обещают, но большинство очень скоро и быстро забывает лагерь, как дурной сон, со всеми, кто там остался. А если кто-нибудь и вспомнит, и напишет в лагерь, где недавно сам сидел — его письмо не будет передано нам.

Все те месяцы, пока продолжалась отправка маленьких групп и партий на волю, мы боялись напоминать о себе, торопить, запрашивать — чтобы не выдать своего беспокойства и не показать, что мы вообще считаем возможной такую вещь, как исключение нас из амнистии. Потом, когда несчастье стало фактом — уже было поздно. Мы писали жалобы, польским представителям: ответа не было. Мы обратились устно к прокурору из Ерцева, когда он был в Круглице: «почему нас не отпускают?» — Прокурор засмеялся и ответил: «вы евреи, Сикорский вас не хочет». Этот ответ мы сочли за дурную шутку. Не все среди нас были евреи. Я написал для себя и десятка товарищей жалобы начальнику Каргопольлага. Через месяц пришел ответ: моим товарищам ответили, что они задержаны «до особого распоряжения» — ничего не объясняющие непонятные слова. А мне сообщили в письме, на обратной стороне которого я должен был расписаться в том, что его прочел: «В ответ на запрос з/к Марголина Ю. Б. разъясняется ему, что он не подлежит амнистии для польских граждан, как лицо непольской национальности».

Я ответил на это «разъяснение» горячим протестом. Я писал, что амнистия имеет в виду всех польских граждан без различия национальности и верос-

поведания. Что польские граждане-евреи в массе были освобождены по амнистии, и я поэтому не принимаю такого объяснения, что меня задержали как еврея и прошу сообщить действительную причину задержания. Что пока не сообщат, на каком основании исключили из амнистии, буду считать свое заключение незаконным. Что заключение угрожает моей жизни, разоряет меня материально, подвергает страданиям и лишениям мою семью, и за все это я возлагаю ответственность на правительство Советского Союза. Что польское лондонское правительство Сикорского является демократическим правительством, свободным от антисемитизма, и я отказываюсь верить, что исключение польского еврея из амнистии для польских граждан происходит с его ведома и согласия.

Я не получил ответа на это письмо. Не с кем было разговаривать, не к кому обращаться — не на что надеяться, кроме тех, кто находился заграницей — свободных людей на Западе, моих друзей и родных, которые могли интервенировать в мою пользу. На них я возлагал свою надежду, не подозревая, что ни тогда, ни позже, ни по сей день люди Запада, чьи близкие пропали без вести в Советском Союзе, не ударяют пальцем о палец для их спасения. И благо нам, что мы этого не знали.

Я был бессилен что-нибудь предпринять для своего спасения из чудовищного и бессмысленного несчастья, которое стряслось со мной. Но я надеялся на то, что война еще выяснит многое — и на то, что многолетнее и бесследное исчезновение в Сов. Союзе как мое, так и многих других людей из Европы обратит на себя внимание широких общественных кругов.

Я не потерял надежды и не отчаялся до конца. Но весной 1942 г. я пережил шок, который временно превратил меня в невменяемое и душевно-ненормальное существо. Я поседел в эти месяцы. Я был молод, когда меня арестовали в Пинске. Вдруг я услышал с удивлением, что меня окликают на работе «отец», а потом стали звать меня — «дед».

Голод иссушил мое тело, непосильня работа согнула спину, колени дрожали, лицо сморщилось, и руки тряслись. Мой слух ослабел и глаза потухли. Моя близорукость значительно усилилась, и стекла, которые я привез с собой в лагерь, уже были недостаточны. Начальник лагпункта отказался снять меня с общих работ. Я пошел просить помощи у уполномоченного. Уполномоченный — уже не Степанов, а другой, круглолицый, — сказал мне: «Да ведь я знаю вас: вы переписываетесь с иностранными консульствами». Это был намек на копию визы в Палестину, которая была мне переслана в конце 1940 г. — Когда я просил содействовать мне найти работу в конторе, ссылаясь на слабое зрение, он мне ответил: «Деревья в лесу большие, и то вы их плохо видите, так как же вы будете в конторе? Буквы на бумагах ведь совсем маленькие!» — и я не знал, смеется ли он надо мной или говорит серьезно.

Тело мое распадалось, и все во мне было растоптано и расстроено. Ничего не осталось во мне, кроме животного ужаса перед леденящим холодом и физической болью. Я выходил с утра в поле, метель засыпала мое рубище, и я прислонялся где-нибудь под деревом в снегу и стоял в оцепенении, как во сне, пока окружающие с руганью не заставляли меня взяться за колоду, что-то тащить, подымать, помогать кому-то. Но я уже ничего не мог сделать. Вокруг меня были чужие лица. То, чего я больше всего боялся, наступило. Западники ушли, и во всем лагпункте еще оставалось 15-20 таких, как я, разбросанных среди косматых, голодных, озверевших людей. Ни одна бригада не хотела меня. Настал день, когда я украл ножик у соседа. Этот ножик не был мне нужен. Я не знаю, зачем я это сделал. — Жалкий самодельный лагерный ножик лежал на краю нары, — он выпал из бушлата соседа. Я спрятал его в свой карман. Потом сосед искал ножик, ругаясь, по всем углам. Я лежал в глубокой тени, не отзываясь, и испытывал мрачное удовлетворение от того, что никому не приходит в голову в бараке искать его в моем кармане...

15. «РАБОТАТЬ НАДО»

Зимой 41 года мы выходили с ножами и серпами в леса около Круглицы — последние поляки в ожидании амнистии. Мы занимались заготовкой силосного корма для скота, т. е. нарезали тонкие березовые и ольховые прутья и вязали из них веники, норма которых составляла сто на человека. Мы вязали от 30 до 70. Весь день мы бродили по снегу между деревьев, то и дело окликаемые стрелком для проверки. Справа от меня работал Электорович, пожилой поляк с сумрачным лицом, неразговорчивый и необщительный, который, как и я, был исключен из амнистии — и в ту же зиму умер в лагере. Найдя молодую березовую поросль, мы беспощадно уничтожали ее, оставляя только черенки в земле. Слева работал бывший бургомистр города Копылинце в Зап. Украине, старый адвокат с пухлым мягким лицом, очень похожий на Молотова — на нем чудом еще уцелело долгополое черное пальто из дому. Нагнув с усилием высокую ветвь и зажав ее подмышкой, старик серпом обчищал с нее боковые ветки, и когда отпускал ветвь, она выпрямлялась с шумом, и с дерева осыпался снег на плечи и голову старого человека.

Даже на такой простой работе общая норма для всех — была варварством. Одни из нас, и в особенности молодежь с зоркими глазами, моментально находили подходящее дерево, срезывали ловко и быстро, одним метким ударом ножа наискось отделяя черенок от ствола — другие в том же положении теряли несколько секунд, чтоб осмотреться, и ударяли ножом раз, и два, и три, а еще потом отдирали рукой ветку с лоскутом коры — эти никогда не могли выполнить даже половины нормы. В нормальных рабочих условиях «норма» есть средство отбора — она отсеивает тех, кто не годится для данной работы, но годится для другой. Электорович, я и старик бургомистр наверное умели делать хорошо много вещей, но мы очень плохо заготовляли веники, и поэтому для нас норма принудительного рабского труда была нор-

мой голода и неизбежно обрекала на гибель. Мои веники плохо держались — то распадались, то сваливались со стойки, на которую я их вешал. Бригадир, проходя мимо, критически осматривал их и с сомнением качал головой. Нарубая ветки, я думал о том, какая это страшная вещь — соединение нормы, которая всегда остается несоизмеримой с индивидуальными различиями работающих, с прикреплением к месту работы и невозможностью сменить ее по своему желанию. Я знал, что в одинаковых с нами, лагерными, условиях находятся в этом отношении и «вольные» советские рабочие. Я вспомнил своего товарища, который приехал в Палестину и взялся там за огородничество. Помидоры не росли у него, и скоро он бросил возиться с грядками. Оказалось зато, что он — прекрасный пчеловод и умеет разводить кур. В лагере, если бы его послали на огород, он бы мучился бесконечно, не выполняя нормы, и погиб бы на штрафном пайке. «Труд — дело чести!» — эта советская формула в условиях диктатуры прикрывает принудительность навязанного занятия и абсолютную, рабскую зависимость от работодателя, которая не легче, а много тяжелее, когда в роли работодателя выступает полицейское государство.

Десны мои расшатались и кровоточили, и два золотых мостика выпали из моего рта. Прежде чем я успел подумать, что с ними сделать, у меня украли один из них. Рядом со мной лежал на наре голубоглазый карпаторусский паренек. Его косвенное признание в краже выразилось в том, что он принес мне в один из ближайших вечеров целый вареный телячий язык! Из такого языка нарезали порций 20 ко второму котлу. — Ешь! — сказал он мне великодушно и объяснил, что стянул на кухне 2 языка, один для себя, другой для меня. Он добровольно помогал на кухне, приходя с работы, мыл, убирал, чистил овощи — за это его подкармливали, и при случае он мог стащить какие-нибудь объедки, но два языка! столько мяса!.. Этому я не поверил и понял, что мой сосед просто де-

лился со мной выручкой за золотой мостик... Не долго думая, я съел целый телячий язык без хлеба.

Второй же массивный мостик я отдал главному повару Ваське. Этот Васька был гладкий щеголеватый молодой человек, и я имел к нему полное доверие. Я решил, что мне надо завести дружбу на кухне, и отказался взять у Васьки деньги. Я сыграл на благородство. Разве можно перевести на деньги такую вещь, как дружба с главным поваром? — «Бери, Вася, а денег мне не надо — покормишь при случае»...

Дело в том, что на лагерной кухне, обслуживающей сотни людей, всегда остается и лишний суп и лишняя каша. Начальство, которое понимает, что повара должны быть сыты, да кстати, и само подъедает из того же лагерного котла, следит зорко, чтобы не переходилась известная граница, чтобы повара не обижали одних зэ-ка и не кормили других по своему усмотрению. Но уследить трудно. С утра представитель Санчасти проверяет качество пищи. Часто бывает, что прогнившая рыба или хлеб из гнилой муки запрещаются к раздаче (но это не значит, что мы получим что-нибудь взамен). При раздаче присутствует дежурный стрелок ВОХР'а, и — на Круглице — представитель от заключенных. Эти «контролеры» в первую очередь страшно обжираются и рассматривают свое дежурство, как оказию поесть досыта. В условиях массового и хронического недоедания злоупотребления неустранимы. Ворует каждый причастный к материальным ценностям. Заключенные никогда не получают того, что им полагается по закону. Воруют в центральных складах, воруют при перевозках, воруют в продкаптерке, бухгалтера «продстола» берут со склада все, что им нравится, воруют в кухне и недодают при окошке. Когда повар видит, что за ним наблюдают, он размешивает демонстративным широким жестом котел черпаком и достает из глубины «густое». Работяга зорко следит за рукой повара, но не может помешать ему, если повар на него зол — так набрать черпак, что в нем ничего, кроме воды, не будет.

Поэтому, а также в виду профессиональной солидарности всех работников кухни — никогда не следует с ними спорить...

Я подходил к окну, где стоял Васька, выбрав время, когда не было очереди, стучал в окошко и без слов подавал свой железный котелок с талоном. Вася безучастно и не глядя накладывал мне полный котелок каши и сверху заливал жидкой баландой, чтобы не видно было, — и молча возвращал талон. Это значило, что я могу на этот талон получить еще раз ужин.

Никогда не следует просить назойливо «добавки». Так делают только «доходяги» — лагерные нищие. Разве только — чуть заметным движением глаза, уголком рта. Нельзя забывать, что с другой стороны окошка — невидимый тебе — может стоять контролер — дежурный стрелок. Иногда приходит начальница ЧОС'а (части особого снабжения) Гордеева, энергичная, нестарая женщина, но с совершенно седыми волосами — как тень, становится сбоку, скрестив руки, и наблюдает. По ее слову могут тебя накормить лишним черпаком или, наоборот, отправить в карцер. Если в такую минуту начинает кто-нибудь под окном делать неуместные дружеские знаки: «накорми, мол, Вася!» — повар с ледяным лицом наливает что полагается и официальным чужим голосом командуеть «Следующий!» — Надо взять свои пол-литра баланды, черпачок в 200 грамм жидкой кашицы — и проваливать скорее.

Целую неделю кормил меня Вася по-царски, щедро, доверху наполняя котелок, и я по этому случаю уже заказал себе за 200 гр. хлеба у лагерного жестяника Чарнеги крышку на котелок, чтобы другие не видели моих богатств. Но тут случилось несчастье: у Васи обнаружили туберкулез и положили его в легочный стационар. Больше он на кухню уже не вернулся. Я остался беззубым и голоднее прежнего.

Тогда впервые созрел у меня огромный фурункул на плече, и я потерял возможность одеваться, раздеваться и ходить на работу. До этого были у меня фурункулы на шее и в таких местах, которые не ме-

шали работать. Заболев, я прежде всего постарался, чтобы бригадир выписал мне 100% за работу последнего дня. Увидев фурункул, бригадир сразу вошел в мое положение. Дело в том, что больные, освобожденные от работы, но не положенные в стационар, получают питание по выработке последнего рабочего дня. Поэтому перед освобождением каждый старается всеми правдами и неправдами устроить себе «норму» или «стахановский», и только потом идет к врачу. На нашей Круглице позднее ввели порядок, по которому начисляли освобожденным котел, во избежание махинаций, на основании последних 3 дней до болезни. Вечером я сходил в амбулаторию и получил требуемое освобождение от добрейшего и лойяльнейшего врача в мире — Максика. Два часа я стоял в очереди, в густой толпе, пока вызвали мою фамилию. На плече вздулась твердая, красная опухоль величиной со сливу. Ее намазали ихтиолом, забинтовали — и до завтра вечером я был свободен.

Фурункулезом на почве истощения болели в лагере десятки человек. Но все рекорды побил мой фурункулез. Его никоим образом нельзя было ликвидировать. Вечер за вечером я получал освобождение, и каждый раз Максик находил новый фурункул на новом месте. Наконец, когда число фурункулов на моем теле дошло до 16, Максик потерял терпение и решил меня стационировать.

Надо представить себе расположение духа зэ-ка, который возвращается из амбулатории спокойный и довольный, зная, что завтра его кладут в больницу. Гора свалилась у него с плеч. Все, что в бараке, его больше не касается. Рано утром, когда после подъема входит человек из 2 части со списком освобожденных — он уже не подымается на локте и не слушает с тревогой — есть ли его фамилия. На сегодняшний день он не просто «освобожден», а больше того: вычеркнут из списков бригады и переведен в список стационара. Он может теперь спокойно спать, пока в бараке идет обычная сутолока подъема, сборов и выхода на работу. Между 7-ью и 8-ью он может прослушать ра-

диопередачу в бараке — фронтовую сводку, марш духового оркестра и «пионерскую зорьку» — потом сходить за супом, прождать поверку и утреннюю уборку барака. Дневальные моют пол — в это время нельзу никому сходить с нар, где лежат освобожденные или люди из ночной смены. После 9 зэ-ка, назначенный в госпиталь, идет в Санчасть. Там в канцелярии дают ему направление в баню. Все госпитализируемые кучей бредут к Сергею Ивановичу — завбаней. Это — неизбежная формальность. В бане с утра нетоплено и холодно. «Вшей нет?» — спрашивает завбаней Сергей Иванович, черноглазый худой армянин, посаженный на 10 лет. Мы божимся, что вшей нет, но все-таки для порядка приходится раздеться, войти в пустую баню, окатиться из шайки с еле-теплой водой — и обратно. Теперь, с бумажкой о пройденной «санобработке», мы уже можем «ложиться». Однако, больничная еда полагается нам только с завтрашнего дня и поэтому мы ждем в бараке до вечера, и только получив ужин, начинаем укладываться в дорогу.

Хирургический барак лежит в самом конце лагеря. Дойдя до низенькой двери, нагруженный всем своим добром, с рюкзаком и деревянным сундучком, я стучусь и меня впускают в крошечные сенцы. Справа — раздаточная, слева — каморка врача: там проживает Максик — доктор Макс Альбертович Розенберг — прекрасный хирург и просвещенный человек. Ввалившись в палату, где с двух сторон лежат на койках больные, я жду терпеливо у двери, пока выйдет «завхоз» — санитар, заведующий материальной частью барака. — «Раздевайся!» Завхоз забирает на хранение мой рюкзак и сундучок, забирает лагерную одежу и выдает пару больничного белья из грубого миткаля с больничным клеймом Санчасти. Важно получить койку поближе к печке, т. к. зимой в стационаре холодно, и больные немилосердно мерзнут под тонким байковым одеялом. Минута, когда человек ложится на сенник, покрытый простыней, и вытягивается во весь рост, счастливо улыбаясь — торжественная

минута. Впереди — перспектива ряда мирный дней, пока не залечатся фурункулы. Уже не кормят так хорошо, как в июле, но есть тишина и раздетость, чистота и защита от лагеря. Там — за стенами низенького побеленного барака — кромешный ад вонючих, забитых оборванной и дикой толпой логовищ — там кражи и ссоры, стоны и плач, очереди на морозе под окнами кухни, очереди на разводе, карцер и рабский труд. Сюда не придет нарядчик гнать на работу. Здесь можно отлежаться, собраться с мыслями, прийти в себя.

11 дней лежал я в хирургическом стационаре. После 2½ лет, проведенных в состоянии непрерывного ошеломления — со времени немецкого вторжения в Польшу, когда огромная волна подхватила меня, вынесла из привычного и нормального мира и занесла «по ту сторону жизни», куда не полагается заглядывать благополучным европейцам, — я, наконец, имел возможность передохнуть и осмыслить, что произошло со мной и с человечеством.

Я был полумертв. Я весь состоял из отчаяния и страха, из упорства и надежды, но эмоциональные реакции такого рода не могли мне помочь на краю гибели. Мне надо было восстановить нормальное самоощущение. Тогда я вспомнил старую теорию Аристотеля о «катарзисе» и стал лечить себя особыми средствами.

Способность и потребность логической мысли вернулась ко мне. Часами я лежал без движения, упорно размышляя. Потом я записывал — не ход мысли, а только последние выводы и формулы. Таким образом, в течение 11 дней была написана небольшая, но очень важная для меня в тогдашнем состоянии работа: **«Теория лжи».**

Пока добрейший Максик лечил мои фурункулы ланцетом и мазями, я противодействовал процессу душевного распада, который начинался во мне, тем, что превращал окружавшую действительность в предмет спокойного и бесстрастного исследования. Это был

мой реванш: “non ridere, non lugere, sed intelligere”. То, что окружало меня, что дыбилось над моей головой, что окутывало удушающим кольцом меня и мое поколение — была **ложь**. Логическая и психологическая природа лжи, ее культурно-историческое проявление были моей темой на исходе зимы 1942 года.

Ложь существовала всегда. От мимикрии примитивных организмов до дипломатических нот и правительственных деклараций можно построить лестницу лжи, аналогично той, которая привиделась во сне Иакову. Но по лестнице Иакова ангелы восходили на небо, тогда как моя лестница вела в ад и спускались по ней слабые, несчастные и грешные люди. Я различал формы «святой лжи» и «валленродовской лжи», воспетой Мицкевичем — поэтом в стане врага. Я пробивался сквозь строй индивидуальной и коллективной лжи, лжи словесной и сознательной — и такой, которая проникает в глубину подсознания и подчиняет себе разум и чувство человека. Я искал выхода из зачарованного круга лжи и рассказывал себе историю стократных разочарований на этом пути. Я собрал все доводы в пользу лжи, какие выдвинуло наше время, чтобы им противопоставить правду неустрашимого сердца, правду страдания и жертвенного подвига. Я твердо знал, что «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Наконец, я записал с телеграфно-конспективной сжатостью очерк «Теории Лжи», и даже попробовал дать его на прочтение Максику. Автору нужна аудитория. Но Максик, лучший из хирургов, был слабый философ. Он ровно ничего не понял и вернул мне рукопись с замечанием, что это слишком сложно для его чисто-медицинского ума. Мы работали неодинаковыми ланцетами.

Максик вылечил мои фурункулы, а я отплюнулся от моих преследователей работой «о лжи». Я вышел из больницы с намерением жить и не даваться врагам.

К этому времени относится мое знакомство с Семиволосом. Речь идет не о знаменитом Алексее Семиволосе, лауреате сталинской премии, советском ге-

рое и руководящем стахановце Донбасса — одной из популярнейших личностей Советского Союза — а о фигуре, гораздо более скромной: его двоюродном брате, который погиб в лагере в 1943 году. Это был человек высокого роста, богатырского сложения, киевский журналист или студент института красной журналистики, — человек советский, с украинским произношением, юмором и любознательностью. Последняя выражалась в том, что он вел со мной бесконечные беседы о странах, где я бывал, и городах, которые я видел. Семиволос снисходительно опекал меня, но я уже научился не брать слишком всерьез ни дружбы, ни вражды советских людей. Уже меня не оскорбляла брань, которая на другой день забывалась начисто, и не обманывала близость, готовая каждую минуту обернуться предательством. Слова их не обязывали и не имели веса, а чувства были легки и мимолетны. Из этих людей был как бы вынут внутренний стержень: режим диктатуры научил их, подобно плющу, виться по внешней железной штанге. Я был очень осторожен с Семиволосом, не будучи уверен — не передает ли он обо мне по начальству. Семиволос оставался и в лагере потенциально членом партии, одним из тех, кто искупал заключением вину или ошибку, старался рассеять подозрения и показать свою беззаветную преданность. Таков был Николай Семиволос, бригадир и стахановец, передовик производства, который в январе 42 года даже был выдвинут на «сокращение срока».

Зима в лагере — всегда тяжелое время. Начало года всегда совпадает с общей депрессией, когда ослабевших и отчаявшихся людей необходимо поддержать, подбодрить к работе с помощью искусной пропаганды. Начало года — время, когда начальство лансирует слухи о «близкой амнистии» или о «пересмотре дел», или о «сокращении сроков на половину», или о том, что заключенных, кому осталось сидеть меньше трех лет, отпустят по домам. Конечно, не всех, а стахановцев, заслуженных работников. В каждом лагпункте переписывают образцовых работников

и объявляют им, что Управление Лагеря сочло возможным возбудить по их делу ходатайство о преждевременном освобождении. Электрическое возбуждение проходит по лагерям... Но «старики» цинически смеются и объясняют «молодым», что это старая уловка, повторяемая из года в год. Список кандидатов пойдет в ГУЛАГ в Москву, и на этом дело кончится. В самом деле: если люди хорошо работают в лагерях, как организаторы или добросовестные исполнители, то Советская власть с удовольствием оставит их на месте до скончания века. Ей нужны лагеря и они нужны лагерям. Она совсем не заинтересована, чтобы именно эти столпы лагеря пошли на волю. Неизменно гора пропаганды и слухов о преждевременном освобождении рождает мышь. В редких случаях люди, отсидевшие 5 лет, и которым остается еще столько же — получают скидку в 10 месяцев или полгода. Но и это еще не значит, что лагерь от них отказался. Сплошь и рядом освобождают их без права выезда из района, и если это специалисты — оставляют на прежней работе — уже в качестве «вольных».

Семиволос тоже был назначен на преждевременное освобождение» — и не дождался его. В самом разгаре его успехов вдруг обнаружилось какое-то мелкое хищение: уличили его в продаже на сторону какого-то лагерного имущества и сразу сняли с работы, переслали на другой лагпункт, передали дело прокурору, и не помог блестящий рекорд лагерной работы. Но в то время, о котором я рассказываю, Семиволос был — лев Круглицы. Неутомимо и энергично работая, он еще находил время читать школьный учебник «Древней истории», лежавший у него под подушкой. Мне было не всегда приятно его соседство, по причине огромных экстра-порций, которые он добывал для себя «по блату» на кухне. Я лежал рядом, но к участию в «экстра-питании» не допускался. Я был голоден беспрерывно, и этот аккуратно прикрытый алюминиевый котелок, стоявший на полке как раз над моей головой, раздражал меня. Часов в 11 вечера Семиволос возвращался из конторы и начинал звенеть

котелком, разувшись и сидя по-турецки на верхней наре.

Учебник истории он читал не из интереса к древней Греции и Риму, а просто потому, что другой книжки не нашлось под рукой. Такого же рода было и то участие, которое он во мне принимал. Учебника истории он так и не дочитал, и я недолго удержался в его бригаде. Некоторое время Семиволос занимался мной, как занятной книжкой на иностранном языке, с картинками: быстро пересмотрел картинки и забросил книгу. Все-таки, за 2 недели, которые я работал в его «передовой» бригаде, которая была на особом счету у начальства, он мне достал кое-что из вещей и с е н н и к — первый сенник с июня 1940 года. Полтора года я спал на голых досках; теперь я, как пристало старому лагернику, начал обзаводиться «хозяйством».

Наша бригада снабжала Круглицу дровами. Мы шли далеко по глубокому снегу. Тогда обнаружилось прискорбное обстоятельство: я не мог угнаться за бригадой. Я выходил в первой паре. Мы растягивались цепочкой, и скоро я оказывался в середине, а потом в хвосте бригады. Усердно и торопливо месил я ногами снег, стараясь попасть ногами в следы идущих впереди, но ноги не слушались. Спустя 3 месяца это явление стало всеобщим: за весну все ослабели, и ноги перестали слушаться у большинства. Но тогда еще удивлялись — те самые люди, которым предстояло пройти до конца путь голодного истощения. Удивлялись и порицали меня: «Работать надо! Работать надо!»

Я и без них знал, что надо работать, чтобы выжить в лагере. Но я уже видел, что ничто — никакое усилие не гарантирует нам спасения жизни. Я ненавидел этот вечный лагерный припев, эту единственную заповедь советского Синая, эту зловещую каторжную мудрость, которую день и ночь вколачивали в мозги и души миллионов рабов, пока она не становилась их единственным духовным достоянием. «Не рассуждать! это уже сделали за вас другие! ваше дело — работать!» — Я, человек Запада, знал, что надо прежде

всего быть человеком. Только свободный человек знает радость свободного труда, и для него этот труд имеет смысл, потому что служит цели, которую он выбирает и в которую верит. — В противном случае лозунг «работать надо», который набожно и слепо повторяют миллионы темных людей в Советском Союзе, как судьбу, как предназначение, как неотвратимый фатум их жалкой жизни, есть **лошадиная мудрость,** одинаково применимая к людям и животным. Эта мудрость уравнивала в достоинстве коня и возчика в лагере, сливала их в одно тело центавра, в одно понятие «рабгужсилы»! — Я сам по себе ничего не стоил, мое право на жизнь измерялось процентами рабочей нормы. — «Кто не работает, тот не ест» — это была вторая угроза, которая висела над нами. Я вспомнил, как в занятом Львове, в сентябре 1939 года развесили по улицам и бульварам щиты с этой надписью, которая казалась откровением высшей справедливости. Неправда! Труд из-под палки, труд по принуждению не спасает человечество. Достаточно, если мы провозгласим лозунг: «кто работает, тот ест». Как же я тосковал в Круглице по моей родине, по стране, где каждый работающий сыт, и где поэтому не считают хлеба иждивенцам семьи и общества! Здесь и тот, кто работал — не был сыт. Разница между мной — слабым работником — и Семиволосом, стахановцем — была только в степени нужды.

Было неоспоримо, что масса лагерных заключенных по мере того, как она теряла физические силы, переставала хотеть работать. Не это было удивительно, а то, что еще встречались люди, у которых не исчезла потребность работы. Такая потребность есть естественный результат здоровья, накопленных сил и нормальной трудоспособности. Наслаждение работой знакомо каждому, кто умеет что-нибудь делать — умеет по-настоящему, как мастер в своем деле. Нас заставляли делать то, чего мы не умели, а потом обвиняли нас в том, что мы не умеем, потому что **не хотим** работать. Но в действительности наше нехотение означало только, что у нас нет сил и нет возможности

работать. Как немыслим скрипач, который отказывается от скрипки, так немыслим физически здоровый и сильный человек, которого не тянет к работе. Мы жили в лагерях в атмосфере преступления. Но преступлением не было отвращение и страх пред работой людей, еле волочивших ноги от слабости, — преступлением была та социальная система, которая право на труд превратила в обязанность навязанного труда, — лагерная система, которая впервые объяснила мне явление вредительства. Я никогда не был вредителем в лагере, но я понял, как возникает циничное и вредительское отношение к работе у людей, полных смертельной ненависти к ярму, которое на них надели, и к упряжке, которую их заставили носить против воли.

Обо всем этом я, конечно, не разговаривал с Семиволосом. Человек этот был слишком примитивно-здоров, чтобы быть мне товарищем. Вдруг вечером, поев на наре свой бригадирский ужин, он мне протянул свой котелок и сказал небрежно и лениво, думая о чем-то другом:

— Марголин, вымойте мой котелок...

Я не понял, в чем дело — не понял, что между мной и им нет равенства, и я должен оказывать ему подобные мелкие услуги, чтобы оправдать свое существование в его великолепной бригаде, — и ответил простодушно:

— Нет, я уж свой вымыл, и не схожу больше...

Через день Семиволос, не говоря мне ни слова, выписал мне на «рабочем сведении» первый (штрафной) котел и 400 грамм хлеба. Вся бригада получала по 600 грамм. Когда это повторилось на второй и третий день, я пошел к начальнику работ и попросил дать мне другую работу.

Начальник работ был у нас Александр Иванович — высокий и худой русский поляк со впалыми щеками и чеховской бородкой — мягкий и участливый человек, никогда не подымавший голоса и всеми уважаемый. Несмотря на то, что он никогда не говорил с нами по-польски и, может быть, уже не владел

этим языком — он относился особенно внимательно к западникам — внимательно до жалостливости. Александру Ивановичу я объяснил, что мне трудно ходить в лес за несколько километров. Он покивал головой, подумал и сказал:

— Выходите завтра с пятой бригадой на сельхоз... на горшечную фабрику...

Так я стал горшечником.

В пятой бригаде было человек сорок. Наполовину она состояла из женщин, работавших в теплицах совхоза, огородниц, подготовлявших рассаду капусты и других овощей. Эти женщины проводили свой рабочий день в парниковом тепле, носили чистые новые бушлаты и сапоги, ходили в мужских ушанках, но мужская одежда сидела на них аккуратнее, чем на мужчинах, и с лиц их, преждевременно поблекших и усталых, еще не стерлись следы городского происхождения. Мне нельзя было входить в большую теплицу, где висели часы — известные по всему Сов. Союзу стандартные часы с зеленым квадратным циферблатом и двумя гирьками на цепочке, — но я часто заглядывал узнать время. Если я не натыкался на стрелка, то Тася — немолодая, похожая на учительницу женщина с неторопливыми мягкими движениями и черными грустными глазами — не прогоняла меня, и я мог постоять минутку в тепле. Впрочем, пока я был горшечником, мне не нужно было этого.

Выходя из ворот лагеря, мы пересекали улицу поселка, проходили между разбросанных домиков — в одном был «ларек» для вольных, в другом жила Валентина Васильевна, главврач Круглицкого Сангородка — минуя пожарный сарай, оставляли вправо постройки ЦТРМ — шли полем, и через приоткрытые ворота входили на территорию сельхоза. Вся бригада, замыкаемая стрелком с ружьем, шла на центральный двор, откуда группками расходились на разные работы. Мы, горшечники, сворачивали, не доходя двора, и брели гуськом в свою сторону, метров за 300 в конец сельхоза. Темно еще было, когда мы доходили до двери убогой развалившейся лачуги, где спал ночью

сторож. Ему полагалось натопить к нашему приходу, но когда мы вступали, спотыкаясь в темноте и пробираясь ощупью — холодище веял нам навстречу. Крошечная избушка на курьих ножках, с разбитым окошком, с земляным неровным полом, успела простыть; сторож стопил все поленья, приготовленные с вечера на ночь. В темноте мы садились на опрокинутые деревянные ящики и молчали, пока серый рассвет не проступал в окошке. Тогда выходили на двор, поискать кусок дерева на растопку, кто-нибудь отправлялся с салазками на центральный двор раздобыть дров, стащить в крайнем случае, — и, затопив печку, становились к станкам.

Мы лепили горшочки для капустной рассады. Среди избушки стояла низкая глиняная печурка-плита. Вдоль стен на уровне груди тянулись полки, засыпанные землей. У полок стояли разбитые старые станки. Их было 4-5. Они выглядели как узкие деревянные ступы, и в каждый была вставлена металлическая чашка. В эту чашку мы набивали руками землю с полки, потом туда же вставляли массивный металлический стакан на рукоятке и, нажав на ручку, несколько раз сильно вращали стакан в обе стороны. Между стаканом и стенками чашки выдавливался ладный горшочек или стаканчик. На дне чашки был стержень, на который надевался стакан, имевший отверстие на дне в центре. Края горшочка мы выравнивали ладонью. Получался гладкий плотный стаканчик для капустной рассады, с круглой дыркой внизу.

Норма на эти стаканчики была огромная, но мы все имели скидку от Санчасти, и от нас требовалось всего лишь по 500 штук с человека. Работая по 10 часов в день, мы должны были делать по 50 штук в час, чтобы выполнить свою норму. У каждого под рукой стояли плоские деревянные ящички, куда мы и укладывали один к одному свои стаканчики, как дети, лепящие бабки. Каждый час приезжала с санками Нинка, девчонка из сушилки, и отвозила нашу продукцию. В сушилке вели счет — от кого сколько принято — и браковали негодные стаканчики.

Пока 4-5 лепило, двое занималось подготовкой земли. Смесь, из которой лепили стаканчики, состояла из 3 частей: садовой земли, одной части торфа и одной части лошадиного и коровьего помета. С другой стороны печки на полу была насыпана огромная куча этих «материалов», а под потолком на наре лежала садовая земля и торф, которые «оттаивали» за ночь. Одноглазый поляк Ганько считался спецом по заготовлению смеси. Он начинал день с того, что деревянной лопатой обрушивал с нары на пол все, что было. Часов в 9 возчик привозил со скотного двора навоз. К этому времени уже в печи трещало, дым валил через расселины, и мы все работали, сбросив бушлаты. Это считалось прекрасной работой, — в тепле и в закрытом помещении — всем на зависть. Мы были довольны. За нашей спиной в котелках клокотала вода. По другую сторону печи полуголый Ганько ворочал лопатой навоз. Мы работали стоя, равномерно и быстро. Одним движением набирали в обе ладони мягкую желто-бурую навозную массу — не слишком мало и не слишком много, а ровно столько, сколько вмещает чашка — вторым движением наполняли чашку, — вставляли стакан так ловко, что он сразу надевался дыркой на стержень — потом выжимали сильно два полных оборота, один вправо, другой — влево, выбрасывали стакан и осторожно вынимали земляной горшочек. Если смесь Ганько не годилась, или земля была слишком влажна, или было ее слишком мало в чашке, или мы недостаточно энергично выжали стаканчик, — он не держался в руке и рассыпался. Стенки его надламывались, из них торчали соломинки, и Нинка, вернувшись из сушилки, объявляла:

— Галина Михайловна сердются, — половину стаканчиков забраковала!

А за ней на пороге являлась Галина Михайловна — заключенная полька из окрестностей Львова — худая, со встревоженным лицом: — Уж я не знаю, что у вас сегодня такое творится: стаканчики не держатся!

Рядом со мной работал бургомистр из Копичи-

нец и Яцко, тот самый заносчивый молодой поляк, который так гордо держался на лесоповале в прошлую онежскую зиму. Теперь он исхудал и страшно изменился лицом, от него осталась только тень. Его, как и меня, исключили из амнистии. Мы торопились, лепили не разгибаясь с утра до вечера, и еле-еле успевали вылепить норму. Иногда бригада уже строилась у ворот, а мы еще кончали последний десяток и выбегали на дорогу, едва умыв руки и не отдохнув. Зато обе женщины, работавшие с нами, кончали свои 500 уже в половине пятого и до 6 часов сидели в тепле, отдыхая.

Одна была — пожилая низенькая проститутка с хриплым мужским голосом, коренастая, вороватая и гнилозубая, которая лучше всех работала в нашей компании, скорее всех умела раздобыть себе на цыгарку, захватить лучший станок и лучшее место между печью и окном. С Лизаветой Ивановной не стоило ссориться: язык у ней был острее всякой бритвы, и в выборе слов она не стеснялась. Ей только помела не хватало, чтобы выглядеть как Баба-Яга в ступе. Ее любимцем был одноглазый Ганько. К прочим она относилась с полным презрением, посылала нас за дровами, за ведром снегу на плиту, или совала в руки облезлый веник: «подмети, пока что!».

Нинка, несмотря на свою молодость, могла многое рассказать. Это беспризорное дитя Украины, рожденное на заре НЭП'а, воспиталось в доме ксендза, а потом в еврейской семье, она прошла через советский детдом, а в 39 году попала с Красной Армией во Львов, что и было кульминационным пунктом ее биографии. Во Львове она нашла себе покровителя в лице самого Козырева — председателя львовского горкома, хозяина города. Чего лучше? — Но каким-то таинственным образом из этого вытекло 3 года в исправительно-трудовом лагере.

Весь лагерь знал, что Нинка имеет мощного покровителя на воле, что лагерь — недоразумение, и что Нинка на самом деле — пламенная дочь трудового народа. На нас, горшечников, Нинка подозрительно

смотрела блестящими карими глазами и все допытывалась: «Ты что сейчас говорил по-польски? Ты думаешь, я не понимаю? — и грозила: — «Вот пойду сегодня к уполномоченному, все донесу, о чем шушукаетесь! Меня уполномоченный очень уважает!» — И это была правда: Нинка часто посещала уполномоченного, и потому в ее присутствии мы все ощущали веяние власти и старались выражаться лойяльно и патриотично. Нинка проверяла качество нашей работы, и каждый неудавшийся стаканчик внушал ей подозрение: «не вредитель ли?» Я, поэтому, со страху и чтобы снискать расположение Нинки, наврал ей, что знал во Львове самого Козырева, и что это человек золотой. Просил Нинку по освобождении передать Козыреву поклон от меня: «Он меня помнит наверно!» — Нинка просияла, и я сразу стал в ее глазах благонадежным.

Лизавета Ивановна и Нинка были приятельницы. Их, кроме общего советского происхождения, объединяла также и профессиональная близость — несравненная быстрота, с которой они делали стаканчики. Бургомистр из Копичинец, с пухлым лицом и круглой головой кота, пользовался их расположением, и они часто отдавали ему свой полдник: «ешь, старый!» В перерыве Лизавета Ивановна, ядреная баба, несмотря на возраст, приваливалась к Ганько, толкала его плечом, хохотала, и они обменивались серией соленых мужицких прибауток.

Люди менялись часто. Несколько дней работала при станке девушка с тонким и нервным лицом, с черными еврейскими глазами. Я вспомнил, что видел ее в стационаре. Она приходила туда мыть полы. Это лицо тогда же мне бросилось в глаза: родное лицо, интимно свое — таких девушек я видел в кибуцах Палестины, в синих блузках и платочках, — или в аудиториях Сорбонны и Льежа. — Откуда она взялась здесь? В стационаре мы познакомились: ее звали Агронская — киевская курсистка, из советской еврейской семьи. Как она забавно удивилась — не могла понять — когда я ей сказал, что предпочитаю долю чистильщика сапог в Тель-Авиве счастью комис-

сара в Кремле... В обеденном перерыве мы с ней сели вместе. Ганько принес в ведре полдник на горшечников. Нам роздали по 250 грамм супу. Агронская вынула кусок хлеба. — «Где ваш хлеб?» — А у меня не было хлеба, я в тот день снова получил 400 грамм, и нехватило на полдник.

Киевлянка, «девушка из кибуца», спокойно разломила свой кусок хлеба надвое и протянула мне половину. Я не понял сразу, что она делает. Как она это сделала! Так естественно и просто, так «между прочим», как будто это было только привычным исполнением какого-то общепринятого долга вежливости, о чем и не говорят и не думают особенно, — как будто мы сидели за чайным столом в доме ее родителей, и она мне подвинула сахарницу к чаю. Но это был лагерь, где люди перегрызали друг другу глотку за 100 грамм хлеба. Я взял хлеб — я был слишком голоден, чтобы отказаться, — и посмотрел на нее. Вдруг у меня задрожали губы...

Агронская не прочтет этой книги и не узнает никогда, как свято и верно я помню о куске хлеба, которым она поделилась со мной в лагере. Одним движением руки она крепко поддержала меня. — Слово «товарищ» потеряло всякий смысл в Советском Союзе. Но есть в каждой нормальной — и в каждой ненормальной человеческой жизни свои особые мгновения, иногда так малозначущие и незаметные, как булавочная головка, — от которых радиосила и непрерывный свет излучаются годами в глубину нашего существа. — По тому, как она мне подала хлеб, я знал, что Агронская — прекрасный человек, и так как я знал, кроме того, что она — самый обыкновенный массовый человек, я снова верил в человека и в скрытый смысл его существования.

Два года позже рассказали мне, что Агронская беременна, и ее отправляют в особый лагерь для родящих. Хрупкая фигурка с огромными черными еврейскими глазами снова встала передо мной, и сердце сжалось: что сделал с ней лагерь? На счастье, отец ее ребенка не был ни урка, ни лагерный парикмахер, ни ко-

мендант лагеря. Это был человек достойный ее, и в пределах лагеря они оба не могли сделать лучшего выбора.

Так как лепить горшки считалось слишком легким, женским занятием, то мне скоро пришлось уступить теплое местечко у печки и перейти в помощники к одноглазому Ганько. На этой работе я оставался целый месяц, пока мы не наделали больше стаканчиков, чем надо было, и фабрику закрыли.

Ганько был в марте отправлен на «54-ый» — так назывался пункт, где группировали поляков, отправляемых по амнистии. Сестра Ганько находилась на «вольном поселении» в Алтайском крае, и старик, расфрантившись, в новом костюме и картузе, готовился к поездке на далекий Алтай, где по слухам было что есть. Я пожелал ему счастливого пути. Но на 54-ом квадрате не оказалось вагонов. В ожидании вагонов Ганько умер — накануне освобождения.

В тот месяц мы работали с ним немного, но тяжело. С утра мы разгребали снег при парниковых ямах, где были пласты так называемой «садовой земли». Потом мы долбили мерзлую землю мотыкой и ломом. Но я уже не мог работать ломом: поднять массивный железный лом мне было трудно, и мой удар не имел силы. Полчаса работы — и я выбывал из строя. Ганько лучше меня владел ломом. После многих горьких с его стороны замечаний и протестов, мы поделили работу: он долбил землю, а я возил ее в санках метров за 300 в нашу мастерскую. Мы нагружали огромную круглую корзину на салазки, я, напрягаясь всем телом, дергал, как рабочий конь, Ганько помогал сзади, и салазки трогались, скрипя по снегу. Пять рейсов было ежедневно. Я знал каждый метр пути, каждый подъем и поворот, спуск и ямку. Весь в поту, надрываясь в веревочной упряжи, я последним порывом сил доволакивал свою ношу до двери нашей избушки. У меня еще были силы снять огромную корзину и дотащить ее до порога. Потом горшечники выходили помочь мне перебросить корзину через порог.

В пути было одно место, на подъеме, где моих сил нехватало. По четверть часа я мучился в этом месте, втягивая груз на гору и зная, что нет другого исхода. В такие минуты, среди яркого зимнего солнца, играющего на чистом снегу, безнадежно потерянный в пустынном и страшном мире, превращенный в рабочую скотину, я испытывал настоящие пароксизмы унижения и бешенства. Никто не слышал меня, и я громко проклинал судьбу, людей, свою нечеловеческую работу и мертвый груз, который не поддавался, как я ни рвался вперед на постромках. Еще хуже было, когда на повороте показывался возчик. Тогда я должен был немедленно сбросить санки с дороги, чтобы дать ему проехать — мои санки слетали в канаву, в глубокий снег, сворачивались на бок, — и потом я их вытаскивал на дорогу, отдельно санки и корзину с землей.

Такая работа продолжалась до часу. После отдыха мы начинали вдвоем толочь лопатами торф и навоз на полу избушки. Мерзлую землю мы нагружали лопатами на верхнюю нару, чтобы она отошла за ночь. Потом мы растягивали «грохот» — рваную проволочную сетку в деревянной раме, и пропускали через нее нашу смесь, отбрасывая солому, камни и мерзлые глыбы. Потом я убирал сетку, и на полу оставалась готовая для рассыпки смесь. Я носил ее в деревянном ящике вдоль станков и насыпал каждому горшечнику запас земли под руку.

При этой работе мы были черны, засыпаны землей и вымазаны навозом, но зато днем от часу до трех имели полный отдых и ложились спать на земляном полу при печке, подложив полено под голову.

В сумерки вызывали нас строиться на дорогу. Мы умывались водой с плиты и выходили по одному. Бригада уже стояла у ворот и нетерпеливо поджидала нас. Нам кричали: «скорее!» Но мы шли очень медленно. Смертельное изнеможение сковывало наши члены. Мы шли через силу, с напряжением переставляя ноги, и угрюмо молчали.

16. ПИСЬМО ЭРЕНБУРГУ

Весной 42 года Круглицкий лагерь был поставлен пред лицом голодного истощения. В этом году мы впервые услышали слово: «алиментарная дистрофия».

Нам постепенно сокращали рационы. Силы наши убывали постепенно и непоправимо. Даже больничное питание перестало быть достаточным. Ступенчатая система лагерного питания потеряла смысл, после того как масса заключенных распалась фактически на две части, на тех, кто еще кое-как работал, и на тех, кто уже только делал вид, что работал. Между этими двумя категориями была минимальная разница в питании. Кто делал особенно тяжелую работу, получал микроскопические добавки в виде «дополнительного», «усиленного», «восстановительного» и других пайков. За этой номенклатурой скрывался черпачок жидкой арестантской кашицы или пирожок с морковкой или картофельный блин, которых каждый из нас мог бы съесть несколько дюжин без труда. Таким образом, еда нас больше раздражала, чем удовлетворяла. Мы впадали в апатию, в сонное оцепенение, как осенние мухи. Меня постоянно клонило ко сну. Когда я не работал, я ложился, и без движения проводил целые часы. В это время мне не хотелось есть. Я мог оставаться без пищи целый день, и несколько дополнительных часов ожидания не составляли разницы. Но когда, наконец, я получал свою порцию, голод разгорался, и, окончив есть, я был гораздо более голоден, чем в ожидании еды. Первые полчаса после приема пищи были мучительны. Все во мне было раздражено, и только потом я впадал незаметно в первоначальное состояние апатии, из которого меня вывела кормежка.

Есть мы были готовы все, что угодно. Иногда, неизвестно почему, раздавали на кухне горчицу. Хотя выдавали ее поздно вечером, после ужина, когда уже была съедена последняя крошка хлеба, все с волнением бежали под окно кухни. У кого не было по-

суды, подставлял палец, на который повар мазал горчицу, и все съедали ее, как подарок с неба. Мы ели хлеб черный и до того сырой, что он клеился в руке, хлеб с отрубями и соломой, хлеб с примесью кукурузной муки, который, засыхая, крошился в куски. Только два года спустя в лагерях Архангельской области появилась американская мука и американский яичный порошок. Но к тому времени наши ряды уже сильно поредели: население лагерей вымирало, а новых зэ-ка за эти годы не было.

Последнее обстоятельство было для нас источником надежды. Похоже было, что лагеря находились в состоянии естественной ликвидации. На наших глазах их население уменьшалось, и мы постепенно привыкли к успокоительной мысли, что советская власть в результате войны и сближения с западной демократией постепенно отойдет от этой позорной и постыдной формы современного рабовладения.

Кругом люди валились, как скошенная трава. Власть, которая не могла удержать их при жизни, закрывала пред ними выход на волю, в условия, где каждый мог бы отстоять свою жизнь. Многие из них оставили без помощи семьи, детей, и терзались больше при мысли о них, чем о себе. Не было и речи об экономическом обосновании лагерей в это время. Огромное большинство в них состояло из псевдо-работников, доходяг, лагобслуги, из непроизводительных элементов не только среди зэ-ка, но и среди вольных, занятых в охране и в администрации: все эти люди не окупали себя и мертвым балластом ложились на лагерное хозяйство. Содержание миллионной армии доходяг было очевидно дефицитно. Их держали в заключении из страха, по соображениям госбезопасности. Не «работа» этих людей, а их массовое вымирание было нужно государству. Трудоспособные зэ-ка в массе давали в лагере только незначительную часть той пользы, которую они могли бы принести на воле. Это было особенно очевидно, когда дело касалось высоко-квалифицированных специалистов: инженеров и врачей, учителей и профессоров,

хозяйственников и организаторов. Эти ценные и редкие люди, втоптанные в лагерную грязь, либо теряли образ человеческий, либо делали смешную, несоразмерную с их знаниями и никому не нужную работу.

С работы на горшечном производстве я был переброшен на скотный двор. Меня не допустили к уходу за коровами и свиньями. На этой работе я бы мог подкормиться, так как коровы доились, а свиней и поросят откармливали картошкой и овсянкой на молоке — кормили так, что скотницы имели что урвать и для себя. Но мы не имели доступа в свинарник, — как нищие, которых швейцар гонит от двери богача. Наше место было в полутемном коровнике, наполовину пустом. В углу опустелой и холодной половины стояла силосорезка, машина, нарезавшая силосный корм из веников — из тех прутьев, которые я собирал прошлой осенью.

С утра привозили нам несколько возов этих прутьев. Один подкладывал прутья в машину; двое вертели колесо. Силосорезка работала на лошадином приводе, но лошади не было. Вместо лошади приспособлен был писатель, захваченный за пределами Сов. Союза на территории другого государства, обращенный в рабство по праву победителя, как «социально-опасный элемент».

Колесо, не рассчитанное на человека, было так велико, что когда я поворачивал ручку, оно увлекало меня, то пригибало к земле, то подкидывало в воздух, я вертелся с этим колесом и на колесе, у меня темнело в глазах и захватывало дыхание. Чтобы не прийти в отчаяние, я считал обороты: 50-100 — и следил за своим напарником, который вертел то же колесо за ручку с другой стороны. Я давил ручку вниз и сразу отпускал — колесо оборачивалось на половину — и тогда нажимал мой напарник с противоположной стороны. Этот танец колеса продолжался до тех пор, пока не расстраивался ритм, и один из нас не начинал задерживать. Тогда бросали колесо и садились на минутку.

Напарником был Жуков, парень мордастый и работящий, сибиряк, из рода староверов. Он прежде всего принял меня в штыки и осыпал антисемитской бранью. На это я ему с места пригрозил уполномоченным: «Одного срока мало? Другой получишь!» — и он присмирел мгновенно, а на другой день мы уже были друзья. Жуков много мне рассказывал о сибирских нравах и житье, о своем деде, который неограниченно царствовал над семьей в 28 человек со взрослыми и женатыми сыновьями. До колхозов сибирские крестьяне на хуторах были скотоводами, лошадей держали сотнями — теперь целый колхоз имел лошадей не больше, чем когда-то один его дед. Еще он мне рассказал, что в их местах не умеют делать колбасу — «это дело немецкое» — и не хотят уметь, а просто солят свинину впрок. Старик старовер остался в памяти внука воплощением морального авторитета. Жуков-внук редко матерился — его в детстве отучили от этого — и он мне рассказывал, как старик ругался, когда был сердит: «а х т ы, е д о н а л е т ь, л я г у ш а м о к р а!» — это было вместо мата. Этот сибирский идиом я сразу принял и запомнил, и через год еще, встречая Жукова, кричал ему по-приятельски: — «Эй ты, едона леть! лягуша мокра!» — От таких слов Жуков сразу светлел и широко улыбался.

С утра в коровнике было холодно и темно. В конце коровника за перегородкой была печурка. Мы выходили, крадучись, на еще темный двор — своровать, где можно, несколько досок, бревно. Я шатался как пьяный под ношей бревна и шел, с трудом переставляя ноги. В каморке быстро пилили одолженной поперечкой, и, наконец, загорался огонек.

Во время паузы мои напарники куда-то исчезали — выходили на поиски еды. В коровнике пахло навозом и гнилым сеном, худые коровы стояли смирно в перегородках (на силосном питании они не давали больше 3-4 литров молока), проходила повязанная платком бледная заключенная коровница, похожая на монашку. Никуда не хотелось выходить, но че-

рез несколько дней голод выгнал меня. В конце двора была низенькая хибарка. Под вечер мы привозили туда на санках кадь с силосной сечкой и заправляли ее в большой чан над огнем. Кроме того, был вмурован в плиту резервуар с горячей водой. В углу этой хибарки мы обнаружили бочку, куда скотники вываливали отбросы от кормежки свиней — гниющую жидкую массу испорченного картофеля, издававшую нестерпимый запах помойной ямы. Из этой бочки отбросов мои напарники набирали гнилых остатков картофеля — полный котелок. С бесконечным терпением по несколько раз перемывали каждый огрызок в горячей воде, вырезывали почерневшую мякоть и получали крошечный здоровый остаток — с наперсток величиной. На эту работу уходил час времени, а в это время колесо стояло без движения, брошенное всеми. Я сначала смотрел с брезгливостью на эти манипуляции, но когда приходило время полдника — я пил горячую воду, а у них стояло по котелку картошки на плите, и она совсем не пахла помойной ямой, а как пахнет всякая здоровая картошка — или почти так. Вода, в которой она варилась, становилась бурой, и картошка хрустела на зубах, но они ели! Никому из них даже в голову не приходило дать мне попробовать, а у меня сердце выскакивало и дурно становилось от этого вида и запаха. На третий день я решился, пошел за ними и тоже сунул руку в вонючую жижу в помойной бочке. Теперь я уже знал, какое сокровище лежит в ней. Правда, у меня нехватило умения набрать на полный котелок, но все же, когда пришло время полдника, у меня стояла полная кружечка картофельных остатков, и этого было для меня достаточно. Дело было не только в калориях, но и в психологическом эффекте: я не был исключением, я тоже умел добыть еду там, где для нас ничего не приготовили.

Еду добывали буквально из-под земли. Целыми днями рылись в канаве у отхожего места и приносили что-то, что я бы принял за засохшие экскременты, но это оказалось сплошной массой картофельно-

го крахмала, остатками замерзшей и выброшенной месяцы назад картошки. Весь день, как голодные собаки, мы нюхали воздух, пристально следили за кухней, где варили для телят и поросят. В конце концов кто-то из нас вломился туда и схватил что-то. В наказание нас перевели со скотного двора на нефтебазу.

На нефтебазе ничего съедобного не было. Мы разгружали с платформ тяжелые баки, перекачивали из одних цистерн в другие нефть и машинное масло. На баках мы увидели надписи американской фирмы: это была заграничная нефть. Английская надпись была как привет с Запада, напоминание о том, что не все еще погибло для нас. Я смотрел на нее с волнением, как Робинзон, который на необитаемом острове находит след пребывания культурных людей. Мой бушлат в несколько дней промаслился и пропитался нефтью на долгие месяцы.

Потом пришло время на «окорковку». Эта работа заключается в том, что стволы с помощью топора и ножа очищаются начисто от коры, до белого лоска, до того, что клейкий древесный сок заливает руки. И уже в это время первое солнце светило на нас, ручьи бежали под ногами, древесина пахла. Дважды в день пробегал по полотну маленький моторный вагончик: начальство из Ерцева объезжало линию работ. По поездам мы считали время. В 8 часов утра шел поезд в одну сторону, в 5 часов возвращался обратно: старенький паровоз и два допотопных вагона царских времен. С обеих сторон жел. дороги работали заключенные, строили большой склад, мостили к нему бревенчатую подъездную дорогу.

В мае пробилась первая зеленая травка, и все бросились собирать траву. Вместе с нами искали лебеду и крапиву ребятишки из поселка — «вольняшки» на лагерном языке. Мы видели, что на воле было не сытнее, чем в лагере. Из книг я знал, что во времена голода едят «лебеду». Теперь я научился распозновать ее зеленые свежие листочки. Русские люди

научили меня, что молодая крапива стоит щавеля и шпината. О шпинате, впрочем, мало кто из них и слышал (кроме украинцев). Зато я никогда не слышал о растении, называемом «иван-чай». Из «иван-чая» пробовали варить суп для зэ-ка; даже умиравшие с голоду были не в состоянии проглотить этот горько-тошнотный настой, и в те дни, когда его варили, больше половины оставалось в котлах.

Были среди нас люди, которые вообще не признавали различия между съедобными и несъедобными травами. По их мнению, любая майская трава годилась в пищу. — «Что может корова съесть, то и я могу», — говорил Стецин, высокий худой блондин с запавшими голубыми глазами — фотограф на воле. В этом он ошибся, и еще до конца года закончил свои дни. Всюду сидели люди при кострах и занимались варкой: набирали кучу травы, нарезали ее ножичком мелко-мелко, набирали воды из ручья, и варили траву долго, кипятили, доливали, мешали. У них не было даже чем посолить эту травяную безвкусную и пресную массу, не говоря уже о других добавлениях. Один раз я попробовал эту стряпню. Меня стошнило. Очевидно, я еще не был достаточно голоден. Некоторые приносили с собой утренний завтрак — лагерную «баланду» — и домешивали травы, чтобы было больше. Так набивали желудок и обманывали себя. Вмешалась Санчасть и запретила варить траву. Стрелки и бригадиры стали опрокидывать котелки и выливать их содержимое. Худые страшные люди варили траву тайком, прячась от начальников, и каждый день происходили драки, когда пытались у них отнять котелок с травой. Так и не удалось отучить их от подножного корма. Только лето, друг голодных, с ягодами и грибами, принесло облегчение. Но мы, заключенные, конечно, и тогда — только в малой мере, нелегально и случайно могли использовать богатства леса.

На весну пришли в сангородок люди из ББК — группа, замыкавшая эвакуацию зэ-ка из района Медвежегорска. В числе этапных были знакомые с 48-ого

квадрата; они рассказали мне, как прошла зима в тех местах. Медвежегорск и Петрозаводск были заняты финнами, и от воздушных бомбардировок были жертвы среди лагерного населения. Этапы, ушедшие зимой и за последнее время, растаяли в пути от голода. Мой собеседник, украинский еврей Г. рассказал, что в пути его партия была отрезана от снабжения и попала в тупик, где оставалась несколько недель. Им выдавали по 100 гр. хлеба, потом по 50. Картофель был только для конвоя; этапным выдавали вместо супа — соленую воду, в которой варилась картошка для вольных. От голода и холода умирало ежедневно по 30 человек. Немногие остались в живых. Он рассказал мне сценку: конвойный выстрелил в кустах и вышел, смеясь: «Идите, я зайца убил!» Г. побежал в кусты и увидел труп собаки с размозженной головой. — «Я первый добежал, — рассказывал он, — и успел высосать мозг, пока другие доскочили...» От него же я узнал рецепт приготовления сыромятных ремней. Этапные съели в пути все кожаные пояса и голенища. Г. убеждал меня, что разрезанный на маленькие кусочки ремень, хорошо запеченный, ничем не отличается по вкусу от гусиных шкварок. Человек этот, с которым я провел несколько дней в круглицком стационаре, был в сентябре 1939 г. в составе Красной Армии, вторгшейся в Западную Украину, и от него я узнал о впечатлении, которое произвело на красноармейцев первое соприкосновение с заграницей. Эти рассказы были особенно поучительны для меня: из них было ясно, что советские люди, с которыми мы разговаривали тогда — лгали нам и скрывали свои настоящие чувства. Лгали не только нам: лгали в репортажах и путевых заметках корреспондентов, рисовавших нищету и забитость населения в «Панской Польше», как будто это был край, отставший от Сов. Союза на 200 лет, тогда как в действительности они были под впечатлением благосостояния, дешевизны и многообразия жизни в этой стране, и сознательно старались скрыть от нас то, что творилось в их собственной страшной стране. — Здесь,

в лагере, мы, наконец, могли говорить начистоту. И когда я рассказал украинскому еврею о Палестине, у него появились слезы в глазах: придет ли когда-нибудь время, когда разожмется рука, которая нас держит за горло?

Настал момент, когда все у меня кончилось сразу: силы, надежды, энергия, последние вещи износились, опорки свалились с ног, и украли последнюю рубаху. Тогда велели мне жить в 9-ом бараке, месте, которое тогда представляло воровской притон и где ночевали проходившие через Круглицу этапы. Партия зэ-ка, которую сегодня привели на ночевку и которая знает, что через день-два ее выведут — как саранча налетает на окрестность, хватает и тащит все, что попадет под руку, в расчете, что завтра спрашивать будет не с кого. Входя в барак такого рода, ищешь — к кому прилепиться: какое-нибудь приличное лицо, человек постарше, внушающий доверие. Так и в этот раз я выбрал себе «хороших соседей», но вечером они исчезли: одного взяли в этап, другого — в больницу. На их место легли: черномазый вор Яшка, многократно битый за кражу, а с другой стороны парень со столь зверской рожей и узенькими татарскими щелочками глаз, что от одного вида мне стало холодно, и я помчался к помощнику коменданта — з/к Павлову: «Спасите, заберите в приличный барак! Эти люди меня разденут!» Но Павлов в ответ только нюхнул мой пропахший нефтебазой бушлат, посмотрел на мои лохмотья и ухмыльнулся. Это значило: «Куда тебя положить в таком виде?»

Проснувшись на следующее утро к подъему, я увидел, что работа сделана: мой зеленый деревянный чемоданчик был вынут из-под головы, вывернут и валялся на полу среди нар, а главное — пропала пайка хлеба, мое единственное сокровище. Потеря всего «имущества» не так поразила меня, как отсутствие хлеба в тот момент, когда я протянул за ним руку. Вор Яшка или татарин — кто из них взял мой хлеб?.. Но прежде всего надо было побежать с рапортом о

пропаже вещей к коменданту Павлову. Спускаясь с верхних нар, среди шума и сутолоки, среди галдящих и занятых собой людей, я вдруг увидел на месте парня со зверской рожей свежую пайку — кусок в 300 грамм. Все они имели свой хлеб, нетронутый, а я один должен был голодать? Я не думал ни секунды, и спускаясь с нар, положил себе в карман эту пайку моего врага. По дороге к коменданту в контору я забежал в какой-то темный угол и мгновенно съел эти 300 грамм. Съел с торжеством, с триумфом и с чувством человека, за которым осталось последнее слово.

Вернувшись в барак, я застал потасовку: на моей наре каталось двое тел, и парень со зверской рожей смертным боем лупил вора Яшку: «Где мой хлеб? Сию минуту подай сюда хлеб!» — «Я не брал, не брал твоего хлеба!» — жалобно вопил Яшка. Он был прав, но трудно ему было доказать свою правоту, когда рядом двое соседей было ограблено. Неизвестно, кто из этих двух людей, сцепившихся в яростной свалке, обворовал меня. Мне это было все равно, и оба были наказаны: один потерял 300 грамм хлеба, а другой был избит. Я с мрачным удовлетворением — и без малейшего зазрения совести — созерцал свалку.

Озираясь вокруг себя, я видел мир, по сравнению с которым «На дне» Горького и его «Бывшие Люди» — были слащавым и манерным кокетством литератора. Как эти люди, о которых писал Горький — вместе с их молодым автором — были влюблены в себя и полны сознания собственной необыкновенности и живописности! Здесь было только беспредельное унижение и забитость, здесь люди не играли в картинное бунтарство, не смели считать себя протестантами, не смели стать в позу какого-нибудь Кувалды или барона. Советская власть их выучила облизывать тарелки: когда в бараке кончали скудный ужин, большинство зэ-ка вылизывало свои миски до чиста, как собаки, а другие для той же цели пользовались ребром указательного пальца, которым старательно очищали миску, а потом облизывали палец; это считалось «более культурным».

Я не был героем и исключением. Я тоже лазил пальцем в котелок, как окружавшие меня.

Но мое несчастье было жесточе, нелепее и бессмысленнее, потому что я знал другую жизнь, был чужой, пришел с Запада, о котором эти люди ничего не подозревали. Их семьи и прошлое было разрушено, за ними ничего не было, кроме пожарища, им нечего было оплакивать! Я же, каждый вечер засыпая голодный на наре, в пронзительном электрическом свете, который горел всю ночь в круглицких бараках — закрывал глаза и не мог не думать о том, что в это время происходит д о м а.

Девять часов по московскому времени. Значит семь по варшавскому. Восемь в Тель-Авиве. Улица, ведущая к морю. В столовой накрыт круглый стол. Каждая мелочь на своем месте. Члены семьи и друзья за столом. В Палестине нет войны, люди и вещи выглядят как в то время, когда я еще не выпал из мира. Как сказочно накрыт стол! Белоснежная скатерть, и масло — в форме лепестков розы. Мне не нужно масла. Если бы я только мог войти тихо, никем невидимый, и за плечом той, которая ждет меня, протянуть руку и взять один-единственный кусок хлеба с блюда. Один кусок хлеба! **Я умираю от голода на каторге, в аду, о котором никто на свете не знает!**

За что?..

Будь я в руках нацистов, я знал бы — за то, что я еврей. Какое же право имела московская власть вырвать из моей жизни лучшие творческие годы, лишить меня лица, растоптать, замучить, обратить в рабство, довести до нужды и отчаяния мою семью, положить конец моей писательской деятельности? Ведь я даже не был **их** человеком, не был советским гражданином, а только пленником, от которого они не могли требовать ни советского патриотизма, ни советского энтузиазма, ни советского паспорта, ни желания оставаться в их стране. И однако, они отправили меня как преступника в «исправительно-трудовой» лагерь — за то, что у меня не было советского паспорта и было желание вернуться к себе домой!

Если бы я попал в руки китайских хунхузов или негров «ниам-ниам», у меня была бы надежда откупиться за деньги, — но я был в руках великой державы, к которой никто не смел подступиться, которая построила 10.000 лагерей и гноила в них людей втайне, в глубочайшем секрете от всего мира! Я задыхался от чудовищной неправдоподобности, от кошмарной нелепости, от нечеловеческой подлости того, что происходило со мной и с миллионами таких как я. Я предвидел, что это слишком страшно, чтобы кто-нибудь на белом свете мог поверить этому впоследствии. Это слишком далеко от них, от благополучных американцев и невинных швейцарцев, от демократов всех классов, народов и партий, которые решили легкомысленно, что фашизм и «Гитлер» есть единственная причина всех несчастий на свете.

Нельзя было задавать такого вопроса: «за что?» В этом вопросе был уже вызов страшной силе, сознание своего права, своей особой ценности и своего равноправия пред лицом государства. С нами поступали без лишних разговоров, не объясняя действительных мотивов и не вглядываясь в наши лица. Камень, раздробленный в щебень, по которому проходит тяжелый вал дорожной машины, не больше может спрашивать «за что?» Мы больше не были людьми с индивидуальным обличьем и особой судьбой. Мы были цифрами в массе, один как другой, — и все вместе — окаменелой, обледенелой поверхностью, по которой шел вперед советский танк, по головам и шеям, по спинам, по телам, по раздробленным в щебень человеческим существованиям.

Миллионы людей погибают в советских лагерях. Их слишком много, чтобы можно было поставить вопрос «за что?» Столько виновных нет во всем мире. Но остается еще вопрос: з а ч е м ? — Зачем советскому государству система, раскалывающая население страны на 2 категории и создающая подземную невидимую Россию — как страшный погреб, куда, кроме жертв, имеют право входа только посвященные и причастные «свои» люди?

З а ч е м ?

Если этот погреб нужен для изоляции и уничтожения недовольных или потенциальных противников среди собственного населения, то какая ошибка, какое затмение ума заставило Политбюро послать туда полмиллиона польских граждан в 1940 году? На что они рассчитывали? На то, что все они там вымрут? Или на то, что они выйдут оттуда друзьями Сов. власти? А ведь у этих людей было в Польше и во всем мире несколько м и л л и о н о в родственников, отцов, матерей, жен, детей, братьев, сестер, которые не могли их забыть и отречься от них, и которые до конца своих дней не перестали бы добиваться у Сов. правительства ответа на вопрос: «ч т о в ы с н и- м и с д е л а л и?»

Не подлежит сомнению, что когда летом 40 года послали в лагеря сотни тысяч польских граждан, советское правительство не ожидало, что Польша когда-либо восстанет, как самостоятельный политический фактор. Наплевать им было не только на нас и на наших «родственников», но и на весь остальной польский народ. Кто бы мог потащить их к ответу? Польша была разделена между Россией и Германией, и некому было требовать ответа за лагерный позор. В этом они ошиблись: ровно через год положение радикально изменилось, и им пришлось объявить «амнистию» польским зэ-ка. Лагеря перестали быть тайной для мира. Но когда поляки заграницей начали рассказывать о своих переживаниях, был ответ: «это фашисты, их нечего слушать». Правда, многие поляки, прошедшие через заключение в лагерях, фашизировались под их влиянием. В других условиях они стали бы друзьями России. В этих условиях они вынесли из лагерей не только смертельную ненависть к советскому строю, но и грубый и преступный шовинизм, о котором я, как польский еврей, имею некоторое представление. В России знают действительные чувства поляков к Советскому Союзу. Таким образом, мартиролог польских граждан в Сов. Союзе в годы войны, начало которого идет от сталинско-гит-

леровского раздела Польши в сентябре 39 года, создал для Сов. Союза добавочную необходимость закрепить всеми правдами и неправдами господство и контроль над Польшей. — Летом 1942 года мы, сидевшие в лагерях польские граждане, узнали о новом конфликте между поляками и русскими, и поняли, что нам не видать свободы, пока этот конфликт не будет улажен. И мы поняли также, что он может быть улажен только под условием создания такой Польши, где Советский Союз будет «т а б у» — неприкосновенен для критики. Ибо ни в какой стране мира свобода говорить правду о Советском Союзе не может быть менее терпима для сов. правительства, как именно в Польше, где камни кричат об обиде, насилии и предательстве — не только с Запада, но и с Востока.

Весной 42 года предо мной встал остро вопрос о рубахе на теле.

... Уже 3 месяца, как у меня не было рубахи. Все было покрадено, и на голом теле я носил рваную куртку, а сверху — промасленный казенный бушлат. Весной надо было раздобывать рубаху. Я вспомнил школьный рассказ о том, как больной царевне сказали, что она излечится, когда оденет рубашку счастливого человека. По всему царству искали счастливого человека, и, наконец, нашли. Это был пастух. Спросили у него рубашку — и оказалось, что счастливец не имел рубахи на теле. Отсюда мораль: в царском дворце можно горевать, а в шалаше быть счастливым. Не в богатстве дело. Однако, в лагере я убедился, что одно отсутствие рубашки еще не делает человека счастливым.

В том полусумасшедшем и невменяемом состоянии, в котором я находился в весну 1942 года, рубашка стала для меня поворотным пунктом. Я думаю, что если бы мне не удалось тогда раздобыть ее, я кончил бы полным сумасшествием. Я стоял тогда на краю душевной катастрофы. Все для меня сконцентрировалось в одном пункте: добыть рубаху. Я полагаю, что это был здоровый подход. Если бы я продолжал

предаваться отчаянию по поводу вещей, которых я изменить не мог, я бы помешался. Вместо этого, я сконцентрировал все свое неистовое отчаяние на одном-единственном пункте: нет рубашки! Как жить без рубашки?

Я применил единственное оружие, которое было у меня в лагере: силу слова. Я написал заявление начальнице ЧОС'а Гордеевой. Я довел до ее сведения, что мне нужна немедленная помощь; что я доведен до полного изнеможения; я даже не имею рубахи на теле. Как жить? Есть граница, ниже которой человек не смеет опуститься!..

Гордеева была женщина с очень энергичным худым лицом классной дамы, совершенно седыми волосами (ей было под сорок), держалась строго, серьезно и деловито, не позволяя себе ни улыбки, ни лишнего слова. Это была типичная службистка. В прошлом она уже была начальником лагпункта. - Выслушав меня, она задумалась: проситель выглядит как чучело, но — человек ученый, «доктор философии» и западник. Пишет гладко, но известно, что чем человек грамотнее, тем хуже работает. А на весь лагпункт — только пяток рубах первого срока, — забронированных на особые случаи. Но как же быть с человеком, употребляющим столь сильные слова: «граница, ниже которой человек не смеет опуститься?» И она выписала мне рубаху *первого срока*.

Каптер глазам не поверил: кому рубаха? Но когда и Павел Иванович, инспектор ЧОС'а, подтвердил высочайшую волю, — выдали мне новехенькую, ненадеванную рубаху толстого миткаля, с деревянными пуговицами, длинную, цвета сливочного масла — одеяние богов. Такую рубаху я сию минуту мог обменять на хлеб. Но я и не думал продавать ее! Я облачился в нее, как в чудотворную броню. В этой рубахе я мог еще год держаться в лагере.

Такова была сила слова! Но я решил идти дальше. Я написал письмо Илье Эренбургу. Понятно, я не рассчитывал на то, что Илья Эренбуг это письмо по-

лучит. Даже, если бы он его получил — никогда этот лауреат и заслуженный советский классик не позволил бы себе отвечать на письма, приходящие из лагеря! Советские писатели хорошо знают, с кем можно и с кем нельзя переписываться. Это — люди законопослушные и осторожные: «орденоносцы». Но я и не рассчитывал вовсе на И. Эренбурга, с которым когда-то, — во времена давно-прошедшие, — имел общих знакомых, и который никогда не знал меня лично. Я хотел только с помощью этого письма закрепить личный контакт с Гордеевой, начальницей ЧОС'а.

Вот что я написал Эренбургу.

... Я не советский гражданин. Меня объединяет с Вами литература. В моих глазах Вы — посол русской литературы заграницей, один из людей, представляющих Советский Союз в общественном мнении Запада. Вы не можете помнить меня и тех времен, когда мы встречались в берлинском «Доме Культуры» и "Prager Diele". Я зато Вас хорошо знаю: от первых стихов.

«В одежде города синьора — на сцену выхода
я ждал
И по ошибке режиссера — на пять столетий
запоздал...».

и позже, когда Вы так энергично поправили ошибку режиссера, и до «Падения Парижа» — последнего, что попало в мои руки.

... Теперь мне нужна Ваша спешная помощь. Судьба привела меня на крайний север России. Мир полон моих друзей. Но я отрезан от них, и во всем Советском Союзе нет ни одного человека, к которому я бы мог обратиться с такой просьбой. Помогите мне, как может помочь один работник пера другому. Пришлите мне несколько книг (если можно, английских), несколько слов (если можно, дружеских). Контакт с Вами имеет для меня великое значение... Если заняты, поручите кому-нибудь другому ответить...

Из головы не выходит у меня одно Ваше четверостишие (кажется, из «Звериного Тепла»):

Молю, о ненависть, пребудь на страже,
Среди камней и рубенсовских тел.
Пошли и мне неслыханную тяжесть,
Чтоб я второй земли не захотел...

Я повторяю часто эти строки, хотя мое окружение очень далеко от Рубенса и больше напоминает призраки Гойи...»

В оригинале было немножко иначе. И слова «ненависть» не было в последней цитате, чтобы не смущать цензуру догадкой о том, что за ненависть такая — и кому, и зачем посылается неслыханная тяжесть...

Это нелепое письмо, вроде чеховского письма «на деревню дедушке», я отнес Гордеевой. Во-первых, я поблагодарил ее за рубашку и за «человеческое участие» (хитрец!), а во-вторых, попросил у нее совета: вот, написано письмо Эренбургу. Как она думает — отсылать ли?

Мне хотелось проломить стену, которая отделяет начальство от зэ-ка, заинтересовать Гордееву, заставить ее видеть во мне **человека**, а не заключенную «единицу рабсилы». Я знал обычную женскую психологию (любопытство, инстинкт опекания, интерес к непонятному), но не знал психологии советской женщины. Гордееву письмо напугало, и первое ее движение было — подальше от греха. Никакого совета она мне не дала, а схватила письмо и немедленно, как только я вышел из ее кабинета, отнесла начальнику Отделения Богрову, который тогда находился в Круглице. Больше ни я с ней, ни она со мной ни о чем не разговаривали...

На следующий день я был вызван к Богрову. Начальник Отделения, (т. е. серии лагпунктов вокруг Круглицы), заинтересовался странным письмом и его автором. Письмо содержало явный «крик о помощи в пространство». Пухлощекий и толстый Богров обошелся со мной очень мило, посадил, угостил из кисета махорочкой, — и три часа разговора пролетели

как одна минутка. Богров, конечно, читал Эренбурга, но были в моем письме непонятные места, которые он попросил объяснить. Что такое "Prager Diele"? А кто это Гойя? Мы разговаривали, как двое равных, точно я к нему в гости пришел. Разговор пошел сперва об Эренбурге, потом о том, как я попал в советский исправительный лагерь, наконец, о жизни в Европе и Польше. Я мог убедиться, как мало знало наше начальство об обстоятельствах, приведших в их распоряжение столько иностранцев «западников». Неподдельное удивление отражлось в глазах Богрова, когда он услышал рассказ о том, как зарегистрировали полмиллиона беженцев «на возвращение», а потом вывезли их в противоположную сторону, в лагеря. Если теория марксизма утверждает, что средний человек в капиталистическом мире обречен на фатальное непонимание целого, и мир поэтому кажется ему иррациональным и превышающим разумение, — то здесь сидел предо мной Massenmensch советской системы, который не понимал даже того, что происходило у него под носом. Наш разговор скоро ушел в сторону, и Богров начал с наивным любопытством расспрашивать о совершенно постороннем. Я работал до войны в акционерном обществе, что это такое? — Хитрый механизм этого капиталистического учреждения просто захватил его. Так мы переходили от темы к теме, совершенно забыв, где находимся. Наконец, Богров спохватился. Я спросил о письме. Он его спрятал в карман. — «Да нет, знаете, — все равно, не отошлют ведь». И спросил, как мне живется. Не стоило спрашивать: вид мой сам за себя говорил. Богров меня утешил: «летом легче будет», — и отпустил меня, в повышенном настроении. На этом и кончилась моя переписка с Эренбургом. Не знаю, было ли это случайным совпадением, но мне казалось, что после беседы с Богровым отношение ко мне круглицкой админстрации стало лучше, и работа легче. Затем, этот разговор имел продолжение, о чем позже

17. «КАВЕЧЕ»

От полудюжины людей зависит лагерный распорядок.

Вершина пирамиды власти — это начальник лагпункта и начальник ВОХР'а. Командир взвода военнизированной охраны не подчиняется начальнику лагпункта. Это власть параллельная, и часто происходят между ними трения и споры. Начальник лагпункта — полновластный хозяин в четырех стенах своего лагеря, но ключи от его царства переданы другому. Комвзвода отвечает за охрану, и может в любой момент вернуть в лагерь бригаду з/к, если ему не угодно, чтобы она оставалась за границами лагеря...

Начальник лагпункта имеет под собою ряд подчиненных:

Прежде всего — начальник работ. Его дело — выполнять и перевыполнять план производства, максимально использовать наличную рабсилу. Его дело — эксплоатация. Его обязанность: каждое утро выводить зэ-ка́ на работу и давать государству конкретные результаты.

Деятельность его, понятно, нуждается в противовесе. Рядом с начальником работ стоит начальник Санчасти. Дело Санчасти — следить, чтобы люди сохраняли трудоспособность и не болели в убыток государству. Санчасть — не гуманитарное учреждение. Никто не занимается в лагере филантропией и милосердием. Не "res sacra miser", как учит христианство, а "res utilis miser", заключенные работают и приносят пользу заточившему их государству.

Санчасть — необходимый тормоз в деле беспощадной эксплоатации. Если бы не было Санчасти, заключенных загоняли бы до смерти, или они бы вымерли от эпидемий. Санчасть сохраняет фонд рабсилы в состоянии годном для использования, поскольку это в ее силах. Для этого у нее два средства: лечение и отдых. Оба в неадэкватной, недостаточной степени. Нельзя забывать, что Санчасть не лечит свободных людей в их интересах. Санчасть лечит рабов в ин-

тересах работодателя, и если число больных подымается в лагере, начальник Санчасти и медперсонал отвечают не за страдания и смерть людей, а за расточение рабочей силы, принадлежащей государству.

Кормлением и одеванием зэ-ка́, всей материальной частью занимается ООС, — отдел особого снабжения — которому сответствует в каждом лагпункте — ЧОС: часть особого снабжения. От энергии начальника ЧОС'а завасит, удастся ли получить для данного лагпункта еще одну бочку капусты, запас круп, забросят ли растительного масла, махорки и т. п. Если данный лагпункт перевыполнил план — туда подбросят, в виде поощрения, больше продуктов. Если работают плохо — начальника лагпункта снимут, а заключенные не получат и того, что полагается по закону. Лагеря снабжаются нерегулярно, с перебоями, — и как правило поступают туда продукты наихудшего качества.

Однако, схема лагерной жизни остается неполной, пока не рассказано о КВЧ — кульътурно-воспитательной части. В этом выражается советский гуманизм. Царская каторга не имела культурно-воспитательной части, там не воспитывали и не употребляли высоких слов. Подобно тому как Санчасть противодействует физическому упадку зэ-ка́, КВЧ противодействует их духовному упадку. День, когда будут уничтожены лагеря вместе с их Санчатью и КВЧ, будет днем победы действительного гуманизма, но пока они существуют, — КВЧ исполняет роль киоска с прохладительными напитками в зале публичного дома.

Уже на 48-ом квадрате мы имели «воспитателя», но работа была там слишком тяжела, воспитатель слишком малограмотен, а человеческий материал (западники) — слишком труден для воздействия. Влияние лагерной культуры выразилось, главным образом, в усвоении российского «лексикона», который запад-

ники переняли с легкостью. Зато в сангородке Круглица КВЧ была поставлена прекрасно. Это бросалось в глаза уже при входе на территорию лагпункта: громкоговорители радио на открытом воздухе, стенгазета, плакаты, лозунги, надписи!

Утром гармонист играет на разводе: сел на ступеньку вахты, закрыл измученные старческие глаза, — венгерец, занесенный войной в Польшу — и наяривает вальс «На сопках Манчжурии». Гармонь звучит жидко, зэ-ка́ ежатся от холода, никому не весело, и меньше всего музыканту, который боится, что пройдет причуда начальства, и придется ему снова выходить на общие работы.

Построили трибуну у ворот вахты, и на разводе задерживают бригады на лишнюю четверть часа. Каждое утро подымается на трибуну начальник КВЧ — парень тупой и не умеющий связать двух слов, — и держит, заикаясь, речь о необходимости поднять темп весеннего сева. Откуда они берут в КВЧ таких беспросветно-нелепых людей? Ответ прост: кто поумнее, пристроился на лучшей работе, места в лагерях вообще для неудачников, а из всех лагерных функций самая неблагодарная — именно культурно-воспитательная: тут ничем не поживишься, это не производство и не кухня. За пять лет я не встретил в КВЧ ни одного интеллигентного человека — из вольных. Заключенные — другое дело: они охотно отсиживаются в КВЧ от тяжелой физической работы.

За годы войны работали в круглицкой КВЧ вольные женщины из поселка, молоденькие, невежественные и запуганные, все мысли которых были при детях, оставленных дома без присмотра. Тяжкая была у них жизнь, не много лучше нашей... Мужья на фронте, хлеба нехватало... Каждая сменила бы охотно культурно-воспитательную работу в лагере на теплое местечко при столовке или складе... Во всем круглицком поселке вряд ли можно было найти дюжину человек, умевших грамотно писать и выражаться порусски. Среди зэ-ка́ не было недостатка в высокообразованных людях — но чем образованнее они бы-

ли, тем подозрительнее к ним относились и понятно, не было речи о том, чтобы поручить им ответственную функцию в КВЧ. На 48-ом квадрате русские люди советовали мне скрыть знание иностранных языков. «За каждый иностранный язык — лишний год прибавят!» — говорили они. Однако, лагерная администрация была недостаточна понятлива даже для того, чтобы последовательно провести отстранение заключенной интеллигенции от участия в работе КВЧ. Нормально, политические исключались из списков «чтецов», т. е. людей, которым передавались нумера газет для чтения вслух по баракам. На 48-ом квадрате меня лишили права читать вслух газету, но это не помешало тому, что в Круглице, в мае 1943 г., я был несколько недель... инспектором КВЧ, и сбежал с этой работы только когда возложили на меня непосильное бремя: во время развода, пока гармонист настраивал лады, а начальник КВЧ произносил речь с трибуны, полагалось мне выходить с красным знаменем в руках и стоять под трибуной в качестве живой декорации.

Гармонист, речь с трубуны, инспектор КВЧ с красным знаменем — все это был даровой театр для зэ-ка. Прежде всего, это оттягивало на несколько минут выход на работу. Затем это нарушало обычный порядок развода, вносило развлечение. К самой речи толпа зэ-ка прислушивалась с каменной серьезностью, ничем не выдавая своих чувств: никто не рукоплескал в конце и не смеялся, когда оратор, запутавшись в середине, плел вздор. Выслушивали — и шли. Привычка долгих лет создает в лагере своеобразное равнодушие и иммунитет ко всякого рода словам: агитировать зэ-ка — напрасный труд. Они все знают. Разница между красивой и неудачной речью для них равна нулю.

Круглица — очаг лагерной культуры. Здесь можно ее изучать в высшем проявлении. От времени до времени КВЧ выпускает стенную газету. Она называется «За Темпы» или «Выше Знамя» или «Стахановец» и пишется от руки наилучшим рисовальщиком

лагпункта. В заголовке цветная картинка: поле, над которым подымается восходящее солнце, пахарь идет за плугом, могучий и широкоплечий, как былинный Микула. Со стороны смотрят на него с обожанием: девушка с длинными косами и дети. Потом передовая статья: «перевыполним программу весеннего сева!» — Потом корреспонденция о непорядках в 10-ой бригаде: нарисован отказчик, спящий под кустом во время работы. — Потом заметка о людях, которые не соблюдают правил гигиены и оправляются за углом барака. — Потом таблица КВЧ о результатах трудсоревнования на лагпункте. — Потом большими буквами: «Честь и слава отличникам производства!» и фамилии 5 человек, дающих от 150 до 200% на косьбе и строительстве. — В сельхозе поймали заключенного на краже нескольких картошек. Нарисован этот заключенный в виде Петрушки-Паяца, рука правосудия, которая вытягивает у него краденую картошку из кармана, и подписано: «любитель печеной картошки будет иметь время в штрафизоляторе подумать о результатах своих действий». Эта газета вывешивается у вахты на доске за проволочной сеткой. За проволочной же сеткой раз в неделю или в 2 недели можно видеть номер «Правды Севера» — газеты, выходящей в Архангельске, или даже номер «Правды» или «Известий», 10-дневной давности. Проволочная сетка необходима — иначе газеты были бы немедленно содраны и раскурены.

Помещение КВЧ состоит из 2 комнаток: кабинет начальника, всегда запертый в его отсутствие, и комната, где стоит шкафчик с книгами, стол, скамьи по стенам. На стене — большая карта Сов. Союза. Это большая драгоценность, и имеется не на каждом лагпункте. Заключенным вообще не разрешается держать географических карт, и мы, западники, с трудом ориентировались в том, куда нас завезли. За 3 года на Круглице я наизусть выучил эту карту. Прибалтийские государства лежали еще на ней за пределами России, а половина Польши входила в состав Германии. Карта эта кочевала: иногда ее забирали в

кабинет к начальнику, иногда она висела в столовке зэ-ка, сияя красным цветом на пол Азии и Европы.

Библиотека состояла из случайных книжек и брошюр, вроде «Курс свиноводства» и «Речь Молотова на 18 съезде Советов». Читать было нечего, и, что было, выдавалось только особо надежным людям, которые не раскурят книги. «Читающих» было в лагере человек 20, из числа хронических больных в стационаре, и они раздобывали себе книги через посредство вольных из поселка. Среди вольных книга тоже была редкостью. Каждая книга, которую завозили в Круглицу, обходила весь круг читателей, и мы иногда месяцами ждали своей очереди. — Отдельно стояли в шкафчике КВЧ «Вопросы ленинизма» Сталина в 3 разных изданиях, второй том популярного издания Маркса и томов 20 полного собрания сочинений Ленина. Этих книг никому не показывали и я был их единственным читателем в Круглице. Я не помню чтобы за это время хотя бы один человек заинтересовался ими. В бараке я заботливо прятал эти толстые томы, чтобы соседи-курящие не вырывали страниц. Выдавали их мне полуофициально и неохотно. Одно время уполномоченный совсем запретил выдавать их мне. Почему? КВЧ в лагере не занимается политическим образованием заключенных, и всякий интерес с их стороны к теории и классикам марксизма принимается с недоверием. Книги Ленина и Сталина очень святы, но это не предмет для критического изучения. Обыкновенный советский смертный относится к ним с некоторым испугом. Для них нужна подготовка; их читают в кружках с партийными инструкторами, а для массы существует минимум и канонические руководства, выходить за их пределы является признаком нездорового любопытства.

В КВЧ обыкновенно работает какой-нибудь смирный и неспособный к физическому труду заключенный, делающий фактическую работу за своих полуграмотных «вольных» начальников. Все на нем: библиотека, раздача и отправка писем, распределение

газет для чтения по баракам, контроль процентного выполнения плана отдельными бригадами, картотека дисциплинарных взысканий, т. е. запись, кто, когда и за что сидел в карцере, составление характеристик, прилагаемых к каждому заявлению или ходатайству зэ-ка, составление газеты, развешивание плакатов, составление отчетов, заполняемых фантастическими сведениями о культурной жизни лагпункта. Он не только почтальон, редактор и культорганизатор, он, кроме того, еще и дневальный в помещении КВЧ, т. е. спит в нем, топит, моет пол и подметает. В промежутке между подметанием и разноской писем он пишет «характеристику» приблизительно такого рода:

— «з/к такой-то, срок и статья такие-то, работает 6 месяцев возчиком, работу выполняет на 70%, в быту поведения хорошего, дисциплинарным взысканиям не подвергался».

Эту «характеристику» подписывает начальник КВЧ и от нее часто зависит судьба заявления, направляемого в правление Лаг'а, или в отделение.

За столом КВЧ, заваленным кистями и красками, работает двое-трое маляров, изготовляющих без конца плакаты и лозунги. Они пишут на досках и потом вывешивают их всюду, где можно. Лагпункт облеплен лозунгами до того, что их уже не замечают: если бы сняли, заключенные заметили бы перемену. Лозунги приходят готовые из центра. Нельзя изменить в них ни буквы, но можно сделать выбор из нескольких десятков лозунгов: выбирают покороче, чтобы писать не надо было много. Впрочем, художники КВЧ не заинтересованы в том, чтобы быстрее кончать работу. Наоборот, в их интересах тянуть и размазывать, так как их работа не нормирована и оплачивается, как всякая ненормированная работа — 2-ым котлом и 500 гр. хлеба в день.

Содержание плакатов патриотическое: «Родина зовет!» — «Все на борьбу с фашистскими захватчиками». — Родина рассчитывает на патриотизм людей в заключении, изолированных и лишенных права употреблять слово «товарищ». Эти люди участвуют в

освободительной войне России, сидя в концлагерях под охраной! До лета 1941 года родина их рассматривала, как рабочий скот и опасность для государства. Теперь, после военной катастрофы, когда немцы проникли в глубь России, родина попрежнему держит их в лагерях, но ждет от них патриотизма! И все мы, конечно, великие патриоты.

После начала войны поток прошений полился из лагерей с просьбой об освобождении и отправке на фронт. Но Советская власть даже в самые тяжелые моменты войны не рисковала включить заключенных в ряды армии.

Другие плакаты — производственные: «Подымем темпы!» — «Беспощадно уничтожим отказчиков и бракоделов» — «Сегодня работать хорошо — завтра еще лучше!» — Внутри бараков — еще другие плакаты: «Соблюдай чистоту и следи за чистотой соседа». — «Веди себя культурно!» — «Не пей сырой воды!» — От плакатов спрятаться некуда. Засыпаешь в переполненном бараке, читая надпись на противоположной стене: «Кто не работает, тот не ест!» — а первое, что видишь, пробуждаясь, это лозунг: «Да здравствует братство народов СССР!» — Лучшей иллюстрацией этого братства была наша нара, где тесно прижавшись один к другому спали впятером: Хассан Оглы Худай Берды, Юлиус Марголин, украинский рыбак Беловченко, финн-художник Котро и китаец Ван Чан-лу, который слово «рубашка» выговаривал не иначе, как «лубáшика».

Основной культурно-воспитательный дивертисмент Круглицы — это кино и радио. Круглица в этом смысле была оборудована образцово. Первый и пятый год заключения я провел в лагерях, лишенных этих удобств. Зато 3 круглицких года были сдобрены обильно музыкой и киносеансами.

Кино для заключенных устраивалось летом на открытом воздухе, а зимой в помещении столовки, выстроенном в 43 году, а до того в одном из бараков. От времени до времени устраивались сеансы для больных, составлявших половину населения сангород-

ка. Тогда сносились скамейки в коридор первого стационара, и из окружающих больничных бараков начинали сползаться в серых больничных халатах, с трудом передвигая ноги, те, кто еще был способен на это усилие. Для больных, месяцами лежавших на койках, это было великим событием. Человек 50 собиралось на такие сеансы. На кино для здоровых приходило до 100 человек, включая и лагерное начальство. Всего было в Круглице до 700 человек з/к. Рядовые работяги или инвалиды после еды сразу ложились спать, и им было не до кино.

Киносеансы устраивались нерегулярно, то раз в неделю, то раз в месяц. С утра уже известно, что прибыл киномеханик (под конвоем), и если успеет к вечеру поправить передвижной киноаппарат, будет кино. Аппарат почему-то всегда нуждается в ремонте. После ужина публика начинает собираться в помещении столовки. Столы сдвинуты в сторону, со всех бараков несут скамьи и табуреты, на стене растягивают белую простыню. Час и два проходит в ожидании начала. Понемножку сходятся придурки и поварихи, сиделки и медсестры в чистых платочках, щеголиха Настя Печонкина в полосатой юбке, сшитой из польской пижамы, парикмахер Гриша со смертельно влюбленной в него конторщицей Сашей, Семиволос и Агронская, Нинка и Лизавета Ивановна, интеллигенция лагеря, бригадиры и молодежь, металлисты из ЦТРМ с вечно-черными неотмываемыми лицами, а в самой середине — сияющий и довольный Максик, д-р Макс Альбертович Розенберг, человек неслыханного добродушия и великий любитель кино. Маленькое помещение переполнено, люди сидят на столах сбоку и толкутся у дверей. Отдельно в боковой нише, как в ложе, сидит Гордеева и несколько «вольных» гостей. Я прихожу со своим табуретом, и, подняв его над головой, проталкиваюсь в передний ряд, где и устраиваюсь у окошка.

Наконец, гаснет свет, и киномеханик, окруженный народом, начинает вертеть ручку. Сразу на экране является тень голов, слишком близко сидящих; их отсаживают подальше, и начинается действо.

Лагерное кино не совсем похоже на то, что известо под этим именем в странах капиталистической конкуренции. Что-то мелькает на полотне темно и неясно. Какое-то пятно или крюк упрямо проступает на простыне экрана. То и дело рвется старый изношенный фильм. Как в дедовские времена — после каждой части фильма — перерыв. Звукопередача никуда не годится, и в середине сеанса киноаппарат обязательно портится, и публика ждет терпеливо, пока его починят. Тем временем в дверь ломятся запоздавшие, но стража их не пускает. Запоздавшие не уходят, а ждут, пока пройдет какой-нибудь важный чин лагерной администрации, которого нельзя не пустить, и тогда валят за ним следом в приоткрывшуюся дверь. Валят скорее из принципа, так как в задних рядах стоящим все равно ничего не видать. Дело и не в фильме, который по большей части скучен, растянут и непонятен, а в том, чтобы стоять в темноте, вытягивать шею, слушать треск и хриплые шумы, томиться ожиданием: «когда уже конец?» и наслаждаться сознанием участия в культурном времяпрепровождении. Развлечение вносит появление дневального из «штаба», громко вызывающего в темноту: — «Зэ-ка такой-то! Бригадир такой-то! Немедленно явиться к начальнику лагпункта!» — После чего в гуще сидящих происходит движение, и начинается проталкивание между тесно сдвинутых рядов.

Больше всех фильмов, виденных в лагере, запомнился мне один, под названием (кажется) «День Мира». Фильм этот в один из августовских дней 1940 года накручивала в десятках пунктов Сов. Союза целая армия кинооператоров, и целью его было дать разрез обыкновенного рабочего дня великой страны. Мы видим, как на рассвете подымаются люди на работу в колхозах Камчатки и горах Кавказа, как просыпается миллионная Москва, дети идут в школу, а Михаил Иванович Калинин в здание Верховного Совета, как тракторы сходят с конвейера фабрик, а суда со стапелей верфей, как ученые работают в лабораториях, как ликует толпа на стадионах, кверху

ползет занавес театра, и на сцене стоит Уланова... Прекрасный обзор дня на шестой части земной суши, симфонический и полный динамики фильм...

... Сидя в уголке на табурете, я вспомнил то, что не вошло в этот фильм: как я сам провел — этот самый августовский день 40 года на 48 квадрате Второго онежского отделения исправит.-трудовых лагерей ББК, — вспомнил, и мурашки поползли у меня по спине... Как провели этот день миллионы заключенных в тысячах концлагерей Советского Союза?

Газеты, книги, кино — все эти «эффекты» имели в жизни заключенного скорее символическое значение, как напоминание о мире, из которого он выпал: случайный привет, крупинки со стола, от которого нас прогнали. Настоящую связь с внешним миром (в советском смысле слова) составляло радио. Сангородок Круглица был радиофицирован в такой степени, что радио стало частью обыденной жизни. В дни, когда радио не действовало в бараке, мы чувствовали пустоту и уныние. Радио отвлекало от мыслей о еде, помогало забыть о нашей беде. Заключенным включали радио утром от 7 до 9, и вечером от 7 до 12. Утренней передачи мы не слышали, выходя на работу, — она была привилегией больных и лагобслуги. Зато вечер в круглицких бараках без радио — непредставим.

Не надо и здесь представлять себе идиллии. Советское радио не надо смешивать с тем, которое читатель этих строк имеет с своей комнате. Радиоаппаратов нет. Огромное большинство советских людей впервые увидело их заграницей в годы войны. Дома — радиопреемники составляют привилегию надежных «своих» людей — советской аристократии. Из тысяч советских людей, с которыми я разговаривал в лагерях, только один до ареста имел настоящий радиоаппарат у себя на квартире: это был директор днепропетровского завода пищевой индустрии и член партии. Серая масса обслуживается «радиоузлами» — как население лагерей, так и вольные.

В глубине барака под потолком или на столбе

укреплен из восковой бумаги диск громкоговорителя. Нельзя ни выключить, ни регулировать передачи. Это "Zwangsradio". Воронка, вставленная в наши уши. Хочешь, не хочешь — радио говорит. Кто не любит «радиовещания» — ложится подальше: радио слышно ясно и внятно только в непосредственной близости. Поэтому вечером, когда сто человек, или больше, гомонит в бараке, обедает, перетряхивает вещи, ссорится, раздевается, ищет вшей, играет в карты, курит, варит, когда дневальный в одном конце рубит дрова, а в другом у боченка с водой стоит очередь с кружками — в эту кутерьму вливается гудение и дребезжание из эфира, которое никого особенно не беспокоит и воспринимается привычным ухом, как обычный лагерный шум. Только когда приходит время фронтовой сводки — начинается шиканье и крики: «дайте слушать!» Кто действительно хочет слушать — подходит вплотную под диск и наставляет ухо. Потом эти люди перескажут другим, что слышали. Большинство не слушает, а если и слушает, не разбирается. В каждом бараке есть один-два человека, у которых все спрашивают: что сегодня передавали? Музыки зато не надо слушать. Она сама входит в уши. И что это за музыка!

Каждый из нас, услышав нечто подобное дома, поскорее выключил бы радио и позвал монтера посмотреть, что испортилось. Но здесь — это нормальное явление. Именно так должно звучить радио, монополизированное государством. Можно (вольному) отказаться от него, но нельзя заменить его лучшим. Нам, зэ-ка, нельзя и отказаться. Половина бараков на Круглице, если бы их опросили, отказалась бы от этого фальсификата, который так же похож на нормальное радио, как лагерная баланда на нормальную еду, лагерный барак на нормальное жилище и советская демократия на свободную человеческую жизнь. Это — те бараки, где громко выражают удовольствие, когда ломается громкоговоритель, и по неделям не беспокоят КВЧ просьбой о поправке. Однако, не все так бесчувственны и некультурны! Мы, любители радио,

понемножку приноровились к его хрипу и визгу, научились различать музыкальный смысл в его какофонии: мы знаем, что это Бетховен и Глинка, с поправкой на несовершенство передачи. Мы были терпимы и терпеливы. Иногда радио рычало, как тысяча буйволов, но вдруг вырывалась из него чистая кантилена Ойстраха, и мы слушали ее набожно, хотя в этом смрадном логове голос скрипки звучал почти как контрреволюция.

С годами я привык засыпать под морской прибой, под лепет и шумы радио. Всегда мое место было на верхней наре. Там не только теплее, но и дальше от людей. Над головой потолок, угрюмые балки в паутине и трещинах. Барак с его толчеей где-то внизу — невиден. Радио — в ногах, или совсем близко. День кончен, и съеден отложенный на вечер хлеб — и остается слушать низкий голос Руслановой (этой советской Плевицкой) или хор Пятницкого с гнусаво-задорным рефреном песни... «И кто его знает, зачем он моргает»... и снова Чайковского, которым так же злоупотребляют в советском радио, как в польском до войны злоупотребляли Шопеном. Слушая, я засыпал, и только в половине двенадцатого открывал глаза — выслушать последние новости. Последние 5 минут посвящены новостям из-за границы, тогда напрягается внимание и садишься на наре: не пропустить ни слова. Весь барак спит уже с 10-ти. Спят возчики, землекопы, живые скелеты, голодные русские мужики, а над ними, как привидение, как нелепый абсурд, порхает мелодия: Дебюсси для каторжников. Дебюсси хоть не мешает им спать. Но иногда в нашем бараке, полном храпа, клопов, разутых портянок и зэ-ка, так и не раздевшихся из-за холода, или крайней слабости, начинает заливаться колоратурное сопрано. Надо представить себе комбинацию отчаянного женского визга с трелями и фиоритурами советской радиотехники и мозолистых мужицких ушей в поздний час всеобщей смертельной усталости. Такая комбинация на Западе немыслима: для этого необходимы советские лагеря и КВЧ. Вдруг, за три ме-

ста от меня, подымается дико мужик со сна. Это кубанский садовник Гаврило, человек под 60, который в лагере возит навоз, ходит в рыжей хламиде из дерюги и в ней же спит. Его всклокоченная голова с торчащей вперед острой бороденкой, пьяные со сна глаза, полминуты всматривается по направлению, откуда несутся пронзительные нечеловеческие "staccato", и произносит раздельно и тихо:

— Ррегочет, кобыла!

Столько смертельной ненависти, столько бессилия защититься от этого ночного наваждения и глумления в этих двух словах, что мне становится и смешно, и жалко. Радио — отличная вещь, итальянская ария — и подавно, а садовник Гаврило — мастер в своем деле не меньше, чем Верди с своем. Жаль, что Иосиф Виссарионович, вдохновитель и создатель КВЧ, в большом кабинете кремлевского дворца, где стоит прекрасный заграничный аппарат, не слышит ни этой музыки, ни этого комментария. Может быть, он упразднил бы — если не лагеря, то хоть колоратурные упражнения в лагерях...

В полночь радиопрограмма кончалась «Интернационалом». Среди войны ввели новый гимн, — и воскресло слово, которое, казалось, уже было забыто:

Союз нерушимый республик советских
Сплотила навеки великая Русь...

Мелодия этого гимна, медленно-тяжелая, клубящаяся и мощная, как грохочущий исполинский танк — несложная до того, что ее могут петь даже безголосые — навеки врезалась в мою память. Тысячу раз я слышал в лагере старый и новый советский гимн. На всю жизнь они связаны у меня с воспоминанием о телах, простертых на нарах и поверженных в оцепенение — или с видом бригад, стягивающихся на вахту в ранний рассветный час. — «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов...» — это мы понимали буквально, как сигнал на побудку... Пять лет спустя я был с товарищем лагерных лет на собрании в Тель-Авиве, которое закончилось пением

«Интернационала». Когда раздались первые знакомые звуки, я оглянулся на товарища и увидел, что ему нехорошо. Лицо его покрылось бледностью, глаза блуждали... Ему, должно быть, показалось, что он снова в старой мышеловке. Он повернулся и начал крадучись пробираться к выходу. Но выйти ему не дали. Молодые люди загородили ему дорогу и заставили прослушать «Интернационал» до конца. Он закрыл глаза и сразу успокоился. На улице я его спросил: «куда ты побежал?» Он ответил: «Знаешь — как только з а с т а в и л и меня слушать, я сразу вернулся в то старое привычное состояние лагерника. Я закрыл глаза, и мне показалось, что рядом со мною стоит еще 200 миллионов советских граждан. Т а к это нормально, т а к это полагается: слушать «Интернационал» по принуждению... А иначе слушать я уже никогда больше не смогу»...

Советское радио, без сомнения, является самым скверным, самым серым и скучным во всем мире; оно перегружено однообразной пропагандой, не обязано быть интересным и рассчитано на самых примитивных слушателей. Путем настойчивых и монотонных повторений приучают массу к определенным стандартам, одобренным свыше всесоюзной КВЧ. Песни Руслановой мне очень нравились в первый раз, но в тысячный раз они меня раздражали, как назойливая муха. Сладкая лиричность Чайковского в этих условиях — тягостна и оскорбительна. Но все равно — все это вместе, Чайковский и Русланова, передовицы «Правды» и лозунг «убей немца», были прочно вколочены в мой мозг и подсознание. Нет такого лозунга, нет такой нелепицы и лжи, которых нельзя было бы путем тысячекратных и многолетних повторений навязать сознанию человека. На этом механическом подходе и основана колоссальная работа советского радио на службе кремлевской диктатуры. Миллионы советских людей, которые с детства слышат одно и то же и никогда не слышали другого радио, кроме советского, беззащитны против систематического его влияния. Не надо убеждать; достаточно повторять.

Если бы радио трижды в день в течение 25 лет повторяло, что 2 х 2 = 5, то и это стало бы обычным убеждением советских граждан. В этом страшная опасность оглупления, которую современная техника создает в странах тоталитарного режима. У нас не было в лагере хлеба досыта, но именно поэтому мы имели вдоволь радио — «опиум для народа» по рецепту Политбюро. Только в лагере я понял, что значит «свобода выбора», и думаю, что короткое пребывание в нем научило бы каждого западного «скептика» лучше понимать смысл политической свободы, которой он пользуется, и демократических вольностей, которыми он избалован до снобистского пресыщения.

Два явления с железной логикой вытекают из системы лагерного воспитания:

1. Чисто городское интеллигентское слово «культура», до советской власти вообще чуждое массовому человеку, теперь употребляет и знает каждый лагерник, наравне с такими словами, как «план», «норма» и «сто грамм». Понятие культуры в лагере равнозначно с понятием «гигиена». В уме обыкновенного русского человека оно ассоциируется с мылом и зубной щеткой. Быть культурным значит мыться, быть чистым и не плевать на пол. Величайшее преступление против культуры — пропустить баню. Достижение Советской власти в том, что слова «культура», которое раньше было известно немногим избранным, теперь поступило в мещанский обиход. Но под этим именем насаждается жалкий эрзатц. Перед культурой каждый уважающий себя советский обыватель чувствует себя не в порядке, если у него не вычищены до глянца ботинки и нет простыни на кровати. Сплошь и рядом в бараке можно слышать, как комендант сыплет матерной грязной бранью за некультурность, т. е. за то, что люди после нечеловеческой работы легли не раздевшись на нары. Он не понимает, что, кроме чистоты телесной, есть еще чистота другого рода, и его сквернословие по крайней мере так же некультурно, как неподметенный пол и грязные нары. Еще меньше он в состоянии понять, что лагер-

ные нары, даже дочиста вымытые руками зэ-ка — несовместимы с культурой и представляют глубочайший позор и унижение человека. Чтобы сделать из зэ-ка культурных людей, надо было бы их, прежде всего, вывести из лагерей. Советская власть поступает наоборот: сажает в лагеря миллионы людей, а потом организует для них, лишенных образа и подобия человеческого — «культурно-воспитательную часть». Она не отрицает культуры: она только передает ее в ведение жандармов, и так ее препарирует, что каждый хам и тюремщик может чувствовать себя ее представителем и инструктором.

2. За пределами культурной гигиены и внешнего приличия каждая культурная ценность скомпрометирована в глазах массы з/к, и подорвано уважение к культуре, монополизированной и представляемой служащими КВЧ. Лагерника нельзя научить уважать книгу, или научную мысль, или музыку. Наоборот: все эти вещи для него очевидно составляют часть хомута, надетого на его шею, — орудие вражеской силы. — КВЧ периодически отбирает способную лагерную молодежь и посылает на особые курсы для нормировщиков, приемщиков, конторщиков, приспособленные к особым требованиям лагеря. Люди, прошедшие эти курсы, получают квалификацию, но не могут проникнуться уважением к знанию, которое, как они видят, поставлено на службу НКВД. В уме этих людей создается опасная ассоциация между ценностями культуры и формой порабощения, существующей в лагерях и направляемой извне.

И вот типичная картинка: я прихожу на вечерний прием в амбулаторию с книгой, зная, что в очереди придется ждать больше часу. Но человек с книгой раздражает окружение. Вид человека, читающего книгу, действует им на нервы. Казалось бы я сижу тихо и никому не мешаю. Но вокруг меня постепенно нарастает атмосфера отчуждения и обиды, как будто бы я среди богомольных евреев закурил в субботу папиросу... Неприязненные взгляды... И наконец, долговязый лохматый работяга, весь в бинтах от фурун-

кулов, не выдерживает и обращается ко мне: «Слушай! — говорит он, — сделай милость, закрой ты эту книжку... не могу я смотреть, как ты в ее уткнулся... чего это все с книжками ходят... образованные...» Человек этот чувствует какую-то связь между моей книжкой и своим несчастьем. Ненависть к режиму, которая не находит себе никакого политического проявления, приняла форму ненависти к интеллигенции вообще, от которой все несчастье. Темная масса в России не знает ни другой интеллигенции, ни другой книги, ни другой науки, ни другой идеологии, кроме коммунистической. Глухое и стихийное отвращение к идеологии, равнодушие и презрение ко всякой идеологии охватило все слои населения, залило шестую часть земного шара.

Русский народ поразительно талантлив, и нет такого лагеря, где бы в тысячной массе не отыскалось певцов, танцоров и рассказчиков. Эти люди под руководством заключенных в лагеря профессиональных артистов развлекают, как могут, себя и других. На Круглице находилась вдова расстрелянного в Советском Союзе польского поэта-коммуниста Вандурского. Это была полька из Киева, опереточная артистка. В лагерь она попала в 1937 году, как жена своего мужа, уже несколько лет после его расстрела, — увяла и состарилась в короткий срок, — но еще сохраняла претензии и манеры «звезды». Она работала в портняжной мастерской, и весь Каргопольлаг знал «Ванду». На открытой сцене в Сангородке я видел одно ее выступление. Густо набеленная и наряженная в пестрый ситец, она пела, кокетливо улыбаясь и поводя плечами: «Мирандолина! Мирандолина!» — а на скамьях сидели кругом сотни заключенных. Это было в июле, во время короткого северного лета. На четырех вышках в четырех углах ограды лагеря стояли часовые с ружьями, тюремный частокол с высоким проволочным заграждением отделял нас от воли, а на площадке внутри шло «представление». Сыграли скетч: все были в пиджаках, с трудом раздобытых у вольных жителей поселка. Вид заключенных в пид-

жаках вызывал взрывы хохота. Потом были танцы. Под звуки баяна танцовали вальс и польку; заключенные женщины в мужских телогрейках и юбках с обтрепанным подолом кружились с кавалерами в заплатанных штанах и гимнастерках второго срока, с мертвенно-бледными изрытыми лицами и ввалившимися щеками, с выбитыми зубами и остриженными головами. Направо был карцер, налево вошебойка, сзади вахта, спереди запретная зона. Каждый из этих людей имел за собой тюрьму и голод, разрушенную жизнь, смерть любимых и разлуку с родными. Это была лагерная идиллия, лагерный праздник. Танцовала лагерная б. с нарядчиком, Ванда с поваром, Нинка с Семиволосом, фармацевт с поломойкой, осетин с латышкой, китаец с воровкой, парикмахер Гриша с конторщицей Соней; две приземистых бабы со вздернутыми носами, из прачечной, для которых не нашлось кавалеров, танцовали друг с другом, с видом деревянных манекенов. А сбоку стоял начальник КВЧ в армейской шинели и смятой фуражке, и смотрел с удовольствием. — Конторщица Саня была счастлива, не подозревая, что завтра утром отправят ее по этапу в другой лагпункт, и не увидит она больше ни своего Гриши, ни конторы, ни Сангородка Кругглица, где так замечательно поставлена КВЧ.

18. ИСААК ПЯТЫЙ

С течением времени жизнь в лагере приняла черты тихого и ровного безумия, экспериментального Бедлама или фильма, накручиваемого вверх ногами в кривом зеркале. Мы то ходили в сельхоз собирать гусениц; то убирали камни с полей; то воздвигали изгороди из выкорчеванных пней; то ощипывали хвою с еловых ветвей. Каждая из этих работ была нужна в том особом мире, где мы жили.

Я вижу себя ползающим по сырой борозде капустного огорода. Гектары молодой капусты изъедены червями. Зеленые листья качанов густо покрыты жирными зелеными червями, гусеницами большими

и малыми, еле видными глазу. С одного качана можно снять 20 и 40 штук, смотря по прилежанию. Каждый из нас вооружен дощечкой и деревянной спицей, которой он сковыривает червей. Скоро мы бросаем эти неудобные спицы и начинаем руками давить гусениц. Сперва это кажется противно, но через полчаса нам уже все равно. По 15 бороздам движутся 15 зэ-ка́, которые сами похожи на огромных серых гусениц. Они то приседают на корточки, то стремительно бегут вперед, когда видят, что соседи обогнали их. Это не работа для людей брезгливых или нервных. Сколько ни снимешь червей — еще останется их довольно, и ни у кого нет ни терпения, ни времени долго возиться с одним качаном. Качаны опрысканы чем-то ядовитым и горьким, и зеленые листья несъедобны. Но все суют их в рот, и на завтра полбригады будет больна желудком. Сколько времени можно обирать червей с капусты? Половина из нас — окретиневшие полуидиоты, половина — тяжкие неврастеники, но и те и другие через несколько часов уже только делают вид, что работают. Их без труда уличают в преступном нерадении (вредительство!), т. е. в том, что пройденные борозды кишат попрежнему червями, — и заставляют проделать работу сначала.

Тем временем есть на складе в сельхозе квашенная капуста, и надо только улучить мгновение, и, пока дремлет стрелок, метров на 200 пробраться в сторону, где склад. Двери открыты, работники выкатывают наружу огромные порожние бочки. Во внутрь склада прорваться невозможно. Там стоит заключенный завскладом Анисим Петрович, мужик злой, бородатый, глаза волчьи и кулак с гирю. Но в сенях склада застряла бочка с капустой. Известие об этом с молниеносной быстротой расходится по всему сельхозу. Со всех сторон подходят смельчаки, заглядывая в дверь. Анисим Петрович в глубине склада чем-то занят. Кто-то набрался духу, вскочил, свернул с бочки тяжелую крышку. Засунул руку, еще всю в беловато-зеленой течи от капустных червей, — и цап

одну пригоршню капусты, потом вторую. Куда? В карман бушлата. Зубы ломит от мерзлой холодной капусты. Одному удалось, за ним второй и третий. И вдруг из-за дверей выскакивает Анисим Петрович с лицом, искаженным злобой и яростью. Люди опрометью бегут прочь, но один паренек (берлинского происхождения), с нежным ртом и грустными семитскими глазами, не уступает. Он продолжает торопливо набивать карманы, пока Анисим не подлетает к нему, вырывает из рук капусту и повернув за плечи к выходу, бьет из всей силы в спину, по шее:

— Сволочь, ворюга!

Все равно, капуста наша. Мы набиваем капустой котелок — я и парень, родившийся в Берлине — и ставим его на огонь в печке теплицы. Часа через два доспеют капустные щи. Но, к несчастью, кто-то подсмотрел, как мы ставили на огонь котелок. Через полчаса бежит берлинец, на лице ни кровинки. Кто-то спер котелок вместе с капустой. До слез обидно Исааку: ни котелка, ни капусты, а главное — даром, ни за что получил по шее от Анисима Петровича.

Пять Исааков было в моей жизни, и это был — пятый. Все пять были непохожи друг на друга.

Первый Исаак был мой дядя, старший брат моей матери. Он жил в городе Пинске, и у него в доме я воспитывался, когда мне было 10 лет.

Это был человек мягкий, добрый и слабохарактерный. Ему я обязан тем, что играю в шахматы с 10-летнего возраста. В 10 лет его шахматное искусство восхищало и озадачивало меня, но в 15 я уже его обыгрывал. Дядя Исаак обанкротился в том самом году, когда я поселился в его доме. Под окнами собирались скандалить шумные кредиторы, и все были в доме несчастны, но ничто не могло поколебать стихийного добродушия дяди Исаака.

До банкротства дядя Исаак был состоятельным человеком, а после банкротства дети его выросли коммунистами, помогали делать Октябрьскую рево-

люцию на Украине, и дядя Исаак умер в доме дочери-коммунистки где-то в советской Пензе.

Второй Исаак был мой любимый старший кузен, пролетарий и революционер. Он боролся с царским самодержавием, сидел по тюрьмам, и от него я узнал впервые, что можно любить «свободу», и ничего нет вкуснее куска хлеба с головкой чесноку. Он и меня научил есть хлеб с чесноком. Это был рыжеватый парень с серыми веселыми глазами — «бундист». В 1920 году мой кузен Исаак наступал с Красной Армией на Польшу, взял родной город Пинск и был в нем членом Ревкома. При отступлении из города он был убит, вернее — пропал без вести. Вышел из города последним — и след его пропал. Больше никто, нигде и никогда не видел кузена Исаака.

Третий Исаак играл прекрасно в теннис, кончил медицинский факультет в Цюрихе, и когда вернулся в Польшу, то оказалось, что ему, как Исааку, нельзя нигде получить даже бесплатной работы. Этот Исаак не был ни еврей, ни поляк, ни русский. Поэтому он стал американцем. Он во-время, т. е. в 1938 году, уехал из Польши в Америку. Пришлось ему там первое время заниматься фотографией, но в конце концов американцы согласились использовать его как врача, и мой шурин Исаак назвал свою дочку «Франсес Карол» — и купил себе в рассрочку автомобиль недурной марки.

Четвертый Исаак не был родственник, а просто товарищ. Был у него в Польше родительский дом и наследственные перины, но когда отец не захотел отпустить его в Палестину (отец в Ченстохове решил дожидаться пришествия Мессии), юный Исаак бросил отчий дом, спал в Варшаве полтора года на столе в «организации» и потом уехал в Палестину нелегально. Вдоль далматского и албанского побережья, через Бару, мимо Корфу и многих островов привел нелегальный кораблик человек триста к еврейскому берегу. Это было в 1938 году. На родине Исааку пришлось поголодать. Ему принадлежит историческая заслуга: он боролся героически за передачу ассени-

зационного обоза в Тель-Авиве, оккупированного арабами, в еврейские руки. Он один из первых поехал на бочке, но через год все увидели Исаака на более квалифицированной работе, а о дальнейших его превращениях хроника умалчивает (до поры до времени).

Историю четырех Исааков я рассказывал пятому не так коротко, как она приводится здесь, ибо в лагере мы не были заинтересованы в сжатости. Сроки у нас были длинные, времени много, и мы рассказами убивали время, разменивали настоящее на прошлое, чтобы скорее дождаться будущего. Как врага, мы встречали каждый месяц — и провожали, не жалея. Мы верили, что придет когда-нибудь такой месяц, который будет нашим другом.

Исаак пятый пристал ко мне в сангородке Круглица в ту весну, когда нам обоим было достаточно плохо. Нас обоих исключили из амнистии. Его и нельзя было амнистировать, за отсутствием приговора. Он сидел в лагере «без срока», — так, просто, — в ожидании, что начальство вспомнит о нем и выпешет ему какой-нибудь срок. Это был сын берлинского домовладельца, по фамилии Кнопф. Родители его были польские евреи, осевшие в Берлине еще до убийства Ратенау. Отец имел галантерейный магазинчик где-то в окрестностях Uhlandstrasse, двадцать лет копил деньги и купил себе дом в Шарлоттенбурге. Исаак родился в Берлине и провел в нем первые 17 лет своей жизни. Это был настоящий “Berlinerjunge”, со всеми ужимками и берлинским диалектом, единственный маменькин сынок, нежнолицый, большеглазый. После захвата власти Гитлером семья еще 5 лет оставалась в Берлине. И дом и магазинчик немцы отобрали, но, видно, еще не так плохо жилось берлинским евреям, если 80.000 их упорно оставалось на старом месте. Наконец, в 1938 году немцы их силой вернули в Польшу, и юный Исаак, 17-ти лет отроду попал в Галицию, которая ему сильно не понравилась после Берлина. За год он кое-как научился по-польски, но тут разразилась война и разделила семью. Родители остались

в «немецком» Кракове, а юный Исаак у тетки в «советском» Львове. Он поступил кельнером в ресторан, но весной 1940 года дал маху, записавшись на возвращение к папе-маме в Краков. В июне его арестовали и без объявления срока привезли в Каргопольлаг. Теперь, спустя 2 года, стоял предо мной тощий, долговязый и слабосильный юноша, искавший защиты и объяснения — что такое делается на свете?

То, что он вырос в Берлине и говорил по-немецки, как настоящий наци — сильно скомпрометировало его в глазах советской власти. На всякий случай оставили его в лагере «до особого распоряжения», которое м. б. и до сих пор не наступило. Дальнейшая судьба пятого Исаака мне неизвестна. Но на Круглице мы были большими друзьями. Мы помещались вместе, вместе работали и учились. Исаак пятый стал моим духовным сыном. Знакомство началось с того, что он подошел ко мне попросить почитать книжку. В разговоре он застенчиво улыбался и, опустив ресницы, глядел «в себя», — как будто не стоило глядеть на все окружающее. Он выражался очень благовоспитанно, по-немецки — и был курьезно непохож на лагерный тип молодежи. Не волчонок и не шакал, а смирная комнатная собачка, которая потерялась на улице, набрала вшей и впервые сделала открытие, что существует на свете живодер.

Я постарался объяснить ему, что он — всего лишь пятый: не первый и не последний, а один из тех, кем судьба играет как мячиком, — и что надо пробовать отбиться от несчастья путем мобилизации внутренних ресурсов. Но таких ресурсов не было у него по молодости лет. Сладкое немецкое детство перешло в заячий страх и стыд, потом была чужая Польша с чужими и неприятными евреями в кафтанах и пейсах, потом «советский гуманизм», от которого мог растеряться и более умудренный опытом человек. То, что держало этого еврейского немчика на поверхности — было знание о другой жизни: он знал и помнил, что есть Европа дивной красоты, совсем непохожая на эту лагерную трясину, но с ней и с ним что-то случи-

лось, чего он понять не мог. И вот я принялся ему рассказывать о людях, о вещах, событиях и идеях, обо всем, что, как я надеялся, могло его поддержать и укрепить. Я ему преподавал, я хотел из него сделать «сильного человека» в лагере. Сперва он заинтересовался, но одних рассказов мало в лагере. Потом наступил процесс, который я напрасно старался задержать — процесс «захлебывания». Человек захлебывается в лагере, как утопающий в соленой воде моря. Некоторое время он держится — на доске, на спасательном круге. Но в конце концов, если не вытащить его из воды, он идет ко дну.

В сельхозе сеяли картошку. Семенной картофель привозили под охраной вооруженных, складывали в поле, и стрелки с винтовками оберегали мешки от зэ-ка́, которые весь день кружили около. У самих стрелков карманы были полны краденной картошки и овощей: у них дома были голодные дети. Мы с Исааком пятым тоже попробовали стянуть картошку, но позорно провалились. Когда мы пришли, никого не было видно из охраны, и у нас дух захватило от такой удачи: мы быстро подкрались и положили себе каждый по 10 картошек в карман. Но стрелок сидел в засаде за пустыми ящиками и все видел. Он нам дал отойти на несколько шагов, потом выскочил и заставил вернуться. Возвращаясь под дулом винтовки, мы нехотя и через силу выбрасывали картошку из карманов на дорогу. Когда мы подошли к стрелку, наши карманы были пусты, но за нами по земле тянулся предательский след из картофелин. Другие зэ-ка́ бросились подбирать их, и пока стрелок вырывал у них картошку, мы успехи сбежать.

Больше нас к картошке не подпускали. Мы с Исааком нашли себе другую специальность как «маркировщики».

Садили зеленый лук. То и дело подносили из теплицы рассаду зеленого лука в лукошках. Этим делом занимались женщины. Мы двигались перед ними с тяжелой доской, на которой было 10 зубов в 2 ряда.

Эту доску мы укладывали поперек гряды и потом вступали на нее, нажимали ногами с двух сторон и исполняли на ней индийский танец. Зубцы входили в рыхлую землю, и в гряде оставались 10 ямок-луночек в 2 ряда. Мы перекладывали доску и так покрывали всю гряду ровными рядами луночек. За нами шли женщины с луком, в каждую луночку вставляли рассаду и присыпали землей. Эта нетрудная для здорового человека работа вгоняла нас в пот. Кончив гряду в 80 метров длины, мы ложились на землю и отдыхали, не говоря ни слова.

Когда из теплицы подходила женщина с рассадой, мы настораживались и пристально следили за ее движениями. Подойти к ней мы не могли, но мы ее просили глазами. Незаметно она выбрасывала в борозду несколько пучков луку. Когда она уходила — не раньше — мы подбирали этот лук. К сожалению, нельзя много съесть зеленого луку. Мы слабели со дня на день.

Среди этой работы вызвали меня в «штаб». Это было продолжение беседы с Богровым. На этот раз в кабинете сидел человек из правления Каргопольлага, не то следователь, не то сверх-уполномоченный. Он начал очень любезно расспрашивать меня, но вдруг я увидел, что он записывает мои ответы. Мне стало нехорошо. Я проклинал несчастную глупость с письмом Эренбургу, которая сосредоточила на мне внимание НКВД. Наконец, я сообразил, что в советском лагере здоровее всего притаиться как мышь и не вдаваться ни в какие лишние разговоры с властью. Гордеева передала меня Богрову, а Богров этому человеку. Я решил, что на этом мои отношения с официальными лицами кончатся.

— Вы доктор философии, — сказал он, — заграницей учились. Стало быть, философ буржуазный. Правильно?

— Нет, — сказал я, — я не буржуазный философ. Я по своим воззрениям даже близок к диалектическому материализму.

— Как же можно назвать ваше направление?

Я подумал и сказал решительно:

— Диалектический реализм.

Мой собеседник быстро записал этот термин.

— Какая разница между диалектическим реализмом и диалектическим материализмом?

— Да почти никакой, — улыбнулся я... — Знаете, Ленин употреблял слово «материализм» как равнозначущее слову «реализм».

— Гм!.. — сказал он и начал что-то вспоминать... — А как вы смотрите на Гегеля?

— Гегель — сказал я твердо — имеет большое историческое значение. Маркс поставил его впервые на ноги, а до того он стоял на голове. Мы взяли от Гегеля его диалектический метод, но отбросили устаревшее содержание его идеалистической системы.

Тут мой следователь сдался. Отложил карандаш и рассмеялся.

— Да что я буду записывать, — сказал он. — По части философии я, скажу прямо, слаб. — Скажите, на вас лагерь, вероятно, произвел сильное впечатление. Будете помнить, возможно, писать о нем?

— О да, — сказал я восторженно, — очень большое впечатление. У меня есть основания быть благодарным лагерю. Мы, книжные люди, в лагере научаемся новым вещам, перевоспитываемся. Я только здесь понял, что такое действительный советский гуманизм. Считаю, что пребывание в лагере оздоровило меня, пошло на пользу. Жаль, конечно, что оно несколько... затягивается. А насчет того, чтобы писать, то я, конечно, буду писать. Не о лагерях, понятно, а по специальности: я думаю, что смогу развить теорию диалектики, двинуть ее вперед... в духе классиков марксизма.

— Вы ценный человек! — сказал с убеждением следователь. — Надо, надо помочь такому человеку. Было бы жаль, если бы такой высококультурный человек погиб в лагере. Кстати, вы здесь с кем-нибудь разговариваете... на философские темы?

— Нет, — сказал я с грустью. — Здесь нет фило-

софов. И я ни с кем не могу поговорить о философии. Вы — первый человек...

— Знаете, вы бы очень могли помочь нам, как человек интеллигентный. Здесь много скрытых врагов Советского Союза. Вы часто слышите их высказывания, и вам, конечно, легче понять, что они говорят, чем какому-нибудь темному человеку. Мы очень бы ценили, если бы вы от времени до времени сообщали нам...

Предложение такого рода делается почти каждому зэ-ка, и совсем не значит, что вас считают за «своего» человека. Доносчика можно сделать из каждого робкого и голодного человека, если втянуть его понемногу на дорогу дружеских бесед и личного контакта. Сперва расспрашивают о самочувствии, о впечатлениях, потом об отдельных людях, потом приглашают еще разок, потом встречают как старого приятеля, потом оказывают давление, переходят к угрозам. Надо уметь выкрутиться из этой сети, не раздражая своих милых и любезных собеседников.

Я начал смеяться от души.

— На Круглице все меня хорошо знают. Если бы я сам, гражданин начальник, предложил вам свои услуги в качестве информатора, вам бы надо было обеими руками от меня отмахнуться. Я не гожусь для этой работы: меня всякий видит, а я сам — человек подслеповатый. Мне не с людьми, а с книгами только можно дело иметь...

— Вы не поняли меня! — сказал начальник. — Я не имел в виду систематических рапортов. Но если вы что-нибудь услышите, то это ваш прямой долг — передать нам!

— О, конечно! Об этом и говорить нечего! Это само собой понятно! Это не только долг, это для каждого порядочного человека удовольствие. Для каждого зэ-ка без исключения. Я только ничего с п е ц и а л ь н о не могу взять на себя.

Мы расстались очень мило. Разговор с начальством был наедине, и потом местные начальники с беспокойством расспрашивали меня, чем и кем он инте-

ресовался. Мне нечего было им рассказывать, и я их успокоил с чистой совестью, сказав, что разговор не касался людей из Круглицы.

Тем временем Исаак пятый начал огорчать меня. На примере этого юноши мне начинало уясняться то, что можно назвать — лагерным неврозом. Заключенным не полагается иметь нервов. Никто не плачет в лагере, и однако нет в нем ни одного человека, который не пережил бы своего потрясения. В лагере нет нормальных людей, это лишь следствие того факта, что лагерь в целом не есть нормальное учреждение. Никто из моих созаключенных не был нормальным человеком. Исаак пятый был относительно душевно здоров, когда мы подружились; он только был очень напуган. На моих глазах этот страх стал принимать истерические формы.

Страх Исаака пятого стал сосредоточиваться вокруг одного пункта: он боялся голода. Едва мы приходили с работы, он бежал в контору, проверить «рабочее сведение». Для каждой бригады была выложена ведомость, там было указано, кому какой паек и сколько хлеба на сегодня. Иногда у нас оказывался первый котел. Тогда он был вне себя от горя. Его лицо темнело. Он ломал руки. Он не мог перенести такого несчастья, такой неудачи. Я тоже был в этих случаях огорчен. Но его реакция была необычна, точно черным облаком была окутана его душа, и глубокое уныние, в которое он впадал, было несоизмеримо с поводом.

Лежа рядом на наре, он вздыхал так глубоко и тяжко, что я начинал сердиться. Но я уже не мог утешить его. Наоборот, он приходил в ярость, когда я хотел его вывести из этого состояния исступленной печали. Он обвинял меня, что я не хочу видеть, как это страшно, как это непоправимо, что у нас снова отняли 200 грамм хлеба. Он трепетал от этой обиды и несправедливости, и от моего преступного легкомыслия, и он отворачивался от меня.

Но почему другие не реагировали так неистово,

как он? — Исаак пятый был еврейский трусливый мальчик, невротическая, нежная, пугливая натура. Он с детства боялся входить в темную комнату, а потом боялся собак, боялся жизни — потому что вырос в гитлеровском Берлине, и потому что в его возрасте страх родится беспричинно из неумения приспособиться к жизни на крутом повороте. А Круглица была не просто крутой поворот, это была яма. И нельзя было реагировать на одну ненормальность иначе, как другой ненормальностью.

То, что я видел у Исаака пятого, еще не было неврозом. Это была душевная предпосылка всех неврозов: поражение, с которым человек не может справиться — горесть, которая заливает душу, как соленая волна заливает ноздри утопающего.

Я не мог с ним долго возиться, потому что неврозы на лагпункте вообще не подлежат лечению. Их лечат не анализом, а палкой по голове, т. е. таким грубым потрясением, которое моментально вправляет душевный вывих — или окончательно губит человека.

В одно летнее утро повели нас всемером на железнодорожное полотно — разгружать мешки с крупой. Открытая вагонная платформа с грузом стояла против деревянной площадки-помоста на столбах. За помостом был склад. Мы выгружали по трапу с платформы на помост мешки с ячменем и овсом.

Площадка склада была чисто выметена, но всюду между досок и под стенками были зернышки крупы. Заключенные, перенося мешки, надрезывали их ножичками и воровали крупу. Крупа высыпалась. Везде были следы ее. Мы уже не в первый раз работали на этом месте и, первым делом, с утра осматривали площадку, не осталось ли где просыпанных зерен. Сторож Титов, старый зэ-ка, с лысой головой Сократа, у которого в карманах полно было краденой крупы (ему, как сторожу, можно было), зорко следил за тем, чтобы мы не грабили открыто. Крупы, подобранной под ногами, было слишком мало, чтобы

варить: мы ели ее сырую или поджаривали ее на железном листе на углях костра, пока она не становилась коричневой, как зерна кофе.

В это утро я нашел целую горсть ячменя под дверью склада. Но меня поражало, что никто не искал крупы, кроме меня. Даже Стецин, тот ходячий скелет и бывший фотограф, который варил траву без разбора и уверял, что может съесть все то, что ест корова, — тоже не обращал внимания на зерна. Я не мог понять, в чем дело. — «Стецин, сюда!» — Не идет! Меня поставили подымать мешки на весы. На площадке вертелся смотритель склада.

Это всеобщее равнодушие к крупе не давало мне покоя. Я чувствовал что-то в воздухе. Люди толпились на платформе, задерживались слишком долго. Там что-то было. Я, наконец, не выдержал, подкрался, заглянул сзади.

Дух у меня заняло: это была горбуша, прекрасная соленая рыба с розовым мясом, архангельская «семга» заключенных. Нам ее иногда выдавали по ломтику. За мешками с крупой были плоские длинные ящики с рыбой, и один уже был взло́ман. Отодрали боковую доску. В руках зэка была серебристая рыбина, одна, другая, — каждая весом в доброе кило.

По другую сторону полотна был откос и зеленый луг. Серебристые птицы слетали с платформы в траву. Мы выбросили в траву несколько рыб. Меня тем временем отправили к весам, чтобы смотритель не беспокоился.

Мы работали до полудня. Потом сошли под откос и собрали рыбу. Отнесли в сторонку и накрыли бушлатом. Звено было в возбуждении. Еще надо было поделить рыбу и пронести в барак.

И только один Стецин, травоед с голубыми глазами, уперся: он ждать не будет, и не надо ему целой рыбы, пусть дадут половину, но зато сейчас. Ему отрезали кусок, и он пропал. — «Где Стецин?» — закричал с насыпи стрелок-конвойный. — «Пошел оправиться, гражданин стрелок!»

Стецин зашел за дрова и мгновенно сожрал полкило соленой рыбы.

Смотритель хватился совершенно случайно. Початый ящик с рыбой забили, поставили на самый низ. Но что-то ему подсказало, что надо этот ящик перевесить. Нехватало больше 6 кило. Он ни слова не сказал, спрятался за вагон и стал наблюдать за нами.

Мы всем звеном лежали у костра. У нас был отдых от 12 до часу. Но мы не были спокойны. Мы шушукались. Один только Стецин лежал в стороне пузом вверх и подремывал. Кто-то из нас не выдержал, стал кружить около бушлата, поглядывать на него. Смотритель выскочил из засады, пошел прямо к бушлату и поднял: вся рыба лежала под ним. Позвал на помощь конвойного. — «Чей бушлат?»

Такого случая довольно в лагере, чтобы приклеили второй срок, т. е. еще 5 или 10 лет. Нас обыскали и нашли за пазухой одного из зэ-ка еще одну рыбину, которую он утаил от товарищей. Он и владелец бушлата были пойманы с поличным. Остальные могли вывернуться. Нас немедленно сняли с работы и отвели на вахту. Составили «акт».

Пока мы сидели на вахте, прошла в лагерь Гордеева, начальник ЧОС'а, деловитым энергичным шагом, потряхивая седыми стрижеными волосами. Ей доложили. Гордеева окинула нас холодными глазами. — «Марголин, вы тоже воровали рыбу?» — «Лично рыбы не брал и не ел... не успел...» — Гордеева прошла в дверь и на ходу сказала: «Всех в карцер».

Карцер находился в Круглице за лагерем, в отдельном домике, за отдельной оградой. Хозяином в ШИЗО был Гошка, симпатичный и красивый парень, с военной выправкой — бывший милиционер, посаженный в лагерь по пьяному делу. Он сам рассказал нам свою историю: пришлось ему когда-то арестовать приятеля. Служба не дружба: арестовал и повел, но по дороге горло у них пересохло — «нехай в последний раз выпьем» — зашли к третьему приятелю и устроили арестованному проводы — т. е. втроем напились до потери сознания. Потом арестован-

ный и другой приятель привели Гошку в милицию, поддерживая с двух сторон под руки. Ему дали четыре года и, как бывшему милиционеру, поручили в лагере заведывать карцером.

В карцере было у Гошки чисто, отдельно помещение для женщин, отдельно для мужчин. Это был лучший карцер, в котором я сидел за все годы, и зимой там было даже лучше, чем в рабочих бараках Круглицы. Гошка негрубо, но очень ловко, искусной рукой, обыскал нас, раздел каждого, отобрал разные мелочи, вытащил у меня спрятанный в подошве ножик (в который уже раз!) — и предложил расписаться в «журнале». Я заглянул в журнал: написано «за кражу рыбы» — и отказался расписаться.

— «Рыбы я не воровал и не ел! — сказал я. — Все звено посадили! Они бы еще всю бригаду посадили! Расписываться отказываюсь, и объявляю голодовку впредь до освобождения!»

Это была неприятность для Гошки, и он на меня осерчал. О случае голодовки он обязан был довести до сведения начальника лагпункта, но не брать для меня еды на лагерной кухне он не мог. В 6 часов он принес ведро баланды для арестованных, отомкнул двери, и через порог каждому подал его суп и хлеб. Гошка был парень свойский, и на кухне давали ему ведро с добавкой, так что супу выходило больше, чем по норме. Он поставил мне на нару чашку супу и положил хлеб. Я их не тронул.

Положение осложнилось тем, что кругом сидели зэ-ка, которые не привыкли смотреть на чужой хлеб и суп, когда у них бурчало в животе. Вид еды раздражал их. Голодные люди стали подбираться к моему ужину, кто-то стал клянчить: «дай, если сам не ешь».

Получалась чепуха, потому что если бы я дал, то для лагерной администрации было бы все равно, кто съел мой ужин. Раз он принят и съеден, то никакой голодовки нет, а мое фактическое голодание никого не интересует. Гошка должен был унести этот ужин нетронутым обратно. Мне пришлось взять этот

хлеб и суп к себе на верхнюю нару и сидеть над ним, как сторож, чтобы не украли.

Не знаю, как долго я бы выдержал голодовку в таких условиях, но утром следующего дня Гошка звякнул ключами и сказал мне: «Твоя взяла! Одевайся, иди в лагерь!»

Я вышел с триумфом, но радость сразу увяла, когда в бараке мне объявили, что я сию же минуту должен собираться с вещами на вахту: меня отправляют на этап, в Онуфриевку!

На этап! Это известие поразило меня громом. Я привык к Сангородку, здесь меня знали, здесь был сельхоз и возможность подкормиться. Эта Онуфриевка — в 20 километрах — была лесопункт вроде 48 квадрата, с тяжелой работой в лесу, и именно на лесоповал меня и отправляли. В партии было 30 человек, и мы шли, как «рабочее пополнение».

Всеми силами я держался за Круглицу, только здесь еще я мог надеяться выжить! До сих пор я изворачивался из всех этапов, благодаря помощи Максика: он узнавал в Санчасти о всех этапах на день раньше, и если я был в списке, меня укладывали в стационар на 2-3 дня, пока этап уходил. Но теперь уже было поздно: этап уходил через полчаса. Я мог еще спрятаться, как это делали многие. Но если бы я так открыто показал, что боюсь этапа, то меня уже н а р о ч н о включили бы в следующий этап... Лежать где-нибудь на чердаке или под нарой чужого барака и слушать, как тебя ищут по всему лагерю... нет, этого я не хотел.

Единственный человек, с которым я успел попрощаться, был Максик. Он дал мне записку, несколько рекомендательных слов к врачу на Онуфриевке — как первую зацепку в новом месте. Через час я уже шел, навьюченный мешком, по неровной дороге. Прощай, Круглица! Вечером вернется с работы Исаак пятый — и уже не найдет меня.

Полдороги мы шли пешком. Состав партии был неважный. Всегда, когда переводят группу рабочих с одного лагпункта на другой, пользуются этим случа-

ем, чтобы избавиться от неприятных людей. На Онуфриевке требовались здоровые работяги. Но начальник круглицкого ОЛП'а не дурак отдавать здоровых работяг. Они ему самому нужны. В партию были включены доходяги, лодыри, бунтари, хулиганы и беспокойные элементы. Марголин объявил голодовку? — в этап! Пусть голодает на другом лагпункте.

На 10-ом километре, в Медведевке — иначе «3-ий Лагпункт», место концентрации инвалидов — был привал. Отсюда нас должны были подвезти поездом.

В ожидании поезда заключенные, свалив мешки с плеч, легли на откосе. Я пошел вдоль лежащих и нашел себе место на досках, где было просторнее. Едва я лег, чернобородый мужик около меня метнулся как ужаленный.

— Уходи! — сказал он. — Уходи скорей!

— Что, места нехватает?

Урка встал деловито, поднял струганную белую доску, на которой лежал, и наотмашь, всей силой, как по неодушевленной вещи, ударил меня доской по груди.

Дыхание прервалось у меня, и в глазах потемнело. Я задохнулся. Все «переживания» выпали из меня, кроме физиологического эффекта этого удара. Меня сводило, тошнило от невыносимой боли... Если бы не ватный бушлат, он бы мне сломал грудную клетку...

Урка поднял доску во второй раз. Но меня уже оттащили в сторону.

— Ты с кем связался? Это Афанасьев.

Афанасьев был знаменитый бандит на Круглице — бешеный пес, который бросался на лагерных и на стрелков. Услышав это имя, я сейчас же отошел в сторону.

Через несколько минут я почувствовал, что слезы сами собой льются у меня из глаз. Я не плакал, но не мог ничего поделать: из меня плакало... Во мне не было никакой силы для огорчения или обиды... Я только чувствовал, как это страшно — быть слабым среди чужих и врагов.

Часов в 5 привезли нас в Онуфриевку. Опять тянулся палисад, остроконечные колья, и та же вахта, и те же лозунги: «Да здраствует... да здравствует... да здравствует...» — «Дадим родине как можно больше леса!»... Начальник лагпункта вышел за вахту посмотреть, какой ему товар прислали, и, увидев этапных, лежавших на земле вповалку, ахнул:

— Это что за инвалиды, уроды! Не принимаю! Мне таких не нужно! На медицинский осмотр!

Прямо с вахты отвели нас в баню, где в раздевалке уже сидели врачи за отдельным столиком. Я с трудом разделся. Сил не было у меня стаскивать лохмотья, онучи, рваный бушлат, распутывать веревочки, которыми все было на мне подвязано, перевязано, связано. Но в баню мне так и не пришлось идти. Произошло чудо.

В Онуфриевке была особая смесь народов. Уже по дороге в баню зацепил меня худой и жилистый черный человек с исполинским носом, говоривший по-французски. Это был эльзасский еврей, по фамилии Леви. Какими судьбами занесло его в советский трудлагерь, я не успел расспросить. В бане я отдал записочку Макса адресату, русскому лекпому, но сразу же привлек мое внимание другой врач при столе Санчасти: нацмен, очевидный, несомненный нацмен, но не казах, не узбек и не туркмен, а какой-то другой нацмен со странно знакомым лицом. Я мог поклясться, что я уже видел такие лица где-то, но не в России. И это лицо улыбалось мне, как лицо друга — я почувствовал симпатию в его выражении.

— «Марголин из Круглицы, да мы о вас слышали... — сказал странный нацмен, — очень приятно. Вы палестинец! Оставайтесь с нами жить в Онуфриевке. Мы вам выпишем цынготный, найдем работу полегче... оставайтесь с нами...» Это был д-р Селям, араб, левантинец, александрийский араб, который, наверно, бывал и в соседней Палестине. Вот где арабы и евреи были, наконец, друзьями: в Онуфриевке. Услышав, что меня спрашивают, чего я хочу, я просиял. Обратно, обратно! И никакие уговоры не помог-

ли. Селям выписал мне бумажку, форменное удостоверение в том, что я не гожусь на физическую работу — разве только «бисквиты перебирать». Эту патентованную лагерную остроту он повторил раза три, с забавным русским акцентом и ослепительной улыбкой белых зубов. Таким образом отослали меня обратно, а со мной еще 15 человек, половину всех присланных — как негодных на тяжелую работу. Нас немедленно вывели за вахту и погнали по шпалам тем же путем, которым мы прибыли.

Было уже 11 часов, когда я ввалился в спящий барак в Круглице.

Я был очень доволен тем, что вернулся на старое место. Отдыхать я еще не мог: мое место на наре уже было занято. Я расположился на полу переполненного барака. Потом в продстол, где табельщик выписал нам хлеб и ужин. На кухне дали нам остатки супа. Но больше всех поразил меня Исаак пятый.

Лицо его горело румянцем, он был вне себя. Только что объявил ему нарядчик, что пришел на него наряд из Ерцева, и завтра утром отправят его в Управление ерцевских лагерей. И так как у него не было «срока», то этот индивидуальный вызов в его воображении сразу превратился в весть об освобождении. Все кругом поверили сразу, что это освобождение, и он сам горел, дергался от возбуждения, не мог спать и не понимал, что ему говорили.

Я выслушал эту необыкновенную новость и лег спать на полу. Но Исаак еще долго сидел на нарах, вертя головой во все стороны, ошеломленный и испуганный своим счастьем.

На утро я сказал ему, что перед отправкой нам надо серьезно поговорить. Я думал, что этот юноша когда-нибудь через годы передаст весть обо мне моей семье, если мне суждено погибнуть. Я очень привязался к нему и считал его как бы членом своей семьи. Но к моему удивлению и огорчению — последняя беседа не состоялась. Исаак пятый, мой лагерный товарищ и духовный сын, с которым мы провели много

часов в задушевной беседе, с которым мы делились надеждами и мечтами — забыл меня еще прежде, чем вышел из Круглицы. Все, что я мог сказать ему на пороге свободы, мгновенно перестало интересовать его. Я был глубоко уязвлен и обижен, я не мог понять этой страшной способности забвения или неспособности запоминать, которая отличает хилое человеческое сердце. Время лечит раны, но не нужно много времени, довольно одного дня, одного часа, одного поворота судьбы, чтобы сдунуть прочь бесследно то, чем мы жили, что казалось нам важным, наши печали и радости, наши намерения, решения и обеты. Я чувствовал себя обманутым. Исаак побежал к выходу, едва кивнув мне. Я не успел передать ему даже адреса моей семьи.

Я перегнулся с верхней нары — я унаследовал его место — и крикнул вслед дико:

— Будь человеком! Помни, будь человеком!

Но эти слова уже не дошли до него.

Никуда не отпустили Исаака, и его сон о свободе развеялся в Ерцеве. Еще целый год он прожил там, а потом потонул в море лагерной России. И до сих пор я не знаю, выжил ли он, или погиб, и как пережил разочарование своего мнимого «освобождения».

19. ЛАГЕРНЫЙ НЕВРОЗ

Человек, пред которым проходит за годы заключения Ниагара несчастья, бесчисленное количество лагерных судеб, постепенно перестает реагировать на окружающую ненормальность с остротой первых месяцев. Первое время все его поражает и потрясает. Потом он перестает удивляться. Он уже не замечает ненормальности ненормального. Наоборот: на него производит впечатление ненормальность нормального.

В один зимний день, когда наша бригада возвращалась с работы, мы вдруг увидели, как летели где-то по боковой дороге санки, запряженные великолепной лошадью. Крутая шея лошади была красиво выгнута, хвост и грива летели по ветру, санки были

небольшие, изящной работы, в них сидел тепло и по-европейски одетый человек. На нем было даже кашне.

И мы остолбенели. Нам казалось, это сон, галлюцинация. Человек, лошадь, санки — все выглядело так, как никогда не выглядят люди, животные и вещи в лагере. Мы отвыкли от вида нормальных вещей. Люди начали смеяться каким-то глупым смехом, как будто это было немножко смешно.

В лагере были изуродованы все без исключения люди и все вещи. Те же самые слова русского языка, которые употреблялись на воле, в лагере значили что-то другое. В лагере говорят: человек-культура-дом-работа-радио-обед-котлета — — — но ни одно из этих слов не значит того, что на воле нормально обозначается этими словами.

Под страшным воздействием лагерных условий каждый человек подвергается деформации. Никто не сохраняет первоначальной формы. Трудность наблюдения в том, что сам наблюдатель тоже деформирован. Он тоже ненормален. Чтобы правильно оценить все происходящее, ему следовало бы прежде всего учесть собственную ненормальность. В лагере нет неповрежденных. Все — жертвы, все одели казенный бушлат не только на тело, но и на душу.

И, однако, есть в лагере люди, которым живется хорошо, и они довольны. По крайней мере, они говорят так. Эти люди интересовали меня в особенности, потому что в них исполнялось одно из назначений лагеря. Лагерная система существует для того, чтобы сломить душевное сопротивление — и либо уничтожить человека, либо идеально приспособить его. А первый знак приспособления — это, когда лагерь становится домом, естественной формой существования.

— Чем здесь плохо? — говорили некоторые бывшие колхозники, — каждый день пайка готовая, заботятся: одевают, обувают, лечат, кормят. Только работай. Да я и на воле не жил лучше.

Масса зэ-ка относилась к таким энтузиастам лагеря с некоторой насмешливостью, с презрительным оттенком собственного превосходства. Но, во-первых, никогда нельзя было понять, действительно ли они серьезно это говорят. Во-вторых, мне казалось, что это, в самом деле, самый здоровый элемент лагерного населения: люди абсолютного послушания и безропотности, ничего им не нужно, и они себя хорошо чувствуют в лагере. Идеальные советские зэ-ка: их мысли и желания, их функции и реакции целиком определены и з в н е, можно их освободить — на таких советская власть может целиком положиться. Даже и на воле невидимая стена лагеря будет окружать их.

Все же остальные в большей или меньшей степени подлежат лагерному неврозу. Если принять во внимание, что за время существования Советской власти через лагеря прошли д е с я т к и м и л л и о н о в, то выйдет, что в мире еще не было такого гигантского психологического процесса, такой глубокой борозды через душу и характер мирового народа.

Под «лагерным неврозом» я понимаю болезненное искривление, которое возникает в человеческой психике в результате долговременного пребывания в лагерных условиях. Лагерная «изоляция» насквозь искусственна, противна человеческой природе и навязывается ей силой. Надо быть чудовищем тупости или сверхчеловеком, чтобы в этих условиях не измениться. Обыкновенный же человек реагирует тем болезненнее, чем острее нанесенная ему рана, и чем глубже подавляемый им протест. Мало того, что обитатели лагеря терпят известные лишения, т. е. голод, разлуку с семьей, родиной, материальную и всякую иную нужду в степени, приводящей их в подчеловеческое состояние, — все они душевно ранены, и каждый по-своему внутренне обеспокоен. Несмотря на то, что лагеря выросли в 20-м веке, — существует классический пример «лагерного невроза» в 19-ом веке. Этот классический и знаменитый пример: Федор Михайлович Достоевский, человек, который 4 года просидел

на царской каторге и никогда не был в состоянии преодолеть в себе травмы тех лет.

Достоевский прибыл на каторгу молодым человеком прогрессивных воззрений, типичным российским интеллигентом, а вышел сломленным, тяжким невротиком. Эти 4 года его сломали, опрокинули все его предшествовавшие представления об обществе и человеке. То, что он там увидел и пережил — оказалось ему не под силу. Как стекляшки, брякнули его «петербургские идеи» об эту громаду зла и разбились. Все дальнейшее его развитие — было чудовищной попыткой каторжанина побороть свой невроз. Причем существенно то, что он никогда не освободился из плена каторги **внутренне** — он **принял** каторгу, смирился пред ней и еще послал туда своего Раскольникова. Он не вынес с каторги ненависти к палачам, а убеждение, что палачество и мучение принадлежат к сущности мира — и в дальнейшей своей жизни он стал мистическим союзником тех, кто распоряжался российской каторгой. Книга, в которой зафиксирован «лагерный невроз» Достоевского — это его «Записки из мертвого дома».

Пусть перечтут эту книгу читатели настоящей работы, уже не о Мертвом Доме, а о целом Мертвом Царстве. Как различны масштабы царской и советской каторги! В остроге Достоевского сидело 250 человек, и это все, что он видел. Четыре года он провел в условиях, которым позавидует каждый советский зэ-ка. Достаточно скзаать, что он имел на каторге своего слугу, который за 30 копеек в месяц варил ему, ставил самовар и ухаживал за ним. Достоевский за все 4 года не ел казенного — у него была возможность питаться за свой счет. — «Обыкновенно я покупал кусок говядины по фунту в день»... — «Осип стряпал мне несколько лет сряду все один и тот же кусок зажаренной говядины». — О таких вещах, как хлеб, каша, калачи — не говорят, этого было в остроге вдоволь. Работа не была нормирована, никто не надорвался на работе, и все ели одинаково. Были на царской каторге плети и розги. Прошло сто

лет — и их заменили **расстрелы** за отказ от работы. Унижение телесного наказания не более страшно, чем то, которому мы были подвергнуты в советских лагерях, где нас заставили лгать, притворяться и отрицать то, что нам было свято. Каждый, прошедший школу обезличения в советских лагерях, подтвердит, что неуважение к человеку там далеко превзошло все, что существовало на царской каторге. Это неуважение к человеку выражается уже в самой цифре лагерного населения. Место тысяч, как во времена Достоевского, заняли **миллионы.**

На четвертом году заключения я раздобыл в лагере «Записки из мертвого дома» Достоевского и прочел их, сравнивая эволюцию каторги со времен Николая I. Сравнение это не в пользу Советской власти. Я читал отрывки из этой книги своим соседям зэ-ка: люди эти смеялись и... завидовали. Я прочел описание праздника из «Записок» (у нас праздников не было). Когда я дошел до слов: «К вечеру инвалиды, ходившие на базар по арестантским рассылкам, нанесли с собой много всякой всячины из съестного: говядину, поросят, даже гусей...» раздался хоохт: «Вот так каторга! на базар ходили!..» — «Поросенок Акима Акимыча был зажарен превосходно». Поразительно, на какие мелочи обращали внимание зэ-ка при чтении. Описание госпиталя: «Больной арестант обыкновенно брал с собой сколько мог денег, хлеба, потому что в тот день не мог ожидать себе в госпитале порции, крошечную трубку и кисет с табаком, кремнем и огнивом. Эти последние предметы тщательно запрятывались в сапоги...» Тут меня прервали слушавшие: «Табак был! — сказал с завистью один — и в сапоги прятали...» И все засмеялись, потому что сапоги в советском лагере это вещь, которая имеется только у единиц.

Всем очевидно было, что на каторге, о которой рассказал Достоевский (а это еще была самая тяжелая из разных видов царской каторги) кормили досыта и не замучивали на работе. С точки зрения советского зэ-ка - доходяги все остальное уже не так важно.

Наконец, сидевшие там были уверены, что с концом срока выйдут на свободу, тогда как самую ужасную черту советских лагерей составляет отсутствие этой уверенности до самого последнего момента. И однако, именно на этой каторге, которая нам казалась такой негрозной, Достоевский надорвался душевно. Каждый, читающий его книгу, сразу видит в чем дело, видит «больное место» — описания сцен мучительства, детализованные описания наказаний плетьми и розгами (которым сам автор никогда не подвергался), сладострастное и уже гениальное раскапывание психологии палача и жертвы, безграничный ужас припертого к стенке человека, не знающего выхода. И чтобы не думали, что это все от доброты и обиды за человека — рядом удивительное по контрасту **бесчеловечие** в знаменитом описании жида и «полячишек» — без умения и без желания сочувственно проникнуть в их чужую и рядом протекающую жизнь, — как будто это существа с другой планеты или только плоские картинки на стене, а не живые люди.

«Лагерный невроз» Достоевского, который в будущем исказил все его восприятие мира и тенью лег на все его творчество — разумеется, не результат особой «деликатности», а сильного ожога, содранной кожи, обнаженной раны. В лагере люди теряют деликатность, грубеют. Неженок нет в лагере, и зубы там рвут без кокаина. Явления, которые сверхчувствительных людей Запада выводят из равновесия, нам из-за ограды лагеря представляются совсем в другом свете. Мне удалось в лагере прочесть книгу Стейнбека «Гроздья гнева», очень популярную в Советском Союзе. Она изображает процесс пауперизации американских фермеров, но в самых сильных местах я не чувствовал ни сострадания, ни особого ужаса их положения. Я видел только то, что их «голод» был лучше, чем наша «сытость», и что они были свободны передвигаться по стране, протестовать, бороться. К их услугам было перо Стейнбека, а у нас был во рту кляп. Если бы Стейнбек пожил немного в нашем лагере, он бы менее нервно реагировал на американские

непорядки. — Нет, мы не были слабонервными людьми. «Лагерный невроз» не был следствием нашей «утонченности» или «нервности», а необходимой, иногда фантастической гримасой, уловкой или защитным приспособлением души.

Мера нашего внутреннего сопротивления и отклонения лагерной жизни выражалась в том, каковы были наши сны. В течение всего первого года в заключении я неизменно каждую ночь видел себя свободным. Мое отвращение к лагерю было так велико, что подсознание как бы выталкивало всякий след лагеря. Ничто лагерное не проникало в мои сны, хотя бы в форме радости, что я уже не зэ-ка. Я просто ничего не помнил о лагере, как будто его никогда и не было ни в мире, ни в моей жизни. Я гордился тем, что остаюсь свободным в глубине подсознания, и ждал с нетерпением ночи, чтобы хоть во сне выйти из лагеря. Я вообразил себе, что так будет всегда, и видел в этом доказательство своей душевной стойкости.

Но постепенно лагерь стал брать верх. Год прошел, и я так далеко отплыл от берега свободы, что даже в сонном видении не мог уже перелететь через все, что было между нами. Теперь лагерь стал примешиваться ко всему, что мне снилось, — и сны мои стали продолжением лагерной дневной жизни. Я даже во сне носил арестантский бушлат, озирался во все стороны и был полон страха или других лагерных эмоций. Душа моя не могла выйти из лагеря. Иногда мне снилось, что я в далекой стране, среди моих близких и родных, но, говоря с ними, я был полон безотчетного горя, которое совсем не вытекало из содержания сна. Во сне у меня было странное ощущение, что меня что-то отделяет от них, и я как собака привязан невидимой цепью.

Потом начались голодные сны. Типичные и массовые, у всех одинаковые сны зэ-ка. Еда снится во всех видах и вариантах, каждую ночь, в каждом сне, в совершенно неожиданных моментах сна. Снятся гастрономические дворцы и пышные приемы, снятся об-

роненные кем-то кульки, хлеб лежит по дороге, на столе лежит что-то, и вдруг, в средине сна на совсем другую тему, холод проходит по сердцу: то, что лежит на столе от начала сна — это шоколад, никем не замеченный, и можно так просто взять его...

Один из снов я помню особенно отчетливо: я был на улице, и это была пестрая, оживленная торговая улица Лодзи, но магазины на ней были величавые, берлинские времен моего студенчества. Я выбежал на улицу, как бы спасаясь от погони, и знал, что у меня очень мало времени. Я должен был очень торопиться. Но я растерялся среди витрин и не знал, куда мне кинуться: в молочную, где масло и сыры? или в колбасную, где было столько ветчины, что я даже во сне услышал ее свежий запах? или в кондитерскую, где было печенье?.. Я обезумел во сне и метался по улице, и не знал, в какую дверь войти сперва.

Все эти сны неизбежно кончались катастрофой. Сколько раз я ни набирал полные пригоршни всякой еды, — ни разу мне не удалось ее отведать. Всегда что-то случалось, что мне мешало, и я просыпался разочарованный и раздраженный. Даже во сне я лишен был возможности испытать призрачную сытость. Неумолимый цензор в подсознании обрывал все голодные экстазы в последнюю минуту, не допуская их до осуществления. Почему? Здесь «нельзя» диктовалось очевидным отказом нервной системы, таким истощением нервной системы, которое даже в воображении не позволяло уже реализовать того, что так страшно превышало реальные возможности. Людям снится полет, и не умеющим играть снится, что они играют на рояли, как виртуозы. Во сне плавают неумеющие плавать, и ездят верхом те, кто никогда не пробовал сесть на лошадь. Но я в лагере никогда не мог положить себе в рот тех замечательных вещей, которые мне снились, и я все откладывал и откладывал, собирался и медлил — пока не просыпался.

Потом пришли бесстыдные воровские сны. Не было среди нас ни одного, кому бы не снилось, что он ворует, так как это был в лагере единственный спо-

соб обмануть судьбу, и все задерживающие центры рухнули во сне еще раньше, чем в действительности. Мы воровали во сне с увлечением и торжеством. Это были яркие сны, и я выслушал о них сто отчетов от зэ-ка всех возрастов и положений, и сам видел такие же сны. Мы крали во сне, потому что нам случалось красть и днем.

Эти голодные и эксцентричные сны миновали со временем, когда голод вошел в норму, до того, что мы уже не реагировали, а просто хирели и умирали от него. Голодный сон означает, что в нас что-то бунтует, томится, дергается, тянется за удовлетворением. Но люди, умирающие от алиментарной дистрофии, уже не имеют голодных снов. Они лежат тихо.

Наше борение с судьбой приняло другую форму. Тогда стали возникать маниакальные чудачества в приеме пищи. Массовое нежелание есть пищу в таком виде, как ее давали. Непременно мы должны были манипулировать ею, поступать с нею каким-то особенным образом. Нельзя было просто съесть приготовленную чужими, равнодушными руками пищу. Мы не доверяли, что ее приготовили наилучшим для нас образом. Непременно надо было поправить, переделать. Эта «мания поправки» принимала разные чудаческие формы. Не ели ничего, не разогрев до кипения, доливали воды, пекли соленую рыбу на огне. Возились без конца и тратили драгоценные часы отдыха. Это были мученики своего невроза, о чем я имею представление, так как сам принадлежал к их числу. Теперь мне странно вспомнить, что я проделывал.

Вместо того, чтобы быстро поужинать и лечь спать, я метался по лагпункту, в поисках печки, где бы позволили подогреть. Проходил час и два, пока я находил летом возможность приставить свой котелок на огонь где-нибудь в кипятилке, дезокамере или другом месте, где топилась печь. Мысль о том, чтобы съесть, как получено, приводила меня в ужас. Это было бы несчастием, катастрофой, позорным провалом. Меня и таких как я — знали, и куда бы я ни приходил

ткнуть свой ржавый котелок, везде я имел врагов, которые гнали меня от огня. Как только «подогревальщик» показывается в чужом бараке, подымается крик: «не пускайте его!..» Зимой в каждом бараке есть огонь. Но тогда война идет с дневальным, который немилосердно выбрасывает котелки, потому что они гасят ему огонь и не дают разгореться дровам. А летом вообще запрещено разводить огонь в бараках. И сколько надо тогда изобретательности и сложных протекций, чтобы пробиться к чужому огню, или, в крайнем случае, найти приятеля, который от своего имени поставит твой котелок там, куда тебя не пускают.

С течением времени это нагревание, доливание, кипячение стало для меня пунктом форменного помешательства. Напряжение разрешалось в тот момент, когда я добивался своего. В упорстве, с которым я настаивал на своем способе питания, уже не было ничего нормального. С полным и дымящимся котелком я забирался на верхнюю нару, и там, вне досягаемости от взоров посторонних, лежа, как зверь, заползший в берлогу, насыщался. К этой минуте вели нити целого дня. Я не ел полдника, чтобы вечером получить больше. Весь почти хлеб я оставлял на вечер. То, что я ел, лежа на наре, а не за столом, восстанавливало против меня соседей, но я уже не владел собой. Я патологически ненавидел совместное «общественное» питание.

В 1944 году построили в Круглице столовку и прекратили выдавать нам еду через окошечко кухни. До того времени мы стояли во дворе под окном, получали в свою посуду, несли еду в барак и там ели. Теперь порядок стал другой: каждый, войдя в столовку, отдавал талон, и ему подавали его ужин. Это было «культурно». Но в действительности это значило, что ели спешно, понукаемые, в мокрых бушлатах, в давке, — вместо того, чтобы у себя в бараке раздеться, не спеша, обсушиться, и не торопясь похлебать горячее. Для маниаков, подобных мне, это была беда: конец всех манипуляций! Ешь как подали, вставай и уходи.

Но мы не сдались, и началась война. Каждый, приходя на ужин, приносил контрабандой котелок под бушлатом. Потом, под столом, улучив момент, переливали суп из глиняной миски в котелок. Но при дверях стоял сторож, и следил, чтобы никто не выносил котелков. Надо было незаметно проскочить мимо него. Иногда становился в дверях дежурный стрелок, и мы терпеливо ждали, чтоб он ушел. Люди пускались на невероятные ухищрения, чтобы вынести ужин из столовой. Например, разливали его по кружкам, а кружки рассовывали в карманы, чтобы не было видно, а когда выходили за порог столовки, карманы у них были мокрые от пролившегося супа.

Другая ненормальность была в том, чтобы не есть свежего хлеба, а сушить его. За последние 2 года я почти не ел хлеба иначе, как в форме сухарей. В условиях лагеря это мучительно усложняло жизнь. Заключенному не так просто высушить хлеб.

Когда я ложился в стационар, Максик или другой врач сразу выписывали мне сухари (из расчета 400 гр. хлеба = 200 гр. сухарей), чтобы не раздражать меня, а иногда потому, что невыпеченный хлеб и в самом деле был для меня тяжел. Если же этого не делали, то я сам себе сушил хлеб, нелегально, украдкой, со страхом, что украдут или обругают. Пока хлеб не был высушен, я его не касался. 200 грамм, принесенных с утра из больничной кухни, представляли 7—8 сухариков. Один я съедал утром, два — в обед, а остальное на ночь. Ржаной сухарик, твердый как камень — грызется долго и медленно, — не то, что свежая пайка, которая так быстро тает во рту, что и не спохватишься, как нет ее. Это — «объяснение» сухарной мании, но не объясняет дикого упорства, с которым мы ее отстаивали, ни искусства, с которым пайку в 380 грамм разрезывали на 44 части. В этой истерической и смешной форме мы защищали что-то другое: свою индивидуальность, свое право устраиваться, как нам нравится, и распоряжаться своим хлебом. И чем больше нас зажимали в клещи лагерной регла-

ментации, тем более нелепые формы принимал этот «индивидуальный» протест.

Лагерник, проживший годы в заключении — а есть такие, которые сидят с молоду до смерти — может быть как угодно тих, смирен и спокоен. Но есть в нем «укрытый» пункт, который от времени до времени дает о себе знать. Например, хороший работяга вдруг ни с того ни с сего отказывается работать. — «Сегодня ничего не буду делать!» — «Почему?» — «Не хочу, и все!» — Лучше всего оставить его в покое. Иначе будет хуже. На воле человек в этом состоянии напивается. Но в лагере нет водки, и нет денег на водку. Пьяный зэ-ка — величайшая редкость. Но он и без водки всегда полупьян, оглушен и не до конца вменяем. Зэ-ка — как дресированные звери — нет-нет и огрызнутся.

...Сосед мой был самый безобидный и тихий человек, который посидел в лагерях от Забайкалья до Белого Моря. Сидел он раз за ужином, когда пришли нас гнать в баню — после дня работы, голодных и неотдохнувших. Он заупрямился, хотел раньше съесть. Тут припуталась в барак Марья Иванна из КВЧ, курносая вольная бабенка в ситцевой блузке. Прилипла: «Сию минуту иди в баню!» — И вдруг старик побагровел и взревел как бешеный: «Прошу не тыкать! Я вам не «ты», а «вы»!» — Сколько лет он слышал со всех сторон «ты», и еще с прибавлением словечек покрепче, и вдруг именно от Марьи Иванны он не мог этого вынести. Марья Иванна растерялась и струсила. Тут выскочил из-за перегородки «хозяйский пес», нарядчик Ласкин, с перекошенным лицом, кинулся как зверь, вырвал из рук котелок и миску, и унес к себе под ключ. — «Ты как с начальством разговариваешь? Вот не получишь ужина, пока не вернешься из бани!»... На это разно отозвались люди в бараке. Одни одобрили: «Молодец, что не позволил себе «ты» говорить!» — а другие взяли сторону нарядчика: «Ах ты, вошь лагерная! уже и ты нельзя тебе говорить? Важный барин нашелся... такое же, как и мы, дерьмо!..» Ста-

рик опомнился, подошел к Марье Иванне, извинился и пошел в баню среди ужина.

Случаи, когда лагерный невроз укладывался в чудачество, вроде возни с котелками и сухариками, были самые легкие и неважные. Эти люди внутренне оставались нетронутыми, их расстройство было неглубокое, не касалось душевных основ. Но рядом были люди другие — серьезные, корректные, подтянутые. Они вели себя примерно, не нарушали порядка, не выделялись странностями. — Один был в бывшей жизни офицер высокого ранга, военный атташэ за границей — другой инженер-специалист, 7-ой год составлявший в лагере математический задачник — третий перебежчик в 1932 году из Польши. Двое из них работало в конторе, третий на кухне. Внешне как будто — нормальные люди. Надо было очень близко подойти к ним, чтобы почувствовать трупный запах. В действительности это были глубоконесчастные, безнадежно-порченые люди. Но порча их вся вошла вовнутрь. Из них как будто выжгли способность нормального человеческого самоощущения. Вынули из них веру в человека, в логику и разумный порядок мира.

В жилах тек у них концентрат желчи и серной кислоты. Когда-то они все начинали с книжного коммунизма, с душевной бодрости и широких планов. Один из них рассказал мне, как он перешел границу в 1932 г., как писался на пограничном посту акт задержания на куске обоев, сорванном со стены — этот кусок обоев очень его поразил — и как потом ужаснула его Минская тюрьма. Не то, что он рассказал, а как рассказал, запомнилось: с цинической, гаденькой усмешкой, с замгленным, тупым, никуда не глядящим взглядом — в 30 лет живая развалина, конченый человек. — Недаром все такие были замкнуты и необщительны: от них несло гнилью, ядом разложения. Достоевский хоть Христом спасался. А у этих ничего не было, кроме безнадежного отчаяния и переживания какой-то универсальной мировой обгаженности.

Эти люди были больны. Их высказывания были

формой невроза. За кем сила, за тем и правда, все лгут, все подлецы, а дураков учить надо. У них помутилось в голове в тот момент, когда обвинили их в чем-то, чего не было, и опрокинули их веру в то, что они сами себе выдумали. Уравновесить это потрясение им было нечем. Пусто было внутри. Они не совали котелков в печку, но у меня было впечатление, точно все эти люди морально смердели, морально делали под себя.

Что происходит с человеком, который душевно раздавлен до полной утраты сопротивляемости? Советские теоретики насилия создали понятие «перековки». Это понятие характерно, т.к. оно относится к неорганическому, мертвому веществу. Железо можно перековать, превратив его раньше в раскаленную текучую массу. Но человек не из железа, и если раздавить его до утери некоторых основных черт индивидуальности, — нельзя уже привести его в состояние бывшей твердости и целостности. В результате грубого механического воздействия («молотом по душе») некоторые «бывшие переживания» выпадают из сознания зэ-ка, образуя надлом, трещину в фундаменте. Но все забытое и почти забытое, неуловимое и похороненное — обращенное в страх и горечь, продолжает тревожить зэ-ка — отнимая у его «новой жизни» устойчивость и создавая ту неудовлетворенность, и неуверенность, и злобу на себя и окружающее, по которой легко узнать лагерного невротика.

Статус этого лагерного невроза я научился различать очень хорошо спустя два-три года в лагере. У зэ-ка из Западной Европы была тоска по родине и свободе. У русских зэ-ка «родина» и «свобода» тоже были втянуты в невротический процесс, т.е. от этих слов им становилось не лучше, а хуже.

Лагерный невроз — явление специфическое. Пока я не попал в лагеря, и с тех пор, как оттуда вышел — я ничего подобного даже приближенно не видел. Сколько там было шутников, и весельчаков, и просто вежливых, обязательных людей. И все равно: кислый запах шел от них, и среди самых веселых острот мож-

но было поймать чужой, испуганный и совершенно ненормальный, искоса, взгляд. Действительное их существо притаилось в них: угрюмость и горечь, которыми пропитались все поры душевные.

Все отравлено до степени предельного самонеуважения Разума. «Гуманность» — это почти бранное слово у тех несчастных. Кто-то им плюнул в душу — и плевок этот навеки остался лежать там.

В немецком лагере смерти оторвали дочь от матери и пристрелили на месте. И мать пошла дальше, только на губах ее была улыбка: уже не от мира сего, улыбка сумасшедшей.

В советских лагерях нет этих ужасов, но сами они целиком — ужас, нечто невероятное своей деловитостью, прочной хозяйственностью и организованностью преступления государства над маленьким человеком. И советские лагеря полны людей, которые внешне в порядке, идут в общем строю, держатся лучше других — но внутри их нет живого места. Они не плачут, не протестуют. Если бы они плакали и протестовали, они были бы здоровы. Но эти люди уже не в состоянии понимать что-нибудь в мире, в лагере, в собственной смятенной душе. Все их существо искажено глумительской гримасой цинизма, и они не находят в мире ничего, на что бы они могли опереться. Скажите им: Сталин, Человечество, социализм, демократия. Они улыбаются, как та мать, у которой на глазах расстреляли дитя.

Это не преступники, не контрреволюционеры, а больные люди, которых следовало бы перевести в страну, где нет лагерей и тотальной лжи. Там они, может быть, пришли бы в себя.

Надо сказать ясно, что вне пределов досягаемости общественного мнения мира происходит по ту сторону советской границы небывалая в истории человечества расправа, небывалый погром душ, небывалая казнь человеческих сердец. То, что происходит с погромленными людьми, нельзя назвать даже трагедией - настолько это лишено всякого смысла и оправдания. Всего этого могло бы не быть, если бы Совет-

ская власть не опиралась на систему насилия, вытекающую из ложных теоретических предпосылок. «Лагерный невроз», который также можно было бы назвать «неврозом Сталина», по имени его насадителя, вытекает из бессмысленности человеческих страданий в лагере, по сравнению с которой немецкое народоистребление было идеалом логической последовательности. — Не может остаться душевно-здоровым человек, или общество, которое является жертвой или хотя бы свидетелем чудовищного преступления, возведенного в норму, укрытого так, как в каждом приличном доме бывает укрыт ватерклозет, — преступления, о котором все знают, но никто не говорит, — которое не вызывает протеста в мире и просто принимается к сведению и даже оправдывается людьми, претендующими на высокое достоинство. Было много преступлений в истории человечества, и против каждого из них подымался голос негодования. Люди, умиравшие в газовых камерах немцев, знали умирая, что мир поднялся против их палачей, и это было их утешением. Но люди в лагерях не имеют и этого утешения, которое могло бы снизить страшное внутреннее давление, под которым они живут — мысли о том, что их судьба находит какой-либо отклик в мире. — Человек способен страдать безгранично, оставаясь душевно-здоровым, только в том случае, если ему понятно, за что и почему он страдает. Если он не понимает, то он рано или поздно теряет рассудок или душевное равновесие. Советские ИТЛ — исправительно-трудовые лагеря — есть гигантская, величайшая и единственная в мире фабрика душевных калек и психопатов.

Граница между нормальным и сумасшедшим стерлась в этом Мертвом Царстве. Поясним это примером. В последнем году моего заключения я лежал в больнице рядом с помешанным. Полгода он был моим соседом в бараке № 5 котласского пересылочного пункта. Звали его Алеша.

Алеша был 20-летний паренек из деревни Ярославской области, с льняными волосами и голубыми глазами — херувим. Алешу взяли 18-и лет на фронт.

Под Новгородом он попал в немецкий плен, и его взяли в немецкую школу диверсантов. Это значит, что тогда он был при полном сознании, или немцы не приглядывались, как следует к тем, кого выбирали. Их учили 3 месяца, «кормили хорошо», и даже раз повезли с экскурсией в столицу Германии — Берлин. О Берлине Алеша ничего не помнил, кроме того, что в кино водили (а что показывали, забыл) и, опять-таки «хорошо кормили». Через 3 месяца немецкий самолет перевез группу Алеши через линию фронта и в темную ночь на парашютах сбросил на советскую территорию. Вся группа со всем снаряжением немедленно явилась на ближайший пост милиции и отдалась в распоряжение советских властей. Что произошло далее — Алеша не помнил. Результат был налицо: сумасшедший в лагере со сроком не то в 5, не то в 8 лет.

Сумасшествие Алеши было неопасное: у него помутилось в голове, говорил он необыкновенно медленно, внимательно глядя в глаза собеседнику, с явным трудом подбирал слова для ответа, и иногда вовсе останавливался в смущении. Он был кроткий блаженный дурачок, никогда ни с кем не заговаривал первый и ни за чем ни к кому не обращался. Если случайно пропускали его при раздаче, не напоминал о себе и лежал голодный дальше. Он никому не мешал, и все его любили. Но вдруг — раз недели в три — овладевала им тревога. Тогда он вставал и прямо шел на вахту, к воротам. «Куда? — Я домой, — объяснял серьезно Алеша, — к Маше и Нюре.» — «Что за Маша и Нюра такие?» Это были его сестры, у которых он жил до начала войны в ярославском колхозе. Алеша, не считаясь со стрелками, держал курс на ворота из лагеря, как магнитная стрелка на север. Его выгоняли, но он не шел. Кончалось тем, что его в растерянном виде приводили в Санчасть, и дежурный врач водворял его на койку в стационар.

В стационаре надо было за ним наблюдать в оба, так как он вставал в одном белье, и среди зимы отправлялся на вахту — «домой», если не успевали его перехватить у выходной двери. В этом случае дежур-

ная сестра, Марья Максимовна, получала карцер за нерадение. Если же удавалось Алешу задержать у двери, он добром не ложился в постель. Начиналась свалка, сбегались санитары, Алеша свирепел. Санитары вязали его, надевали смирительную рубашку и привязывали его к койке. Тогда Алеша начинал биться и кричать. По 12 часов, в течение которых пена текла у него изо рта, он бешено рвался и не переставая кричал чужим голосом одну и ту же фразу: «Отойдите от меня! — Отойдите от меня! — Отойдите от меня!»

В это время никто в палате, где лежали умиравшие с голоду дистрофики и другие тяжело-больные, не мог сомкнуть глаз. Если бы не эти припадки, когда Алеша показывал необычную силу и бешенство — то зэ-ка бы не верили, что он помешан. В лагере подозревают в каждом симулянта. Но Алеша не прикидывался — это было видно не только из припадков, но из того, что он не реагировал, когда обносили его при раздаче еды. Однако, голоден он был страшно, — и как только показывалась раздатчица Соня, — просил у нее «косточки».

Косточки принадлежали Алеше. Ему приносили миску костей из кухни, и он их часами грыз, как собака. Я был его соседом, и привык к хрусту костей, разгрызаемых крепкими белыми зубами. Все мы открыто завидовали Алеше, и если бы их дали другому, то были бы протесты. Но Алеша был на особом положении. После припадка проходило 2-3 недели. Алеша чувствовал себя крепче и начинал снова готовиться в дорогу. Тогда приходил к нему врач, садился на койку и начинал ему объяснять: он в заключении, нельзя идти к Маше и Нюре. — «Почему нельзя? — спрашивал очень серьезно Алеша. — Я ведь ничего не сделал. Я никого не обидел и хочу домой!» Врач объяснял, что все кругом одинаковые, и все заключенные, и все домой хотят, но не могут... «Почему?» — спрашивал Алеша, и тогда на минуту наступало в палате молчание, и всем казалось, что это не Алеша с ума сошел, а мы, все окружающие, мы, которые не можем ему

объяснить, почему нельзя идти домой, а только требуем, чтобы он оставался с нами, потому что мы все, как он, задержаны и втоптаны в грязь. И, повернувшись ко мне, врач разводил руками и говорил: «Да ведь он прав! Он, сумасшедший, совершенно прав, и я ему ничего объяснить не могу!»

Алеше предстояло годы лежать в стационаре, грызть кости и терпеть голод, хотя были где-то Маша и Нюра, и никому ни с какой точки зрения не было нужно его умирание в лагере.

Ночью он бешено кричал: «Отойдите от меня! Отойдите от меня!» — и выгибался, веревки, которыми его опутали, напрягались и врезались в тело, койка трещала — и я лежал рядом, смотрел на льняную голову бесноватого в поту и огне — и думал, что этот крик обезумевшей жертвы пред лицом палачей может повторить каждый из нас, над кем замкнулся круг советского «правосудия», каждый опутанный и замкнутый в огромной темнице народов, называемой Советским Союзом.

20. В КОНТОРЕ.

О работе чертежника я не имел ни малейшего понятия. В конторе «Цетерэм» было незанято место чертежника, и поэтому записали меня, с согласия старшего бухгалтера и начальника мастерских, на эту работу, чтобы дать мне передохнуть несколько дней и посмотреть, не найдется ли для меня какого-нибудь применения в будущем. Я провел в конторе ЦТРМ полных 5 недель.

Это время: январь 1943 года, когда под Сталинградом совершился перелом войны, для меня было временем физической катастрофы. Работа в конторе уже не могла спасти меня. Я знал, что умираю. Но людям, среди которых я находился, я не смел показать этого — из страха, что меня выбросят. Я из всех сил держался за свое место в конторе. Скоро я узнал, как тяжела чужая милость и как трудно утопающему держаться на поверхности воды.

Я был как человек упавший с парохода в море. Пароход ушел. Последние огни его потонули в темной ночи. Человек остается один среди океана. Мускулы немеют, и он знает: это последние минуты его жизни.

Я завидовал людям, которые умирали достойно, спокойно, в домашнем уюте, в белоснежной постели — или героям, умиравшим с оружием в руках за правое дело, чью память потом благоговейно хранила нация. Наконец, я завидовал псу, который пред смертью заползал в свою конуру. Наша смерть была уродливее и мучительнее во много раз.

Алиментарная дистрофия, или распад организма в результате голодного истощения, в это время уже становилась массовым явлением в лагерях. Но, как всегда, первые жертвы, авангард миллионного шествия мертвецов, были окружены недоверием, досадой и равнодушием тех, кто еще имел в себе запас сил на несколько месяцев. Мы были пионерами лагерной смерти: хилые интеллигенты, душевно и физически неприспособленные, которых втянуло в самую гущу лагерного водоворота, в анонимную груду рабочего лагерного мяса.

Теперь я жил в бараке ЦТРМ, где меня окружали особые люди: кузнецы, слесаря, токари по металлу, сварщики, электромонтеры, трактористы, механики и столяры — все мастера, которые находились в лучшем физическом состоянии, чем другие, благодаря тому, что они торговали с вольными из-под полы своей продукцией: ключами, замками, котелками, мисками, металлическими частями. Их лучше кормили. То, что я попал в их среду, было успехом для меня — но я не имел права быть среди них, и это недоразумение должно было скоро выясниться. Пять недель в ЦТРМ не спасли меня, но замедлили темп катастрофы, как будто я не круто сорвался, а скатился на дно по наклонной плоскости.

Два года спустя, прикованный к постели, я наблюдал алиментарную дистрофию в последней стадии. Смерть атакует разрушенный и неспособный к со-

противлению организм в одной какой-нибудь точке. Люди умирают от сердечной болезни, от горловой чахотки, чаще всего от водянки. К этому времени они уже не в состоянии двигаться и без помощи санитара не могут исполнить естественной надобности. Их как младенцев сажают и переносят с места на место. Врачи указывали в своих сводках алиментарную дистрофию, как причину смерти. Но в мае 1945 г. было передано распоряжение из Московского ГУЛАГ'а: не приводить более алиментарной дистрофии в рубрике

вод: поражение сердца, легких и т.п. Таким образом, одним распоряжением свыше была уничтожена голодная смерть в советских лагерях. Надо думать, что статистика смертности в бесчисленных тысячах лагерей, с одним монотонным припевом «АД» — наконец, надоела людям, которые нас убивали, но считали при этом нужным соблюдать формы. С мая 45 года ни один человек больше не умер с голоду в местах советского заключения. То, что это распоряжение было помечено как строго секретное, показывает, что его авторы сознавали позорный смысл его.

В начале 43 года я вступил на дорогу смерти, но прошел только первые стадии алиментарной дистрофии. Мой вес, с довоенных 80 кило сократился до 45. Я начал испытывать трудности при ходьбе. Триста метров, которые мне приходилось проходить каждое утро до конторы ЦТРМ, я одолевал с крайним напряжением, обливаясь потом. Я с усилием передвигал ноги. У меня появилось ощущение их полости, но когда я пробовал поднять ногу, она оказывалась чужой, как будто вместо ног у меня были протезы или свинцовые болванки. Это было странное ощущение, когда мои старые ноги, которые 42 года служили мне и составляли часть моего тела, вдруг перестали меня слушаться и исполнять мои приказы. Подходя к крылечку о трех ступеньках, я сперва ставил одну ногу на нижнюю ступень, потом подтягивал другую. Потом, с сосредоточенным лицом, точно решая трудную задачу, я принимался за вторую ступеньку. Я ходил

так, как ходят дряхлые 80-летние старики. Процесс ходьбы стал для меня драматическим переживанием. Но я не был исключением; с каждым днем становилось все больше таких, как я.

Вторым симптомом была сыпь в локтях, коленях и крестце, ярко-красная на высохшей коже, лишенной жировой подкладки. Кости торчали наружу, ключицы, ребра проступали, — плоть таяла на нас, и скелет выходил наружу. Медицинский осмотр дистрофиков состоял в том, что нам командовали спустить штаны и повернуться. Один беглый взгляд на то место, где раньше были ягодицы, заменял всю проверку. Нам уже не на чем было сидеть. Приходя в контору, я приносил с собой маленькую подушечку на стул. Но уже и сидеть было трудно. Я нуждался в том, чтобы лечь.

А лежать я не имел права, потому что меня не освобождали от работы. В том состоянии глубокого старческого изнеможения, когда человека тянет к покою, когда сами собой опускаются руки и замирает сердце, когда беспрерывно ноют ноги, как после долгой дороги, когда температура понижается на градус против нормальной и человек гаснет, как уголек, оброненный в снег — я с утра до вечера вертелся на людях, при исполнении обязанностей. — Мне приказывали, меня посылали, подымали с места, подгоняли, торопили, — и я не просто умирал, а умирал на ходу, в работе, в толчее, в давке, в страхе и вечной оглядке — откуда идет беда.

Зэ-ка обыкновенно говорят: «мы не живем, а существуем», понимая под этим, что для них жизнь сводится к поддержанию физиологических функций организма. Теперь и это «существование» превращалось для меня в невыносимую муку, в непрекращающееся телесное страдание. Засыпая в бараке, я искренне желал себе не проснуться на следующее утро.

В конторе я был переписчиком. Мне давали переписывать акты, отчеты, рассчетные ведомости, мое дело было проверять, все ли пришли на работу. Перед лагерным разводом я брал себе выписку в Санчасти

— кто освобожден по болезни из нашей бригады. Потом я обходил цехи и все рабочие места — проверял, все ли налицо. И я же подметал, носил уголь для растопки, носил дрова, а когда темнело — закрывал ставни. Весь день посылали меня с разными поручениями. И все это я делал очень плохо, очень медленно, с видимым напряжением, от которого окружающим становилось неловко. Очень скоро я надоел лагерной аристократии, которая позволила мне укрываться от общих работ в конторе под условием, что я буду бодрым, веселым и услужливым товарищем. Но уже в первый день возник конфликт, когда оказалось, что я не в состоянии колоть дров. Нам не давали дров в контору, мы их воровали на пустыре против электростанции. Я пошел со всеми на этот пустырь, принес на плече бревно — но пилил я уже слабо, медленно, а колоть и совсем отказался. Вот этого отказа и не могли мне простить мои сотоварищи. Я, принятый из милости псевдочертежник, не имел права отказываться от работы, которую мне указывали.

Возможно, что все это не было так страшно, как мне казалось. Но я трагически переживал всеобщую враждебность ко мне. Я чувствовал себя лишним и ненужным человеком в конторе. Один из симптомов алиментарной дистрофии есть ослабление памяти и умственных способностей до степени слабоумия. Я забыл адреса своих самых близких друзей. Я забыл имена своих любимых писателей, названия диалогов Платона. Через некоторое время оказалось, что я не в состоянии написать ни одной бумаги без ошибок, и во всех моих счетах и подсчетах всегда что-то не сходится. Все вокруг меня щелкали с пулеметной скоростью на «счетах». Сухой треск костяшек стоял в конторе с утра до вечера, и только я один не умел достаточно быстро считать на «счетах», и у меня скорее получалось на бумаге.

Места в конторе не было у меня. Был стол бухгалтеров, и стол инженерно-конструкторского бюро, и стол завхоза бригады, а я сидел на месте того, кто в данный момент отсутствовал. Однако, на место стар-

шего бухгалтера я не смел садиться даже тогда, когда его не было. Пера и чернил мне также не полагалось. Письменных принадлежностей не было, каждый, кого «допустили» в контору, добывал их где мог, берег, запирал, и не давал никому притронуться. Чернила сами делали из химического карандаша, а химический карандаш покупали тайком за хлеб, потому что он запрещен в лагере. У меня было свое перо. Я оставил его в незапертом ящике стола — на другое утро его уже не было: украли. Я раздобыл другое перо, сунул его в чернильницу — и получил жестокий нагоняй: «не лазь в чужую чернильницу, свою принеси»... все сидели с безучастными лицами за своими чернильницами, а я не мог написать акта для начальника, потому что у меня не было чернил. Это было больше чем злорадство — это было холодное бешенство над отсутствием у меня сил, чернил, памяти, изворотливости и теплых рукавиц. ЦТРМ имел свою каптерку, и они все получили в конторе на зиму и рукавицы, и обувь. Но я был временный гость, чужой, и меня в список не включили. Это были советские люди, беспощадные к чужой нужде, которые зубами держались за свое и ненавидели слабых, обременяющих «коллектив».

Понемногу перестали мне давать работу. Мне нечего было делать в конторе. У меня мерзли ноги. От времени до времени я вставал от стола и шел к печке погреться. И однако мне не следовало этого делать! Я чувствовал, как сгущалась в комнате враждебность против меня. Наконец, кто-то, расположенный ко мне больше других, не выдержал и сказал мне прямо, что я меньше всех работаю и больше всех греюсь, и это действует ему на нервы. И однако на нем были валенки, а на мне худые рваные опорки «четезэ».

Все время я должен был остерегаться провокационных вопросов. Старший бухгалтер Петров обратился ко мне однажды с вопросом: «Что такое фашизм?» Прежде чем я успел собраться с мыслями для ответа, я увидел, как мне делают из-за его спины бешеные знаки, чтобы я молчал. Надо было остерегать-

ся таких бесед, которые могли повредить не только мне, но и слушателям.

Начальником бригады был инженер Моргунов, — человек, в котором по внешнему виду никто не признал бы еврея: высокий, смуглый и крепкий человек. Зэ-ка Моргунов провел много лет в Китае, говорил по-английски. Потому то он и сидел в лагере: он принадлежал к той группе служащих Дальне-Восточной жел. дороги, в Манчжурии, которая после уступки этой дороги Японии, вернулась в Россию и целиком была посажена в лагерь, как зараженная соприкосновением с заграницей. Моргунов не унывал: это был лагерный «ницшеанец» в советском варианте, который как-то напрямик мне сказал, что слабым в лагере не место: «пусть умирают». Этот принцип «падающего толкни» он ко мне применял с полной последовательностью. Когда Моргунов входил в контору, я знал, что меня сейчас пошлют куда-нибудь, подымут с места, выдумают что-нибудь для меня. Моргунов посылал меня на розыски какого-нибудь человека и я ползал, как собака с перебитой ногой, из цеха в цех, из помещения в помещение, проваливаясь в сугробах снега как во сне, и сам был удивлен, если вдруг натыкался на этого человека, который, впрочем, не обращал никакого внимания на вызов. Моргунов посылал меня в поле принести чурки, которых я заведомо не мог поднять. Я до тех пор мучился над ними, пока из конторы не выходил кто-нибудь помочь мне.

Людей из конторы часто вызывали на физическую работу, когда требовалось спешно расчистить от снега полотно ж. дороги или разгрузить какой-нибудь вагон. Шел и я, хотя мое участие в работе было совершенно бесполезно. Но за физическую работу полагалось 100 или 200 гр. добавки хлеба. Я ковырял лопатой или подставлял где-нибудь плечо, — а потом открыто и бесстыдно садился где-нибудь в стороне. Другие еще пробовали показать вид, что работают, но я и для этого уже не годился.

Максимальное физическое усилие наступало ве-

чером, когда мы возвращались в лагерь. Каждый брал с собой по толстому полену или чурке в барак. Несли его подмышкой или на плече, прислонив голову к мерзлой ледяной коре полена. Это полено давало право греться у печки. Кто не приносил ничего, тех гнали от печки.

Подняться на верхнюю нару мне уже было трудно. Раз взойдя на верх, я уже не спускался без крайней необходимости. Я также перестал раздеваться на ночь. Физическое усилие, нужное для того, чтобы освободиться от ватных брюк и всего, что на мне было наворочено, уже превышало мои возможности. Я только скидывал с ног «четезэ», снимал бушлат, накрывался с головой лагерным байковым одеялом и засыпал под шум разговоров и жужжание радио.

Население Сангородка Круглица не уменьшалось. Беспрерывно поступали в сангородок больные из окружающих лагпунктов и, выписываясь, оставались на месте в рабочих бригадах. Зато в обыкновенных рабочих лагпунктах по соседству с начала 43 года стал заметен отлив. Лагерное население убывало. Отлив шел не столько за счет освобождения по отбытии срока, сколько за счет вымирания. А так как новых зэка в первые 2 года войны не присылали, то у сидевших в заключении была иллюзия, что с концом войны наступит и конец — естественный — лагерей. Как часто, глядя на грязные стены бараков, на ограду с колючей проволокой, на лица охранников, я говорил себе: «Все это скоро исчезнет, пройдет как дурной сон, растает как снег на солнце... и места не найдут, где это было...» и радовался, когда слышал, что два соседние лагпункта, где население сильно поредело, соединяются в один. — Эта иллюзия о конце лагерей держалась у нас до второй половины 44 года, когда из местностей, очищенных от немцев, хлынула в лагеря новая мощная волна заключенных.

В начале 43 года, т.е. в третью лагерную зиму, умер Яцко. Я помнил его молодцеватым, самоуве-

ренным лучкистом, потом — когда исключили его из амнистии для поляков — озлобленным почитателем Гитлера, полным ненависти к своим палачам. В довоенной Польше Яцко был националист, и со мною, евреем, наверное, не стал бы разговаривать. Но в Круглице, где он догорал от чахотки, я был одним из немногих, с кем он мог говорить по-польски. Раз в месяц или два месяца я заходил к нему в стационар для туберкулезных — тот самый, где я провел 3 таких хороших дня в июле 41 года. Стационар был полон умиравших, и Яцко присмирел: он знал, что уже не выйдет живым отсюда. У него был план: подать заявление уполномоченному просить беседы. Какое-то «важное сообщение» он хотел сделать уполномоченному — открыть ему секрет. Я всячески старался отговорить его от этой мысли. Не стоило открывать никаких секретов уполномоченным. Яцко очень боялся смерти среди чужих, смерти вдвойне безвестной, т. к. он был в лагере под чужой фамилией. Яцко не был Яцко, а кто-то другой, и было у него что-то важное, что он непременно хотел спасти от забвения, передать в верные руки. Наконец, он мне намекнул, что должен будет особо поговорить со мной, о важном деле. Но он не успел этого сделать. Как раз в его последние дни я сам слег в больницу, и Яцко напрасно просил санитара найти меня и вызвать к нему. Я узнал о том, что он вызывал меня, уже после его смерти.

Так и неизвестно, кто скрывался под фамилией Яцко, и какие невыполненные важные дела были у него в мире. Человек этот, пока был здоров, казался мне ничтожным и неприятным (как вероятно и я ему) — его мысли и чувства были мне чужды и враждебны, и в других условиях он бы легко мог стать моим палачом. Но ясно и непреложно я видел, что все это не имело большого значения. Не в этом был корень зла. Яцко не был ни лучше, ни хуже других. Яцко был моим сочеловеком.

Мне было ясно, что люди не могут побороть границ, естественных, исторических, социальных и личных, которые их делят, и не в этом зло. В лагере все

умирали одинаково: фашисты и демократы, евреи и антисемиты, русские и поляки, добрые и злые. Личности, как и целые общества и народы, надо уметь оставить в покое с их слабостями и несовершенством, и надо помнить, что каждый человек способен на преступление в известных условиях. Зло же — настоящее, смертельной ненависти заслуживающее зло — представляет только то, что зачеркивает живого человека во имя фетишизма, во имя цифры, плана и расчета, во имя «Хеопсовой пирамиды», как бы она ни называлась на языке политиков и завоевателей. Каждый понимает разницу между человеком, хотя бы самым враждебным, и бездушной машиной, которая сеет смерть и умножает в мире страдание. Преступлением, которого нельзя простить, является отказ человека от сочеловечества и превращение его в бездушное орудие убийства и порабощения.

В лагере я научился видеть изнанку вещей, изнанку каждого слова. Такое слово, как «фашист», означало безусловное зло, — и это же слово служило поводом для палачей ломать и кромсать живую жизнь во имя чего-то, что было не меньшим злом, чем фашизм.

Приблизительно в то же время умер Семиволос. Этот крепкий и сильный человек рухнул, как дуб в бурю. Случайная болезнь — воспаление легких — свалила его. Тогда обнаружилось, как глубоко годы в лагере подточили его изнутри. Этот человек учил меня, новичка, как надо жить в лагере, как устраиваться, как раскладывать костер в лесу, как надо и не надо питаться. И вот, оказалось, что я, слабый и ничего не умеющий — пережил его, героя и стахановца. Моя сила сопротивления была больше, и это имеет свое простое объяснение. Семиволос был в лагере передовик и знатный человек, а я — вне лагеря человек нормального вида — в лагере был бесформенным и жалким комком живой протоплазмы. У меня не было никаких амбиций в лагере, и я пользовался любой щелью, любым углублением в почве, где я мог спрятаться. Если бы все люди в лагере были такие, как я,

— пришлось бы лагеря ликвидировать. Лагеря держались на Семиволосах, которые хотели быть «достойными лагерниками», на исправных рабах, которые тянули из себя жилы, и из которых бессовестный лагерный порядок вытягивал последнюю каплю силы. Смерть Семиволоса в лагере, конечно, равняется убийству. Мы, человеческая пыль, погибали миллионами от болезней и голода, но иногда мы переживали силачей, потому что меньше поддавались эксплоатации и легче находили нелегальные лазейки в трудном положении.

В начале февраля мое благополучие кончилось. Меня изгнали из рая. Поздно вечером разбудила меня в бараке женщина-нарядчик, тронула за плечо и сухо сообщила: «завтра в другую бригаду». Я был оскорблен смертельно тем, что Моргунов и Петров не сочли нужным предупредить меня и дать мне время приготовиться. Теперь мне не оставалось ничего, кроме фатализма: будь что будет...

На несколько дней наступает провал в моей памяти, и я не знаю, как провел следующие дни. Только дата 8 февраля 1943 года врезалась прочно в мою память.

В этот день принесли меня в глубоком обмороке в амбулаторию, и я слег в больницу, слег надолго — до 20 апреля. И снова — это был хирургический стационар, неизменный приют мой, где я находил защиту и спасение всякий раз, когда волны уже смыкались над моей головой. Первые двое суток я пролежал в палате Максика замертво. Садился я только к еде, а остальное время лежал неподвижно, отдыхал всем существом, дремал, спал, ни о чем не думая и переживая счастье человека, которого волны выбросили после кораблекрушения на мягкий песок. Мое воображение не шло дальше, как полежать здесь еще недельку или две.

Утром 15 февраля пронеслась тревога по стационару: начали вызывать больных на проверку.

Дверь из палаты отворялась в боковой коридор, из которого еще 4 двери вели: в чулан завхоза, в про-

цедурную, в комнату лекпома, где лежал Раевский, и в операционную. Перед входом в процедурную стояла очередь больных. Все были в страхе. Какой-то незнакомый врач сидел там. Нам уже были известны такие контрольные налеты, с одно-минутным осмотром и кратким распоряжением: «выписать немедленно».

Я пришел в отчаяние, когда Максик в белом халате забежал в палату, скользнул глазами по ряду коек и показал на меня пальцем:

— На осмотр!

Слезы выступили у меня на глазах. Зачем не оставляют меня в покое?

— Макс Альбертович! — я смотрел на него умоляюще. Я хотел ему сказать, что одной недели мне мало, что ноги еще не держат меня. Но Максик торопливо повернулся, сделал вид, что не слышит и ушел. Я с горечью подумал: «Предатели, трусы». Больные выходили по очереди в коридор, а я лежал. — «Чем позже, тем лучше, — думал я — а вдруг забудет про меня». Но Карахан, наш туркменский лекпом, подошел ко мне и строго напомнил: «Марголин, вставайте, ведь вам уже было сказано».

В процедурной незнакомый врач, которого я до того и в глаза не видел, в присутствии начальника Санчасти, человека вольного и мало понимавшего в медицине, велел мне раздеться и начал записывать:

— Цынга, — диктовал он, — крайнее истощение, ороговение кожи, сердце расширено на 2 пальца, шумы в верхушке правого легкого. Плеврит был? Пишите, что был. Мокрый, сухой? Пишите, мокрый. Что, язва желудка? Превосходно. Зрение, близорукость, 11 диоптрий. Частые головные боли? Пишите, все пишите.. Дистрофия, поллагра, фурункулез... Макс Альбертович, а чего бы еще написать?..

Я видел, что этому человеку можно жаловаться, следует жаловаться, стоит жаловаться, и я раскрыл рот и вылил свою душу. Я описал ему свое состояние с такими подробностями, что и камень бы расстроил-

ся. Я видел, что сегодня меня еще не выбросят из больницы — сегодня, во всяком случае, нет.

Я ушел и прилег на койку. Я был очень далек от мысли, что в эту минуту решается моя судьба. Незаметно я впал в сон. Заснул я рабочим 3 категории («облегченный труд»), а проснулся инвалидом 2-ой группы. Меня актировали. Невероятное, головокружительное известие порхало по всей палате, передавалось от койки к койке. Все с завистью смотрели на меня. Лекпом Карахан Шалахаев первый поздравил меня, но я не поверил, пока сам Максик не пришел, сел на край койки и сказал, потирая руки:

— Ну-с, товарищ Марголин, мы вас актировали. Кончены трудовые подвиги. Вы довольны?

Был ли я доволен? Я обезумел от счастья, я не знал, что со мной делается, это был мой самый светлый праздник в лагере. Актировка — больше, чем инвалидность 2-ой группы. Актировать заключенного — значит официально подтвердить, что он не только непригоден к физическому труду, но и не может восстановить своего здоровья в лагерных условиях. Эта формулировка: — «в лагерных условиях» очень важна. В нормальных условиях он еще может восстановить свою трудоспособность, но в лагере — Санчасть складывает оружие. В 1943 году на основании «актировки» освободили много инвалидов. Этот документ давал формальное основание для моего освобождения. Мое положение в лагере менялось радикально, и эта смена пришла неожиданно. Я был ошеломлен.

Еще несколько дней назад Моргунов гонял меня как собаку, и моя очевидная слабость только раздражала всех, окружавших меня. То, что я был доведен до инвалидного состояния, само по себе было недостаточно. Если бы не интервенция Максика, который стационировал меня и потом подсунул заезжему гостю — если бы не п р о т е к ц и я и личное знакомство, я продолжал бы ходить на работу, как другие, которые не были в лучшем состоянии, чем я, и которых актировали за 2 недели до смерти.

В стационаре я помогал вести отчетность. Карахан повел меня в процедурную, усадил за столик, дал перо и чернила, и я переписал в 2 экземплярах 15 актов, 15 документов актировки, среди которых был и мой собственный. Забавно было то, что этот документ, который равнялся для меня спасению жизни в последнюю минуту — был мистификацией. 24 болезни выписали мне в этом документе, потому что, если бы просто написали правду, что спустя 2½ года пребывания в лагере я больше не в состоянии стоять на ногах — этого было бы недостаточно.

Последующие дни я провел в радостном возбуждении, в праздничном тумане. Прежде всего было ясно, что на основании актировки оставят меня лежать в стационаре продолжительное время. Документы актировки были отправлены на утверждение в Ерцево. Там половина из них потерялась, в том числе и мой собственный. До конца года поэтому меня еще дважды вызывали на переосвидетельствование. Всякий раз спасал меня мой внешний вид — седая голова в 42 года, исключительная худоба, жалкое бессилие и измождение.

Власть нарядчика кончилась надо мною со дня актировки. С того времени я работал только добровольно и по своему желанию — чтобы не умереть с голоду на инвалидском пайке. Самочувствие мое поднялось. Лагерник, которого не имеют права выгнать каждое утро на работу по усмотрению администрации — продолжает быть зэ-ка, но на половину он уже вне лагеря, — он уже не лагерник в специфическом каторжном смысле этого слова, означающем рабский труд. Он может выбрать, может бросить работу, которая ему слишком тяжела, и не работать совсем, если предпочитает голодную смерть.

В первые дни после актировки я, как счастливый ребенок, лежал улыбаясь всему свету и примиренный со всеми. Я не получил религиозного воспитания и до лагеря никогда не беспокоил Бога своими молитвами. В лагере, где моя судьба превратилась в игруш-

ку стихий и случайности, я впервые ощутил потребность выразить словом упрямую веру в чудо спасения, в мировой Разум, незримо присутствующий за мировой бессмыслицей. Тогда я научился кончать свой день словами: «Боже, выведи меня из грязи и верни на Родину». Но только сейчас я почувствовал, что этот счастливый исход становится действительно возможным.

У меня была потребность поделиться с кем-нибудь своим счастьем. Я написал письмо в Палестину, письмо домой, жене, заадресовав его своим собственным именем: «Д-р Юлиус Марголин»... В ту минуту, когда я кончал его, вошел в палату уполномоченный и увидел издалека, что я что-то пишу. Это было вечером, тусклая электрическая лампочка горела против моей койки, и я не заметил недоброго гостя. Он подошел ко мне, отобрал письмо, произвел обыск в моей тумбочке и нашел неизменные «Вопросы Ленинизма» Сталина. Внутри лежала фотография сына — единственное, что у меня еще осталось от прошлой жизни. Он забрал и фотографию.

В другое время я бы очень огорчился. Но теперь ничто не могло меня омрачить и вывести из состояния блаженного счастья.

Слава Богу, я был инвалидом!

21. ИНВАЛИДСКАЯ ДОЛЯ

Выкосили полянку, на которой я лежал. Подняли в этап соседей, с которыми я спал. Они ушли в Удмуртию, в Ижевские лагеря. Надо было и мне пошевеливаться. Райское состояние неработающего инвалида кончалось.

Тому были две причины. Первая — экономическая. На 400 граммах хлеба прожить нельзя. Инвалид съедает 200 гр. хлеба утром и 200 гр. вечером. Ему дают их в два приема. Иначе он бы сразу проглотил свой кусок хлеба и на круглые сутки остался бы ни с чем. Остальное, что он получает к хлебу, стоит не-

много: талон первого и даже второго котла обменивается в лагере на 150 или 200 гр. хлеба. Неизбежно все мысли инвалида сосредоточиваются на том ,как бы подработать. Заработать много он, правда, не может. Стахановского или ударного пайка не полагается ему ни в коем случае (если может перевыполнить норму, то какой же это инвалид?). На физической работе могут его — максимально — сравнить с выполняющими норму. Это — еще 200 гр. хлеба. В 1944 году разница составляла всего 150 грамм. Помимо хлеба, разница в питании между I и II котлом была незначительна. Жиры выдавались по 10 гр. растительного масла в кашу, а сахар на Круглице, по 20 грамм в день, получали только стационарные больные, и то не всегда.

Но не только погоня за хлебом заставила меня снова выйти на работу. Была другая серьезная причина. По мере того как на лагпункте собиралось большое число инвалидов, их переправляли в особые концентрационные пункты, чтоб не путались под ногами. Инвалидов из Сангородка отправляли в Островное или Медведевку. Там собирались человеческие отбросы лагеря, отработанный пар. — Для них был там особый режим и особая работа, о чем недобрая слава ходила в Круглице. Человек, который туда попадал, как в болото, уже не мог подняться. Там была концентрация ненужных и лишних элементов, которыми уже не интересовалось начальство. Над нами, инвалидами, всегда висела угроза: «Отправят в Островное, там пропадешь». Быть инвалидом среди здоровых на нормальном рабочем лагпункте — большое преимущество. Тут и пристроиться легче, в контору или в лагобслугу, — и кормят лучше. Там же, где все кругом тебя такие же инвалиды, как и ты, — невозможно выбиться из общей массы, и всем одна участь. Итак, я всеми силами держался за мой прекрасный Сангородок. Приблизительно раз в месяц производили чистку, собирали неработающих инвалидов и отправляли прочь. Чтоб не попасть в роковой список, надо было исполнять какую-нибудь полезную функ-

цию, быть «работающим инвалидом» и вообще иметь репутацию человека, который без дела не сидит. И я снова взялся за «дело».

Пока не было холодов, ходили за вахту. Инвалидская бригада отправлялась куда-нибудь «на затычку», на подборку мусора, на очистку полей от камней и тому подобные работы. Состав ее был самый пестрый: старики, которые еще хорохорились и не сдавались, ветераны труда, у которых тряслись колени и впали щеки, чахоточные, не совсем еще созревшие для больницы, калеки, хромые, уроды со всех концов мира — югославы, корейцы, армяне и финны; — кто-то, знавший проф. Ланжевена в Париже, стоял рядом с колхозным пастухом. Каждый из нас срезал себе палку — и тяжело опирался при ходьбе. Я тоже выходил с палкой, становился в строй и ждал, пока проверяли. А проверяли нас поименно, чтобы не припутался случайно кто-нибудь здоровый.

Инвалидное шествие трогалось в путь. Четверки быстро расстраивались, растягивались нестройной толпой по пыльной или грязной дороге. Сбоку плелся стрелок, тоже инвалид, забракованный для фронта, или баба-солдат, в бушлате и фуражке с красной звездой, которая ружье держала как хворостину против гусей. — «Прибавь шагу!» — «Подтянись!» — «Прекратить разговоры!» — а когда мы уже очень выбивались из строя: «Приставь ногу!» — Тут передние останавливались и ждали, пока подойдут задние. Стрелок опять пересчитывал людей и переставлял задних вперед. Впереди бригады всегда шли самые слабые ходоки, а прочие топтались за ними и наступали на ноги.

Пройдя с полкилометра, бригада сама без спросу садилась отдыхать. Рассаживались на камушках вдоль дороги, откладывали посохи, а некоторые прямо валились на землю, на бок и навзничь. — «Отдыхай, слабкоманда!» — говорил стрелок и терпеливо закуривал в стороне. Нам по инструкции не полагалось подходить к стрелку ближе чем на 3-4 метра, но запрет часто нарушался. Бригадир, как представитель

власти, часто садился рядом. В отношении стрелков к заключенным не было ни враждебности, ни особой начальственности. Было слишком очевидно, что мы, заключенные, сделаны из того же теста, не враги и не преступники, а та же серая рабочая скотинка, которой приказано властью жить в лагерях.

Бригадир не работал. По правилам только в больших бригадах, числом в 25 и 30 человек (кажется), бригадиры освобождаются от работы, а в меньших — обязаны работать наравне с другими. Но на деле бригадир никогда не работает: он только расставляет людей, учит, показывает и погоняет, а вечером составляет рабочие сведения, получает на бригаду хлеб и ходит по делам бригады в контору и ЧОС. Понятно, что в инвалидской бригаде работы у него не много.

Мы занимались плетением матов из тонких деревянных планок во дворе сельхоза. Этими матами потом покрывали стеклянные рамы парников.

Осенью посылали нас на уже убранные гектары картофельных полей — подобрать мелкую картошку, которая осталась незамеченной при уборке. Весь день мы копошились в бороздах и находили массу картошки. Есть ее нам не позволяли, и не было огня, чтобы спечь. Только стрелок весь день пек картошку в золе своего костра. Некоторые не выдерживали и подходили клянчить. Они клянчили лживыми, сладкими голосами, как маленькие дети, и стрелок иногда бросал им картофелину, со злостью, чтобы отвязались. Все мы ели картошку сырую, ели украдкой, чуть почистив рукавом. Я был в состоянии съесть 20 сырых картошек. Если бы позволили спечь, хватило бы половины. Но никто не имел права позволить нам этого. Каждая картошка принадлежала Государству.

С наступлением холодов я стал дневальным ЧОС'а. Обязанностью моей было убирать две комнатки. В первой помещались «продстол» и «вещстол». Во второй — кабинетик начальницы ЧОС'а, Гордеевой. Стол, большое деревянное кресло, портрет Сталина, шкаф с бумагами — составляли мебель кабине-

тика, а на столе стоял большой стеклянный графин — вещь в лагере необыкновенная и поражающая внимание. Каждое утро я наполнял графин свежей водой. За водой приходилось идти в другой конец лагеря, в кипятилку. Кипятильщик Арон Штернфельд, черноволосый украинский еврей, был моим приятелем. Я получал у него вне очереди ведро кипятку для ЧОС'а.

В первой комнатке за деревянным барьером сидели счетоводы. Главбух, лысый армянин, сыпал анекдотами и шутил с бабенками. В углу помещался вещстол. За ним сидел старил лет 60-ти, как будто приросший к табурету, непогрешимый канцелярист, идеальный счетовод. Третий, хлебодатчик, однорукий (другая рука у него высохла), с бритым и твердым лицом, широкими плечами, был полон иронической вежливости и непроницаемости. Все трое были сыты, веселы — балагурили. Можно было годы с ними жить и не узнать, кто они такие в глубине души. Это были советские чиновники в лагере, придурки. В течение дня я стоял при печке и ходил с поручениями. Нельзя сказать, что я бегал: ноги еле-еле волочились у меня. Счетоводы ходили в продкаптерку и приносили оттуда картошку. Они пекли ее в печке, и такт требовал, чтобы я этого не замечал. Бог видит, каких усилий стоило мне не показать им, как тянет меня за сердце дух печеной картошки, и не стянуть хотя бы одной картофелины. Они делились между собой и с полным бесстыдством съедали на моих глазах все до конца. Никто из них никогда не предложил мне ничего, и я думаю, им даже доставляло удовольствие присутствие у печки человека, который стискивал зубы и смотрел в сторону.

Вечером я заправлял лампы на случай порчи электричества (которая бывала каждый второй день), закрывал окна тяжелыми деревянными щитами. От 8 до 10 ЧОС заполнялся толпой работяг. Густая толпа стояла за барьером, а под дверью Гордеевой выстраивалась длинная очередь. Тут выписывались наряды в вещкаптерку на рукавицы, обувь, одеяла и одежду. Кроме работы дневального, я составлял вся-

кие акты, отчеты, записывал и отправлял почту с людьми, которые отправлялись от нас в Ерцево и соседние лагпункты. На этой работе мне полагался I котел и 500 гр. хлеба — норма для дневальных. Разница с инвалидским пайком составляла всего 100 гр. хлеба. Так как дневальные не могут жить на таком пайке, то их неофициально «подкармливают» на кухне. Меня тоже «подкармливали». Это была унизительная и отвратительная процедура. В 8 часов, после раздачи завтрака, я подходил к закрытому окошку кухни и стучал. Друзей у меня на кухне не было, и они не торопились открывать мне окошко. Часто, простояв полчаса, я уходил ни с чем. — «Нету ничего!» — Этот котелок «баланды», жалкого лагерного супа, составлял всю мою зарплату за работу в ЧОС'е (кроме 100 лишних гр. хлеба), — но мне всегда давали его как бы из милости, с досадой и злостью.

Совершенно чужими были мне также люди в ЧОС'е. Гордеева, начальник ЧОС'а, вольная, приходила часа на два ежедневно. Это была та самая, которая мне когда-то выписала новую рубашку, а потом испугалась моего «письма к Эренбургу», и в конце концов посадила меня в карцер за кражу рыбы... Помощником ее, со званием «инспектора ЧОС'а», был молодой зэ-ка Павел Иванович... Оба — люди, повидимому, европейского типа, но пропасть отделяла меня от них. Это была *лагерная* интеллигенция. Никто не заставлял Гордееву принимать участие в обысках по баракам, и, однако, и она, и Павел Иванович очень любили этим заниматься. Заключенные часто задерживали казенное имущество, имели по две пары ватных чулок, краденое одеяло и прочие «излишки». Для изъятия излишков устраивались внезапные налеты на тот или иной барак. Гордеева приходила со своими помощниками, но всегда сама обыскивала. Женщина с лицом классной дамы и седыми волосами доставала мешки заключенных, сама их вытряхивала, рылась в тряпье, вскакивала на верхние нары и переворачивала сенники. Глядя на то, с каким искусством и увлечением она обыскивает, я начал по-

стигать в ней душу городового. Должно быть я не сумел скрыть своего отвращения к процедуре обыска, потому что скоро стали надо мной подшучивать в ЧОС'е и угрожать тем, что пошлют меня производить обыск. — «Марголин! — говорил Павел Иванович строго: — вы не можете работать в ЧОС'е и уклоняться от участия в обысках!» — «Да ведь я слепой, Павел Иванович, разве я увижу что-нибудь!» — «Вы будете принимать и записывать отобранные вещи и светить нам фонариком!» — Я отшучивался, как мо́г, но про себя решил, что скорее уйду из ЧОС'а, чем буду с ними ходить по баракам. Однако, через 3 месяца моя работа и так кончилась.

К этому времени были приняты спешные меры, чтобы поддержать инвалидов. Работающие, неработающие — все угасали. Тут и сказалось преимущество находиться в Сангородке — медицинском центре, где никоим образом не могли допустить до массовой гибели людей. Трюк, примененный Санчастью, заключался в том, что инвалидов переименовали в «хроников».

Что такое «хроники»? — Это люди больные, хронически больные, которые лежали в больнице, пока их не выписали без улучшения — люди, которые не хотят ни поправляться, ни умирать. Нет смысла больше держать их в больнице, и невозможно поместить их со здоровыми. Их место посредине. Барак их находится под особым наблюдением сестры и врача. Хроники получают 2-ой котел и 500 грамм хлеба, т. е. сравнены в смысле питания с конторой и лагобслугой. Инвалидам не повысили нормы (это могла бы сделать только Москва), но зато придумали для них новую рубрику — словцо, которое позволило вывести их из круга смертников и, по крайней мере на время, замедлить темп голодного истощения. На время — потому что, конечно, и питание хроников было недостаточно для ослабевших людей. У нас уже так мало оставалось физических резервов, что один какой-нибудь перебой в питании, вроде украденной пайки

хлеба или потерянного талона на ужин — мог свалить нас с ног.

Настали холода, и дорожки в лагере обледенели. Тогда начало случаться, что я падал в снегу. В особенности часто — в темные вечера, на обратном пути из-под окошка кухни в барак, с ужином в котелке. Котелки эти, из ржавого железа, редко имели ручку, и носить их приходилось в обеих руках, осторожно, пока ноги нащупывали дорогу в снегу. У меня были соломенные, чужие ноги. Они спотыкались и разъезжались, как у годовалого ребенка, только не было матери, чтобы поддержать в последнюю минуту. Пускаясь в дорогу, 100-200 метров, я уже готовился к тому, что где-нибудь по пути упаду. Я научился падать так, чтобы котелок оставался непролитым. Это было особое искусство. Но когда случалось несчастье, и мой котелок выливался, я оставался без еды до следующего утра. И этого уже было достаточно, чтобы заметным образом обессилить меня. Между ежедневным приемом пищи и способностью двигать руки и ноги установилась очевидная связь. Налицо был нищий баланс прихода и расхода: ежедневный кусок хлеба и считанные калории утром и вечером — расходовались в движениях тела. Если этого прихода не было — я замирал, и останавливался, как часы, которые забыли завести. Тело стало ломким и хрупким. От каждого резкого потрясения или трения оставались царапины, разрывы, и ткань не заживала неделями, кровоточила и нарывала.

Всех инвалидов Круглицы произвели в хроники, а хроников разделили на 2 группы. Человек 16 туберкулезных поселили вместе в одной комнате. Это были люди с закрытым процессом, которым еще рано было ложиться в легочный стационар. Они имели свою посуду и находились под особым присмотром врача. Остальных хроников, человек 25, поселили в другом бараке. С нами помещалась еще другая бригада и «слабосилка», т. е. группа ослабевших рабочих, которым на 2 недели давали облегченные условия работы.

Наш барак, «16-ый», был обширный, темный, с двухъярусными нарами «вагонкой». Лучшие места были при печке. Бригада, которая помещалась с нами, ходила на распилку дров и поэтому мы были в ту зиму хорошо обеспечены дровами. Под вечер отворялись двери, и гуськом входила процессия закутанных, засыпанных снегом, замерзших людей. Каждый нес дерево, и сразу у печки нагромождалась гора чурок и досок. Пилили быстро, и скоро плита накалялась до того, что железо просвечивало красным. Плиту заставляли котелками и кружками, дневальный вносил два ведра с горячей водой, — и начинались споры за воду и место у печки: обычная картина, четвертый год одно и то же. Одна новость была в ту зиму: картофельная шелуха. К печке больше всех теснились казахи, жители знойной Средней Азии, и они приносили с собой картофельную шелуху, «очистки», которые им удавалось набрать около кухни или выпросить у поваров. Эти «очистки» они сушили на железном листе, до того, что они превращались в тонкие хрустящие коричневые пластинки, — и ели в этом виде. Казах, желтолицый и косоглазый, стоял у печки и сторожил свою шелуху, но все-таки у него брали «попробовать», и скоро все стали гнаться за этой шелухой, всем понравилось.

Каждую неделю появлялся в бараке врач, становился у стола и проверял «хроников», а среди недели забегала сестра и садилась на нару поговорить со знакомыми. Но все это было только формальностью. Помочь они нам ничем не могли, потому что нуждались мы все не в лекарствах, а в хлебе и мясе, жирах и сахаре, в доме и свободе. Все мы, прежде всего, нуждались в освобождении.

Теперь мы работали редко и мало, так как разница между питанием «хроника» и «работяги» составляла всего 100, потом уже только 50 грамм хлеба. За день, когда мы работали, нам давали вместо 500 — 550 гр. хлеба. И однако, даже эти 50 грамм стоили того, чтобы повозиться несколько часов. С утра заходил в барак «хроников» комендант лагеря, или зав-

пекарней, или кто-нибудь другой, кому нехватало рабочих рук.

— Ребята, кто охотник снег почистить, или дров наколоть?..

И комендант обещал «по-блату» дать супу, а завпекарней ничего не обещал, но сразу начинали шевелиться тела, лежавшие на нарах без движения под бушлатами. Кто-то с усилием подымался, кто-то оглядывался на соседа:

— Пойдем, что ли? Может хлебца дадут.

Кто уже не мог ходить, занимался чем-нибудь на месте. В самом бараке производились разные работы. Три человека щипало хвою: Беловченко, Николай и я.

Хвоевар помещался в том же бараке. Это был человек вечно-заспанный, которого мы иначе не видели как спящим или зевающим. Работал он по ночам: варил на кухне «хвойный настой» или квас, как его называли заключенные. Хвойный настой был советским средством против цынги.

Варится он из свежих зеленых игл молодых елок. Работа распадается на три стадии. На первой инвалид Конев, однофамилец маршала, но не родственник, отправлялся в лес, рубил елки и на себе приносил их во двор лагпункта. Он сваливал их на пустырь между кухней и пекарней. — Потом наше звено переносило елки в барак и ощипывало хвою с веток. С утра мы садились к столу, ставили деревянный ящик и часа в два наполняли его доверху. Никто не проверял, сколько мы щиплем, и вся работа никем не бралась всерьез. — Хвоевар принимал у нас ящик и варил из елки ярко-зеленый и терпко-горький напиток, который разливался в бутыли и ведра и разносился по баракам и стационарам. В амбулатории на видном месте стояла бутыль с еловым квасом, и всегда находились желающие выпить кружечку, хотя никого не принуждали, и напиток был так едко-горек, что только нёбо лагерника, отвыкшее от резких вкусовых раздражений, и могло находить в нем приманку. Больше выливалось этого квасу, чем выпивалось, но полдюжины хроников всегда находилось на его про-

изводстве, и каждый получал за работу 50 грамм хлеба, не говоря о хвоеваре, который, находясь на кухне, имел свою особую калькуляцию.

Беловченко, мой сосед по наре, был молодой человек лет 30, с кротким, бледным истощенным лицом, с тоскливым потухшим взглядом. Это был человек деликатный и мягкий, сломленный судьбой и угасавший без протеста и шума. Где-то осталась у него молодая жена и ребенок, но он уже не вспоминал о них. Беловченко был рыбак, вырос в доме деда-рыбака над Черным морем у румынской границы. — «Что такое кефаль, Беловченко? Как ловят кефаль?» — И лежа на спине рядом со мной, вечером после ужина, с головой на мешке, он начинал рассказывать обстоятельно, спокойно, лучше всякой книги — о чудесных рыбах и ловах, о ночных выездах с неводом, о рыбачьей жизни и морских тайнах — низким и слабым голосом, замиравшим, как его жизнь в лагере.

Инвалиды собирались у печки, и начинались бесконечные разговоры на основную лагерную тему: о еде. Нацмены рассказывали о курдюке и пилаве, а башкиры — о баранине; сибиряки — о пельменях, а немцы Закавказья — о временах, когда вино на Кавказе стоило 3 копейки ведро. Голодные люди могли часами толковать о хлебе, муке и разных способах выпечки хлеба. Глаза блестели, воображение разгоралось. Каждый, судя по рассказам, пришел в лагерь из страны неслыханного изобилия. Украинец живописал борщ, который ему с утра подавала старуха, так, что у всех нас кружилась голова. Тут я только убедился, как я поверхностно и бездарно питался в своей прежней жизни. До лагеря я жил окруженный чудесами, не умея их использовать, не зная, ни что такое голод, ни что такое настоящий аппетит. Я не успевал проголодаться от завтрака до обеда и от обеда до ужина. Я ел 5 раз в день, но разве я понимал, что такое е д а? Мог ли я оценить, например, что такое г о р о х? Поляк, хозяин фольварка под Вильной, начал мне объяснять, какой бывает горох, и что можно

из него приготовить. Он говорил, не умолкая, час. Я был ослеплен. Я не знал, что горох в руках художника кухни — как слово в руках поэта — обращается в шедевр. Это была поэма о горохе гомеровской силы. Только многолетний голод — и тоска по дому — могут довести человека до такого экстаза, так окрылить его воображение и уста. — Мы все были ненормально возбуждены. Здоровее было бы поменьше говорить и думать о еде. Но жизнь вообще, а лагерная в особенности — представляет собою очень нездоровое явление...

Иногда мы слушали сказки. Был среди нас белорусс-сказочник, и впервые в жизни я слышал народные сюжеты, известные мне только по книгам, в мастерском пересказе и во всей свежести фольклора, когда они предназначаются не для детей, а для взрослых. Я слышал солдатские сказки, где герой надувает начальство и женится на генеральской дочери — и советский фольклор, очень неприятный, где уже не Баба-Яга заманивает детей, чтобы съесть, а шайка бандитов в Москве заманивает жертвы и продает человеческое мясо. В некоторых рассказах фигурировал «граф Юсупов, который убил Распутина». Чека его арестует, но он чудесным образом спасается из тюрьмы.

Я начал записывать — не эти рассказы, для чего у меня не было бумаги, — а слова и выражения лагерного языка. Это был язык, не похожий на русскую литературную речь. Я не знал прежде таких слов, как «баланда» (лагерный жидкий суп), «туфта» (скверная работа для отвода глаз), «блат» для обозначения тайной протекции, «птюшка» — лагерная пайка хлеба, «балдоха» — солнце. В ЧОС'е заключенная девушка просила табельщика: — «Ваня, выпиши птюшечку побольше», а на работе заключенные кричали начальнику работ: — «Начальничек, балдоха-то светит!» Я записывал десятки таких слов. Одни из них были тюремного, воровского происхождения, другие родились в лагере. Лагерь обогатил русский язык словом «шизó» (штрафной изолятор). «По блату» бы-

ло, очевидно, еврейского происхождения. “B'laat” на языке Библии и Бялика значит «в тишине, потихоньку». Сложной и долгой дорогой докатилось это слово с берегов Иордана на крайний север России, в лагеря Сов. Союза.

В один зимний вечер, подойдя к печке, где, как всегда, набилось много народу, я вдруг услышал странные звуки.

Худой остроносый доходяга прикорнул на лавке, съежился в тепле и с закрытыми глазами что-то нашептывал про себя. Я прислушался:

— Мэ́нин аэ́йде теа́, пэлэнадео ахилэос...

Человек с синими тонкими губами, трупным свинцовым цветом лица, неопределимого возраста, в бушлате, покрытом заплатами, по виду колхозник, как большинство из инвалидов, сидел скрючившись и шептал начало Илиады!

— Кто вы? — Откуда вы знаете Гомера?

Инвалид открыл глаза и уставился на меня с неменьшим удивлением. Мы познакомились, а потом разговорились, а потом подружились крепко.

Николай был для меня совсем новым человеком, из особого мира. Это был украинец, из Днепропетровска, где и я провел юные годы, еще когда этот город назывался Екатеринославом. По специальности — учитель украинского языка, по складу — мягкий мечтатель и библиофил. В двух комнатках его холостой квартиры на Первозвановской улице было 2000 книг. В советских условиях такую частную библиотеку может иметь только маньяк или ученый, всю жизнь коллекционирующий книги. Николаю было 40 лет, и единственной страстью его жизни была литература. В лагерь он попал за «националистический уклон». Во время одной из массовых идеологических чисток на Украине, когда были изъяты люди чересчур темпераментного украинского патриотизма, припомнили ему какую-то печатную заметку, где он похвально отозвался о ком-то из украинских коммунистов, позднее лик-

видированных по приказу из Москвы. Этого было достаточно, чтобы разлучить его с любимыми книгами и сгноить в подземном царстве. Он сидел уже лет 6 — и держался неплохо. Помимо крайнего физического истощения, он был внутренне еще полон силы. Он помнил Гомера.

Внимание, которое он мне оказал, было исключительно. Он был несколько крепче меня, и поэтому помогал мне щипать хвою, помогал в быту, в тех мелочах, от которых зависит настроение и самочувствие человека. Я почувствовал, что имею союзника в бараке, и привязался к нему со всей нежностью и благодарностью, на которую было способно мое ослабевшее, одичавшее сердце.

Каких только людей не было в этой Богом забытой круглицкой глуши! Сколько тонкости было в этом человеке, сколько музыкальности в его ухе, которое реагировало не только на гекзаметры Гомера, но и на каждую утонченность современной поэзии. Николай все понимал, и он первый научил меня уважать украинскую культуру, которая вырастила таких людей. Его культ украинского слова передался мне. Я услышал от него в первый раз имена Максима Рыльского, Павла Тычины и др., и живой плотью облеклись для меня имена Франко или Марко Вовчок. Я эти имена слышал, но ничего не знал о них. А Николая только надо было попросить: «Расскажите, кто такой Марко Вовчок», — и вдруг оказывалось, что это была женщина, и такой прекрасный человек и писатель, что Николай просто сиял, рассказывая про нее.

Чтобы со своей стороны что-нибудь дать Николаю, я его стал учить английскому языку. Бумаги у нас не было. Каждый день он мне доставал деревянную дощечку, а я писал на ней карандашом 10-15 слов по-английски. Потом я написал ему целый маленький текст. Наконец, я ему раздобыл учебник у Максика. Николай умел учиться. Через 3 месяца он уже не нуждался в моих уроках. Он проявил железное упорство и усидчивость, — настоящее украинское упрямство. В полночь, когда барак спал, он просыпался, спускал-

ся с верхней нары к столу, на котором горела тусклая коптилка, и с каменным остроносым лицом сидел часы напролет над учебником. Весной он уже читал самостоятельно английские книжки.

У еврейского и украинского народа имеется свой старый и недобрый счет. Трудно представить себе, что может заставить еврея в широком мире интересоваться украинской культурой, или наоборот. И однако, в советском лагере были братьями еврей и украинец, и я понял, что можно сочувствовать этому народу, самому музыкальному и самому незадачливому среди славянских народов. Украинская народная песня одна из самых богатых на свете, и по численности украинцы не уступают французам, но Шопен не родился среди украинцев, и никогда этот народ не был политически свободным. Придет еще время, когда украинцы и евреи встретятся на мировой арене, не в концлагере и не в условиях погрома или бесчеловечного полицейского угнетения, а как свободные народы. Николай мог бы быть деятелем еврейско-украинского сближения или культурной связи. Но след его заглох в подземном царстве, и я не знаю, жив ли он еще...

В январе 1944 года бригадир хроников Шульга, который благоволил к Николаю, предложил ему работу в овощехранилище. Николай отказался без меня выйти на работу. Таким образом, включили меня в группу из 4 инвалидов: Шульга, Николай и Беловченко — трое украинцев, я был четвертым. Мы вставали в 6, выходили на развод в 7 и работали до часу дня. Шесть часов мы сидели в темном обширном подвале, куда свет доходил через отдушины. Подвал был разделен на закрома, и в каждом лежала отсортированная картошка. Здесь были десятки тонн ее. Нас посадили перебирать картошку и выбрасывать гниль. В подвале было прохладно. Температура овощехранилища не может быть ниже нуля (чтобы картошка не замерзла) и выше 4° (чтобы она не проросла). Завскладом регулировал температуру при помощи маленькой печки и следил, чтобы мы не воровали кар-

тошки. Его место было в маленькой каморке при складе, где было тепло, и мы, входя, нюхали воздух и искали, где стоит картошка, которую он сам наварил. При каждом налете начальства прежде всего проверялись печки — не стоит ли где-нибудь преступный котелок... Понятно, начальство знало, что завскладом не может не пользоваться картошкой, но все же строго контролировало его, учитывая, что он в противном случае может перейти все границы. Начальство следило за завскладом, а завскладом за нами — и все, без исключения, воровали; даже стрелок, заходя в подвал на минуту, набивал карманы.

Наш шеф был горбоносый кавказец, осетин — человек степенный, очень деликатный, никого не ругавший и не бивший. Обыкновенно, заведующие складами имеют тяжелую руку. Но наш осетин не был обыкновенный человек... при случае выяснилось, что он понимает по-английски... и даже имеет жену в Лондоне... больше он, однако, ничего не сказал о себе. Наш осетин понимал, что ради 50 гр. хлеба не сидят 6 часов в холодном и темном подвале, и что надо нам дать что-нибудь. Но он боялся кормить нас — боялся, что мы проговоримся, если что-нибудь получим из его рук. В полдень, за час до конца работы, он выносил нам по о д н о й вареной картофелине на брата. Иногда это была репа. Это было все. Но мы не обижались. Мы сами себя кормили.

Для этого имелось три способа. — Во-первых, мы выносили картошку на себе. При выходе из подвала нас обыскивали. При вахте угрожал нам вторичный обыск, с тем, что если бы нашлась картошка, в карцер на 5 суток попал бы не только вор, но и завскладом. Понятно, что наш заведующий при выходе тщательно ощупывал нас и очень просил не подводить под неприятность. Однако, все-таки выносили. Пришивали себе карманы под мышками, между ног, в самых разных местах, в надежде, что одно какое-нибудь место останется незамеченным при обыске. Прятали мелкую картошку под шапку, в ватные чулки, в «четезэ». В подкладке бушлатов выносили

картошку, нарезанную плоскими ломтиками. Иногда это удавалось. Но в общем — трудно утаить что-нибудь заключенному от заключенного. Поэтому действовали иначе.

Работники выходили из подвала за нуждой. Подвал был заперт. Завскладом отпирал наружную дверь и выпускал нас — на минуту. Тут обыска не было, и мы набирали в карман картошки, самые крупные клубни, какие были, — за углом подвала выбрасывали ее в сугроб и делали метку в этом месте: клали сучок или камешек. Потом с чистой совестью давали себя обшарить при уходе с работы. — «У Марголина ничего нет!» — говорил осетин, едва касаясь меня. Одну минуту он возился, запирая на замок тяжелую наружную дверь, и за это время мы за углом барака выуживали наше сокровище из сугроба. Тут уж каждая секунда была дорога; прятать картошку не было времени, и мы ее несли прямо в карманах на вахту, полагаясь на счастье: не будут обыскивать. Иногда мы не успевали выбрать картошку из снега. Иногда она уже была украдена кем-то, кто заметил, как мы ее прятали. На дороге, в ста шагах от нас, строилась бригада ЦТРМ — десятки людей становились парами и кричали нам «скорей». Если стрелок-конвойный подходил ближе к складу — опять-таки нельзя было доставать картошку на его глазах. Зато, если удавалось, мы проносили в барак 2-3 кило картошки. Это была победа. Теперь надо было сварить и съесть, не привлекая общего внимания. Тут уж Николай полагался на меня. Я имел в кипятилке приятеля, Арона. Под бушлатом приносился котелок в кипятилку, и Арон сам его ставил на угли. Потом на верхней наре мы ели с Николаем из одного котелка, а сосед делал вид, что не замечает, и завидовал нам.

Но такая удача была редка. Магнит же, заставивший четырех еле живых инвалидов выходить на работу в складе, был совсем иного свойства. В первый же день мы сделали открытие, что в самом конце подвала среди перегородок с картошкой имеется закром с морковью. Моркови мы не ели уже несколько лет.

Морковь не надо было варить. Это было само́ здоровье, и величайшее лакомство. С утра мы смирно садились над гнилой и мерзлой картошкой, но все мысли были на другом конце подвала. Постояв над нами несколько минут и убедившись, что работа налажена, завскладом уходил в свою каморку. Как только закрывалась за ним дверь, один из инвалидов подымался и бежал, что было духу, в темный угол, где морковь. Чистить не было возможности, мы ее скоблили ножичком или просто вытирали о полу бушлата. Через 10 минут возвращался завскладом и становился за нашими плечами. Тот, у кого рот не был набит, начинал с ним разговор. Другие жевали как можно тише и глотали поскорей.

Завскладом что-то чувствовал. Он подозрительно смотрел на нас. У нас останавливались скулы и переставали двигаться челюсти. Мы замирали. Завскладом слушал. Не чавкнет ли кто-нибудь, не хрустнет ли на зубах. — «Ты что жуешь? — подходил он вдруг к Беловченко. — А ну ка, открой рот!» Несчастный Беловченко спешно давился, мотал головой и открывал рот. — «Я ничего, — оправдывался он, — я здесь огрызочек нашел в картошке...» Осетин только качал головой с укором. Между нами, заключенными, это было дело семейное, неопасное. Другое дело, если бы морковку во рту Беловченко нашел представитель власти. Тогда был бы карцер, и если бы составили «акт» и оформили «дело», то за морковку могли бы ему влепить лишних 3 года, как за расхищение «социалистической собственности».

Этот «морковный рай» или «морковный оазис» в январе 1944 года был выдающимся событием в истории моего круглицкого сидения. Мы жили в морковном экстазе. Все остальное отступило на задний план. От 8 до 11 ежедневно мы ели морковь. Каждые 5 минут кто-нибудь из нас бегал к волшебному источнику. В 11 часов мы уже не были в состоянии ничего больше проглотить. В моей прошлой жизни я не любил и не понимал моркови. Теперь я ее оценил. За две недели я съел пуда два моркови. Морковь струи-

лась в моих жилах, мир был окрашен в ее веселый цвет. Мы воспрянули духом с Николаем. Морковный румянец заиграл на наших щеках. Мы вошли во вкус. Если бы нас оставили еще на две недели, мы бы съели весь закром.

Но все кончается. Изгнание из морковного рая далось нам трудно. Но все же мы утешали себя тем, что не потеряли там даром времени. «Подъели малость», — говорил Николай.

К этому времени он уже был бригадиром хроников вместо Шульги, которого отпустили в начале 44 года. Весной я расстался с Николаем. Его отправили в Островное. Я унаследовал его место, и до 15 июля 1944 года управлял хрониками в Круглице.

22. БРИГАДИР ХРОНИКОВ

Товарища Коберштейна нет надобности описывать. Это был живой, вылитый Паташон. Увидя в первый раз его долговязую унылую фигуру с болтающимися руками в слишком коротких рукавах и голубыми детскими глазами, я невольно оглянулся: — «А где же Пат?» — и мне сразу стало весело, как в кино.

Товарищ Густав Коберштейн был немецкий колонист из-под Житомира, лет шестидесяти. Дедушка. В колхозе он не понравился, и его отправили в лагерь. Всех немцев из его района выселили в Центральную Азию. Оттуда он получил от жены письмо, которое я ему прочел, и я же составил ответ. Все письма зэ-ка на один лад: «Пришлите посылку». Но Густав стеснялся просить жену о посылке. На воле тоже что-то было не в порядке. Цензура зачеркнула половину письма жены, а в незачеркнутой половине было сказано, что «тетя Матильда умерла с голоду».

Два миллиона советских немцев были разгромлены советским правительством еще до того, как они проявили свои гитлеровские симпатии. Их выселили в казахские степи, а их молодежь взяли в «трудармию» и послали на Урал, где условия были прибли-

зительно такие же, как в лагерях. В немцы были записаны также дети от смешанных браков, где мать была еврейка, а отец немец. Отец мог умереть, а сына в 17 лет, как немца, отправляли в трудармию, несмотря на то, что он ни слова не умел по-немецки и считал себя русским. Есть «демократы», оправдывающие насильственное переселение целых племен, как приволжские немцы, крымские татары или кавказские карачаи, с их исторических мест в глубину Азии их враждебностью советскому строю. Возможно, что с точки зрения братства народов тетя Матильда заслужила свою участь. Коберштейн же был просто старый крестьянин, которого не стоило сажать в лагерь. Его посадили на всякий случай, как потенциального врага. В лагере, где радио каждый день повторяло лозунг «убей немца», Коберштейн в качестве инвалида и хроника нашел подходящую работу: устроился в сушилке.

За всеми бараками и стационарами, на краю света, в дальнем углу лагерного четырехугольника стояла жалкая лачуга. Бревна ее потемнели и потрескались, стекла в окошках полопались и были заткнуты соломой, тряпками, досками. Дверь висела на одной петле и не притворялась. Из сеней с земляным полом был вход — налево в кипятилку, направо в сушилку.

Кипятильщик Арон и сушильщик Коберштейн не жаловались на холод. Вода клокотала в огромных бочках у Арона, труба выходила наружу, и под окном стояла очередь дневальных с ведрами. Арон трижды в день отпускал им кипяток по счету. Открывал кран и глядел через окно, кто получает. Внутри кипятилки была большая печь, нары, стол, много дров под столом, под нарами и на печи, и кроме того общество гостей, с которыми разговаривал общительный хозяин, заросший и черный, как цыган, Арон Штернфельд.

Погреться в кипятилке зимой — дело хорошее. Но скоро я сделал открытие, что напротив, у Коберштейна, еще теплее. Сушилка была узкая камера, во всю длину которой шли две железные трубы, санти-

метров по 30 в диаметре. Хозяин был Паташон, с пугливым взглядом голубых глаз. Я с ним поговорил по-немецки, написал ему письмо, и он мне позволил приходить к нему греться.

В два часа я приходил из холодного барака хроников (там топить начинали только вечером) и укладывался под трубы. Свернувшись калачиком на подстеленном бушлате, я утопал в блаженном тепле. Я лежал там до сумерек. Там была моя Африка, мой Экватор. Где-то бушевали ветры, снег кружил в открытом поле, люди мерзли и старались прийти в себя у костров, а я лежал в струе горячего воздуха, пока раскаленные трубы и позднее время не выгоняли меня из моего убежища. В конце концов Коберштейн предложил мне работать вместе.

Надо объяснить, что такое сушилка. Это учреждение, фунционирующее 24 часа в сутки, где одному трудно управиться. Это камера, в потолок и стены которой вбиты деревянные крюки. У нас их было до 200. Вечером, когда бригады ложатся спать, начинается шествие дневальных из бараков в сушилку. Каждый несет на себе неправдоподобную гору мокрых вещей. Бригады весь день работали в грязи, под снегом и дождем. Все на людях промокло, напиталось грязью. Несут вываляные в грязи тяжелые ватные брюки, сырые бушлаты, мокрые, как из воды, ватные чулки, опорки, валенки, «четезэ». Все это с помощью высокого шеста развешивается на крюках. Нелегко развесить под потолком сто мокрых и тяжелых бушлатов. Надо каждую вещь повесить умеючи, расправить и выворотить, обувь поставить на печи или повесить над трубами низко-низко, чтоб к утру она была совершенно суха. При этом ничего не перепутать, вещи каждой бригады принять по счету и повесить отдельно. Вся эта развеска производится при свете тусклой керосиновой лампочки без стекла.

Печь топится из сеней. В 10 часов температура начинает подыматься. Тени дрожат и волнуются в узкой полутемной камере, завешенной фантастическим тряпьем, под которым можно пройти только согнув-

шись. Воздух невыносимо тяжел — это воздух прачечной в подвале, где все испаряется и смердит. Горячие и едкие волны ходят по сушилке. С 10 часов сушильщики работают нагие. И этого мало. В полночь, когда трубы накалены докрасна, невозможно оставаться на нарах. Единственное место — на земляном полу у двери. Оттуда через отверстия тянет ледяной воздух. Коберштейн спит. Я топлю ночью. Каждые полчаса я выскакиваю нагишом в сени и наполняю печь дровами. Всю ночь продолжается метание между сенями и раскаленной сушилкой. Уже в 10 часов люди, заглядывающие в сушилку, не могут там оставаться больше 5 минут, но настоящий жар начинается только после полуночи. Из этого жара, как из духовой печи, нагой сушильщик выскакивает во двор, в снег, на тридцатиградусный мороз архангельской ночи, и обратно. Такие переходы не вредят ему, он привык.

За час до подъема в темноте хрустят шаги за стеной, и первый дневальный стучит в дверь. Сушильщики подымаются, зажигают свет. Печь выгорела. Удушливый ночной жар прошел. Первый дневальный не торопится, ему приятно посидеть в тепле, поговорить о вчерашних новостях. Минут 5 он так сидит, потом встает и поворачивается спиной, расставив ноги. Ему на плечи набрасывают один сухой и горячий бушлат, на него второй и третий, через руку перевешивают связку ватных чулок, через другую связку обуви. Он навьючен до того, что сам уже не в состоянии отворить себе двери. Распахивают пред ним дверь, говорят: «не споткнись на пороге», и дневальный, как доисторическое чудовище, бредет, согнувшись в три погибели, под своей ношей...

В полчаса разобрана вся сушилка. Сереет день... Сушильщики ложатся до 8, т. е. до завтрака.

На поверку нас не вызывают. Дважды в день, утром и в 5 часов пополудни, стрелок или помощник нарядчика кричат издалека: «Эй, сколько вас там?» — Арон-кипятильщик или кто-нибудь из нас, быстро проверив, сколько людей у соседа, кричит из двери:

«четверо!» или «пятеро!» — и на этом конец. Но выйти нам из дверей нельзя, пока не кончится проверка, и мы не услышим издалека отбой.

В 9 часов начинают сносить белье. На лагпункте две прачечные, общая и больничная. Там же стирают и вольным. Белье у всех одинаковое: грубый миткаль с клеймом лагеря или Санчасти, рваные рубахи, кальсоны в клочьях, желтые простыни, серые гимнастерки, синие майки. Женщины носят то же казенное мужское белье. Огромные узлы белья связаны жгутом, свернутым из пары кальсон. Если открыть днем дверь в сушилку, из-за непроницаемой завесы мокрого белья, не видно ни окна, ни стен. Мыло в лагере — величайшая редкость, и потому белье, постиранное без мыла или с помощью чернозеленой мази, напоминающей деготь, почти так же грязно, как до стирки. За бельем надо следить в оба, а то стянет какой-нибудь незваный гость.

Осенью и весной много работы. Зато летом сушилка отдыхает. Если днем не дождило — сушить нечего. Белье бывает не каждый день. Тогда сушилка — дача. Два инвалида живут в ней уединенной жизнью. Сюда редко заходит начальство. Нет ни радио, ни электричества, ни суеты барака. Провинция, глушь. В полдень Коберштейн и Марголин сидят на завалинке, греются на солнце. Внутри сушилки чисто и пусто.

Настали теплые дни. Моя помощь больше не нужна была Густаву. Я продолжал еще жить в сушилке. Но теперь главное мое занятие было другое. Я стал бригадиром хроников.

Два атрибута бригадирской должности это — фанерная дощечка со списком членов бригады и хлебный ящик.

Обыкновенно бригадир и его рабочие помещаются вместе, одной семьей. Но мои хроники были разбросаны по всему лагерю. Было их от 20 до 30. В АТП и в женском бараке, в рабочих бараках — всюду были мои люди. День бригадира начинался ра-

но. Я вставал за ¼ часа до подъема, выходил на двор, умывался из кружки, и с хлебным ящиком на груди отправлялся на другой конец лагеря. Под окном хлеборезки уже стояла очередь. Окно было заперто. Только когда с вахты доносился сигнал побудки, подымалось фанерное оконце, и из-за него высовывалась здоровая и широкая физиономия хлебореза Сени. — «Подходи за хлебом!»

Хлеборез — аристократ и богач лагпункта. Живет он в АТП и ест хлеба сколько хочет. С вечера продтабельщик дает ему точный расчет паек по бригадам. За ночь хлеборез с помощником нарезают в Круглице около 700 паек разного веса. Со мной ему меньше всего хлопот. Мои хроники получают все по 500 гр. Кто работает физически — 550. Таких — человек 8. Работа сушильщиков не считается за физическую, т. е. мы с Коберштейном ничего не получаем за нее. Почему же мы работаем? Во-первых, чтобы не отправили нас, как неработающих, в этап куда-нибудь в гиблое место. Во-вторых, чтобы иметь возможность клянчить на основании нашей неоплаченной работы в Санчасти «цынготный» паек. Таким, как мы, дают его в первую очередь. Раз в месяц выписывают мне или Коберштейну, или обоим вместе «цынготный» на две недели. «Цынготный» в Сангородке Круглица исключительно хороший: 200 гр. брюквы, сдобренной постным маслом.

Вернемся к хлеборезу. Утром я получаю на всю бригаду одинаковые па́йки, по 200 гр., и талоны на питание. После полуденной поверки, в 5 часов, я получаю «малые» пайки по 300 грамм, а для моих 8 «работников» — по 350 гр. — «большие» пайки. Получив хлеб и расписавшись, я несу свой ящик в сушилку. Есть лагпункты, где ходить с хлебом — опасно. Бригадира сопровождает охрана из членов его бригады. Но у нас на Круглице — все культурно и прилично. Я иду один, и по дороге, завидев меня, выходят из всех бараков мои хроники. Когда я подхожу к сушилке, за мной тянется длинный хвост хроников.

Начинается раздача хлеба. Тут тоже своя техника. Прежде всего, следует так поставить ящик с хлебом, чтобы получающие не видели его, не лезли руками и не тыкали пальцами: «Этой пайки не хочу, та лучше». Иначе споров не оберешься. Заключенные как дети ссорятся из-за паек.

Двухкиловые бруски хлеба режутся хлеборезом на 10 паек по 200 грамм. Две из них — «горбушки». Горбушки считаются самыми лакомыми и выгодными, и каждый зэ-ка требует для себя горбушку. Надо каждый день так распределять горбушки, чтобы никого не обидеть. Есть еще разница между пайкой целой и сложенной из кусочков. Одни пайки бывают со срезанными углами, другие — с «приколками». Крошечный довесок хлеба приколот деревянной палочкой к пайке. Иногда, чтобы выравнять вес, нужны 2-3 приколки. В 700 пайках, нарезанных хлеборезом, содержится как прикол целое полено. Получив, пайку, зэ-ка подозрительно вертит ее в руке: не снят ли довесок? Иногда в хлебе дырка: значит, была приколка, которая упала или кем-то украдена. Редко какая раздача обходится без горячего протеста: «разве это 200 грамм? разве это триста грамм?» Иногда обиженный зэ-ка засатвляет бригадира сходить с ним в хлеборезку — проверить вес. Поэтому бригадир хорошо сделает, если внимательно пересмотрит получаемые пайки, и если есть малейшее сомнение, на месте потребует перевесить. Иногда, таким образом, удается своевременно обнаружить недохватку в 10 или 20 грамм.

Какой же расчет бригадиру в такой жалкой бригаде, как хроники, тратить даром свое время? Другое дело — рабочая бригада: там бригадир не работая пишет себе проценты, стахановский котел. А из-за чего хлопочет бригадир хроников? Я этого не понимал, пока сам не занялся бригадирством. Секрет выяснился очень скоро. Хлеборез — парень здоровый, но неученый — регулярно ошибался в выдаче паек. Наш Сеня путал постоянно. Зато я твердо знал счет паек. Если хлеборез недодавал, я подымал крик. Ес-

ли он ошибался в мою пользу, т. е. передавал лишнее, я без дальних слов забирал ящик и уходил поскорей. На мое счастье, хлеборез Сеня ошибался преимущественно в мою пользу. В один незабвенный майский день он выдал мне вместо 21-ой — 28 паек по 200 грамм. По раздаче всех паек у меня осталось в ящике 7 раз по 200 грамм — кило и четыреста гр. хлеба. Я был так благоразумен, что съел их не сразу, а в два приема. В тот день я был сыт до того, что уступил свой полдник Густаву. Он не привык к такой щедрости с моей стороны, видел, что я чем-то объелся, но не мог понять, — чем и откуда?

Было очевидно, что Сеня не мне одному передавал хлеб. В Круглице было бригад пятнадцать. Как же у него сходился вечером счет? Это мне дало представление о размерах краж в хлеборезке. Там всегда был лишний хлеб. И не только там. В особенности грандиозно крала пекарня. Там ставились ведра с водой под тесто, чтоб оно разбухло от влаги, — крали на проценте влажности и на припеке. Никакой контроль и анализ хлеба не помогал. Контроль качества выпечки производили те же голодные зэ-ка. Некому было контролировать контролеров.

В то лето я съел много лишнего хлеба. Всегда что-нибудь случалось. То ошибался хлеборез, то продтабельщик забывал в срок снять со снабжения хроника, положенного в больницу или усланного в этап. Таким образом, я питался насчет беспорядка и несовершенства лагерного механизма. Все мы были в лагере опутаны сетью и беспрерывно искали в ней какую-нибудь лазейку. Мы жили как человек, запертый в корзине, — за счет того воздуха, который пропускают стенки. Я уяснил диалектику советской легальности, которой не только в лагерном, но и во всесоветском масштабе противостоит мелкая, мышиная нелегальность частного существования. Для того, чтобы люди могли выжить, — беспощадная эксплоатация человека государством беспрерывно уравнивается столь же беспощадным и повальным расхищением государственных ресурсов всюду, где представ-

ляется малейшая возможность, в согласии с ленинской формулой: «грабь награбленное!» — В системе монопольного государственного хозяйства, где не действует автоматически регулятор конкуренции, коррупция неизбежна.

Считалось само собой понятным, что лагерник без церемонии съедает каждый кусок хлеба, который государство по ошибке ему передало. Надо смотреть при выдаче, но если случилась ошибка — поздно уже требовать. Понятно, что хлеб уже съеден. Виноват тот, кто ошибся при выдаче — и он молчит. Смешно требовать от хлебореза Сени, который сам ест хлеб без счета, чтобы у него сердце болело за «социалистическую собственность». Для охраны государственных интересов существует прокуратура, НКВД и органы контроля. В системе, обрекающей миллионные массы на беспрекословное повиновение и недоедание, нет возможности положить конец универсальным злоупотреблениям. Для этого есть только один путь: перестать мерить хлеб на граммы, а население лагерей — на миллионы.

Получив хлеб, хроники не расходились. Они садились под дверью сушилки и терпеливо ждали, пока позовут их на завтрак. Очередь хроников была после рабочих бригад. Летом 44 года в Круглице уже функционировала столовка, индивидуальных выдач не было, питались побригадно. Когда я приводил свое воинство к столовке, там еще было полно. Мы кучей стояли у входа и ждали, пока нас позовут. Помещение было то самое, где вечером происходили киносеансы. Мы располагались у стены, за 6-7 столиками, по четыре при одном столике. Бригадир рассаживал, считал своих людей, посылал за опоздавшими.

Столовка сообщалась с кухней — туда вела дверь и два окошка для выдачи в стене. Когда уже все были в сборе, бригадир становился при окошке в кухню, и начиналась выдача. «Официантки», т. е. работавшие на кухне женщины, клали деревянные ложки, ставили в глиняных мисках суп (поллитра), потом

по 200 гр. жидкой кашицы. В четверть часа все было кончено, люди выходили, а некоторые оставались на месте. Чего ждали остающиеся?

Хроники не были последние к завтраку. После них еще завтракали «придурки», люди конторские, начинавшие работу в 9. Некоторые из них, вроде продкаптера или завпекарней, были сыты и брезговали лагерной баландой. После них оставались остатки в мисках. Женщины из портняжной, прачечной и конторы часто ели только кашу и оставляли суп нетронутым. Под конец садились завтракать работницы кухни. Эти завтракали только для виду. Они брали себе полные миски баланды, пробовали несколько ложек и потом отдавали кому-нибудь из тех, кто сидел у стены и смотрел на них упорно и тоскливо. Обыкновенно каждый из ожидавших имел кого-нибудь, кто отдавал свой суп именно ему. Этих ожидающих «попрошаек» беспрестанно гнали из столовой с пинками и руганью, но избавиться от них было невозможно. Их выгоняли, а они через пять минут возвращались, прокрадывались мимо дневального и садились опять в уголку. Доходяга, окинув глазом столовку, сразу соображал, возле кого сесть, где есть шанс поживиться. Особенно выгодно было сидеть возле Гошки, заведующего изолятором. Одна из подававших женщин была влюблена в Гошку. Он садился с небрежной грацией, казацкий чуб вился над его смуглым лицом, женщина ставила ему с покорной преданностью полную миску и сама присаживалась, чтобы посмотреть, как он ест. А он и не смотрел — ни на нее, ни на миску, брал ложки две и оглядывался, кому бы отдать. И все тогда принимали необыкновенно достойный вид и старались смотреть в сторону, потому что Гошка не любил попрошаек и никогда не давал тому, кто смотрел на него умоляюще.

Когда моя бригада кончала завтрак и расходилась, наступала моя очередь. Я не ел за столом и получал в котелок двойную «бригадирскую» порцию супу. Нет такого закона, чтобы давать бригадирам два черпака супа вместо одного, но в Круглице такой обы-

чай существовал с ведома и согласия начальства. Дважды в день, утром и вечером, я получал добавку.

После завтрака я садился с Коберштейном демонстративно у дверей сушилки: груда еловых ветвей лежала пред нами, и у ног большой ящик. Это было нужно, потому что в качестве бригадира я регулярно выписывал себе и Густаву за щипание хвои рабочую пайку, т. е. лишних 50 грамм хлеба, которых мы не зарабатывали своей работой в сушилке. Это была фикция. Хвоевар ежедневно расписывался в получении хвои от 3-4 человек, а фактически работал 1-2, а иногда и вовсе не было желающих.

В 5 часов я получал у нарядчика бланк «рабочих сведений» и заполнял его, отмечая тех хроников, которым полагались лишние 50 грамм. Одних «проводили» через ЧОС, других через коменданта или еще иначе. Это была сложная процедура. Чтобы «оформить» хвоещипателей, я должен был получить квитанцию хвоевара, а на квитанции — резолюцию Гордеевой или старшего бухгалтера ЧОС'а. Если же Гордеева вечером не приходила в ЧОС, а лысый армянин-бухгалтер капризничал и не подписывал мне бумажки, то одна квитанция хвоевара не имела силы, и мы за этот день не получали добавки хлеба. На второй день я шел к Гордеевой требовать записку на недополученные 50 грамм. И хотя нам их вообще не следовало, потому что никто хвои не щипал, но если посчитать часы, когда я дежурил в ЧОС'е, ругался с бухгалтером, объяснялся с Гордеевой и искал на кухне хвоевара, то выйдет, что эти 50 гр. хлеба стоили гору времени, энергии и нервов. На бумаге все выглядело гладко: один зэ-ка, два кило хвои, 50 гр. хлеба. В действительности не было ни хвои, ни труда, ни нормальных трудовых отношений, — были несчастные люди, которые барахтались в лагерной тине и тратили жизнь в погоне за лишней крошкой лагерного хлеба, который государство вырвало у других таких же несчастных людей.

Несмотря на то, что я был официально инвали-

дом-хроником, списанным со счетов, дни мои были полны возни. Я вставал на заре, через мои руки проходили десятки паек хлеба, узлы с бельем, корыта с хвоей, я пилил с Густавом дрова, дважды в день меня считали, по вечерам я возился с документами, раздавал талоны и бегал то за резолюцией в контору, то за керосином для сушилки к коменданту. Особенное волнение подымалось в бригаде, когда выдавали хроникам раз в месяц по 100 гр. корешков «самосаду» и по 400 гр. «повидла» из брюквы, которое совсем не было сладко, но заменяло нам сахар. Я получал на всех сразу, одалживал весы на больничной кухне и производил дележ публично в сушилке. Месячную порцию «повидла» съедали в тот же день. «Самосад» же многие обменивали на сахар у стационарных больных, которые не получали махорки, но зато имели 20 гр. сахару ежедневно. Меняли 100 гр. корешков на порцию сахару.

Весной 1944 года произошло обострение лагерного режима: ввели «надзирателей», которые должны были поднять дисциплину в лагере и, в особенности, следить, чтобы после отбоя каждый зэка был на своем месте в бараке. Теперь, когда я поздним вечером прокрадывался в хирургический стационар к Максику, мне надо было остерегаться. Если надзиратель ловил меня на дороге, он поворачивал меня обратно в сушилку. Я выжидал минут пять и снова пускался в путь, прячась в тени. В полночь я возвращался в сушилку. В сенцах трещало пламя, внутри был нестерпимый жар, по столу, по нарам и стенам ползали полчища тараканов. На раскаленной трубе кипел котелок с водой. Котелок почернел, и вода в нем наполовину выкипела. Густав лежал голый на земле, подложив под сенник доску. Я тоже раздевался до нага и ложился на нару под окном. Голова моя кружилась от только что слышанных по радио новостей, от названий занятых городов, горячий воздух ходил по камере, тараканы шуршали, луна смотрела в разбитое запыленное окошко. Пять лет тому назад я выехал из дому. Что там теперь? Помнят ли меня

еще? Вернусь ли я когда-нибудь домой? И что найду, если вернусь?

Летом 44 года я добывал себе суп на кухне и хлеб у хлебореза Сени. Нехватало овощей. До осенней уборки оставалось много времени. Однако, были овощи в лагере. Прямо против вахты стояла продкаптерка. Здесь был склад продуктов не только для зэка, но и для вольных служащих Сангородка, которые здесь получали свой месячный паек. Хранителем этих сокровищ был низенький старый еврей Кремер, краснолицый, красноглазый, со знакомой внешностью местечкового лавочника. Глаза у него были, точно он только что хорошенько выплакался. Кремер был в каптерке на своем месте. Принимал, записывал, отвешивал и выдавал, но не заворачивал, ибо ни бумаги упаковочной, ни тары в советских ларьках не полагается. Кремер спал в бараке АТП на отдельной наре и ни с кем не сходился в лагере — из-за своей должности. Дружба вообще накладывает обязанности, а на продкаптера в лагере — двойные. Всех не накормишь. Кремер был недоступен. Но я скоро нашел к нему дорогу.

В сушилку раз в неделю приносили мокрые мешки из каптерки. Мы сушили их с особым старанием, и я сам относил их в каптерку. За эту услугу обычно кое-что перепадало сушильщикам: несколько картошек, бурак, марковка. Эти мешки давали мне предлог войти в каптерку. Нормально вход туда был строжайше запрещен. Я старался так выбрать время относки мешков, чтобы застать Кремера одного. Но как же я был разочарован, когда Кремер раз и другой ничего мне не дал. В третий раз он мне сказал открыто, что мои посещения ему нежелательны. — «Пусть кто-нибудь другой относит мешки!» — «Почему?» — спросил я и получил очень характерное объяснение.

— Ты знаешь, — сказал Кремер, — что я бы охотно хотел помочь тебе. В конце концов, я кое-что давал твоему предшественнику, как его звали, Эдуард.

Это был немец. А ты еврей. И я — еврей. И поэтому я тебе ничего не могу дать. За нами смотрят со всех сторон. На другого не подумают. А если ты входишь в каптерку, сейчас подумает стрелок на вахте, инспектор ЧОС'а или каждый, кто увидит: Марголин пошел к Кремеру, ага! Два еврея. И будут смотреть за тобой, пока не увидят, как ты вынимаешь из кармана эту несчастную картошку или морковку. Тогда мне конец. Снимут с работы. Охотников на мое место много.

Это была правда. Двери каптерки находились под особым наблюдением. Вблизи их дежурили доходяги, слонялись урки, выглядывали, не подвезут ли чего, не обронят ли чего случайно на землю, не высыпется ли крупа из дырявого мешка. Под дверью стояла плаха, на которой Кремер рубил мясо для вольных. К плахе прилипали микроскопические кусочки сырого мяса, их сразу же подбирали и глотали на месте. Горящие глаза смотрели на каждого, кто входил и выходил. Был риск, что меня обыщут при выходе из каптерки.

— Значит, — сказал я, — будь я немец, вы бы могли дать мне этих пару картошек. Беда, что я еврей.

Меня охватил гнев. Я боролся за свою жизнь. Человек в состоянии алиментарной дистрофии глух к голосу рассудка. Какое мне дело, что тебя прогонят? Тебе ли место потерять, либо мне умереть в этой норе от истощения?..

Этого я ему не сказал. Я даже не показал ему своего негодования. Я повернулся и ушел.

Но карманы у меня были полны картошки. Пока старик читал мне нравоучение, что еврей не должен подводить еврея в лагере, полном антисемитов, я сунул руку в ближайший мешок и под звуки его речей, пока он стоял вполоборота, набрал полный карман. У меня не было никакого сомнения в своем праве.

Кремер все-таки был старый и сердобольный еврей. Когда я перестал ходить в его каптерку, он на-

чал мне отдавать от времени до времени свой талон на ужин. Надо помнить, что всякая помощь, оказываемая мне, была сопряжена с риском. Я не был «как все» — анонимный доходяга, тонущий в общей массе. Я имел несчастье всем бросаться в глаза. За мной следили, я был близорук, неловок, западник, странное существо. На 3-ьем году пребывания в Круглице все меня знали. Даже в сушилке я не мог спрятаться от чужих глаз, и каждого интересовало, где я добываю еду, и почему еще не умер.

Тем временем я продолжал жить вместе с Коберштейном. С наступлением тепла мой долговязый сожитель заметно изменился ко мне. Я почувствовал, что в чем-то его стесняю. Он был похож на Паташона, но я совсем не походил на круглого маленького жизнерадостного Пата. И у меня явно нехватало чувства юмора, чтобы уравновесить меланхолическое молчаливое неодобрение, с которым он относился к моему присутствию. В чем дело? — В летние месяцы огонь нашей печки стал привлекать особых клиентов. Едва смеркалось, начинали сползаться, крадучись, темные фигуры в сенцы нашей сушилки, отворяли дверцы печки и совали внутрь котелки. В котелках была трава, грибы или ворованая картошка. Одни заходили к хозяину, и с его разрешения ставили котелок. С этих полагался «могарыч». Другие норовили поставить без спросу и улизнуть с готовым котелком, ничего не давши. Всегда кто-нибудь, как мышь, ворошился в темных сенцах, присевши на корточки у огня. Доходы от печки принадлежали Коберштейну. Он позволял и запрещал, гнал контрабандистов и ставил на огонь приносимые котелки. Я отказался от доходов этого рода. Вечером я был занят в конторе по делам хроников, а Коберштейн председательствовал в собрании под печкой сушилки при котелках. С каждого котелка сходила ему маленькая кружечка. Но скоро оказалось, что меланхолический Паташон имел еще другой источник дохода.

Две низкие нары находились внутри сушилки.

Это были доски, положенные на деревянные обрубки. На моей наре лежала красная подушечка крестьянского полотна, привезенная из Пинска, поверх сенника набитого стружками и серого казенного байкового одеяла. У Коберштейна не было подушки, и он подкладывал под голову полено, обернутое в бушлат. Вечером, когда я уже разделся и лежал под окном, в сумраке белой ночи, в томительном жару сушилки, к Коберштейну пришли гости. Один был Митя, знакомый зэ-ка, с которым я косил прошлое лето в бригаде покойного Семиволоса. Теперь он был десятник — сделал карьеру в лагере. С ним была женщина. Они сидели втроем на наре Коберштейна и тихо переговаривались. Митя и Густав курили. Докурив, Коберштейн поднялся и пошел к выходу. В дверях он остановился.

— Спит! — сказал он, глядя на меня.

— Нет, нет! — отозвалась женщина. — Как же так! Вы его разбудите.

Она смущенно засмеялась. Коберштейн окликнул меня и сделал знак, чтоб я вышел.

В сенях он попросил, чтоб я полчасика посидел у Арона в кипятилке.

Полуразвалившаяся сушилка на краю лагеря была лагерным домом свиданий. Это было одно из очень немногих мест, где двое людей могло уединиться, не обращая на себя внимания. Теперь я понял, почему Коберштейн с началом теплого времени забеспокоился и все меня уговаривал перейти спать в другое место. Я ему мешал. Он боялся, что я потребую свою долю.

Бедный лагерный Паташон. Он тоже, вероятно, не готовился в жизни к такой карьере, и был бы очень удивлен, если бы сказали ему в те годы, когда он был на воле почтенным отцом семейства, что так кончится его жизненный путь в «исправительно-трудовом» лагере. Я ничего ему не сказал. Через час, когда я вернулся в сушилку, он уже лежал смирно на своей наре, и никаких разговоров на эту тему у нас не бы-

ло. Но через неделю опять пожаловали гости. Тут уж я не ждал, а сразу оделся и ушел «из дому».

А как хорошо было в сушилке! Зимой тепло, вари, суши хлеб сколько хочешь. Свой угол — без шума и грохота в многолюдном бараке, без ежедневных драк и ссор, без глаз, которые следят за тобой со всех сторон, без воров, даже без клопов. Одни тараканы... И вот, это неожиданное осложнение. Я недоумевал, как мне поступить, и куда мне теперь деваться...

А на следующий день в столовке за ужином благодарный Митя уже весело махал мне: «Хочешь супу? Я оставлю».

Я представлял себе, как это будет выглядеть месяца через два, если я останусь: два инвалида в гнусной норе, куда по вечерам сходятся гости — с котелками, и без котелков...

Это было дно падения. Отсюда оставалась мне дорога разве только на кладбище, на «72-ой квадрат». Я должен был что-то предпринять, что-то изменить в своей жизни. Но я уже не был хозяином над собой, даже настолько, чтобы выбрать самому место и условия своей смерти. Только чудо могло меня вырвать из призрачного шествия миллионов скованных и обреченных людей.

В июле 1944 года наступила резкая перемена в моей жизни.

23. ПУТЬ НА СЕВЕР

30 мая 1944 года поступила бумага в Круглицу относительно 4 поляков, т. е. «западников», пригнанных из Польши. Предлагалось немедленно освидетельствовать их на предмет годности к военной службе в частях польской армии.

Эта бумажка привела в неописуемое волнение всех круглицких поляков. Их было человек 12. Непонятно было, почему выбрали именно этих четырех. Среди них был и я.

В то лето формировалась новая польская армия

под начальством полк. Берлинга на советской территории. Это была та армия, которой суждено было под верховным советским командованием пройти боевой путь до Берлина и принять участие в изгнании немцев из Польши. Организаторы ее просили советское правительство отпустить из лагерей тех польских граждан, которые могли быть использованы в рядах новой армии.

Мне оставалось еще свыше года до конца срока. Из первой «амнистии» для поляков меня исключили под невероятным предлогом, что я — «лицо непольской национальности» (попросту — польский еврей). А теперь предлагали Санчасти в Круглице немедленно проверить мою пригодность для службы в рядах польской армии. Я не удивлялся. Это был «новый курс».

Я был счастлив. Меня и других 3 поляков повели в продкаптерку, где стояли большие весы, на которых Крамер отвешивал продукты. Там установили мой вес: 30 мая 44 года я весил ровно 45 кило против 80, которые я весил до лагеря. Потом главврач Круглицы, Валентина Васильевна (вольная) осмотрела меня. И тут наступило жестокое разочарование.

Валентина Васильевна отказалась написать, что я гожусь для военной службы. Я знал, что она хорошо относится ко мне и, наверное, не хочет мне зла. Как же она могла закрыть предо мной дверь на свободу? Я умолял ее написать, что я гожусь хотя бы для нестроевой службы. Но она категорически отказалась.

— Я не могу писать нелепых вещей, — сказала она. — Людей в вашем физическом состоянии не посылают в армию. Вы же дохлый. Вам надо месяцев шесть посидеть в Доме отдыха на усиленном питании, и то еще неизвестно, станете ли на ноги.

Тогда я написал заявление начальнику Ерцевских Лагерей. «Меня забраковали, — писал я, — но это неправильно. Я знаю языки. Я кончил университет и могу найти при армии применение, не требующее физической силы. Фронтовой паек быстро поставит меня на ноги, тогда как в лагере никаких шансов на поправку у меня нет. Я прошу дать мне возможность

исполнить свой долг польского гражданина и антифашиста».

Все четыре поляка были признаны негодными к военной службе, и все написали заявления вроде моего, но не дождались никакого ответа.

Вместо этого пришла неожиданная перемена. В июне я потерял инвалидность. Ту самую инвалидность, с которой уже свыкся как со своим естественным состоянием до того, что забыл основной лагерный закон: «ничто не вечно». Начальство, которое сделало меня инвалидом, могло в любой момент сделать меня трудоспособным. Для этого требовался только росчерк пера. Летом 44 года ощущался в лагерях НКВД резкий недостаток рабсилы. Слишком много инвалидов! Было решено, что впредь только калеки или умирающие будут пользоваться преимуществами инвалидного положения. В Круглицу приехала комиссия для переосвидетельствования инвалидов. В полдня всех пересмотрели. «Пересмотрели» буквально. По две минуты на каждого. Мы уже знали, что приехала комиссия «упразднять инвалидов». Мне даже не пришлось раздеваться. Меня ни о чем не спрашивали и записали: «Годен к работе. 3-ья категория, индивидуальный труд».

Пометка «индивидуальный труд» была новостью. Это значит, что посылать меня на работу надо было с разбором. В каждом случае надо было присмотреться ко мне и решить: гожусь ли я именно на эту работу. Однако, я уже знал, что на практике некому будет обращать внимание на мое «индивидуальное» состояние.

После вердикта ничего фактически не изменилось. Все в Круглице знали, что как ни записывай, от инвалидов проку нет. Меня поэтому оставили жить попрежнему в сушилке и руководить бригадой хроников. Но теперь почва под ногами у меня уже была вырвана. Теперь, как «работник 3-ей категории», я мог каждый день быть снят с места и переброшен с рабочим пополнением в любой лагпункт, где требовалась рабсила. А на новом месте, где никто не знал меня,

могли меня загонять до смертельного изнеможения и катастрофы.

Что было делать? Я обратился к «уполномоченному», к представителю 3-ей, политической, части, с просьбой помочь мне получить направление на фронт, в польскую армию. Это был тот самый уполномоченный, который запретил выдавать мне сочинения Ленина, который отобрал у меня фотографию сына, который угрожал мне открыто летом 1942 года. — «Вас кормят, — сказал он мне тогда, — дают вам работу, а вы все недовольны! Таких, как вы, надо судить! — Теперь война, не до вас — но погодите, кончится война, и мы вами займемся!» — Этого человека, который угрожал мне вторым сроком, я теперь просил о помощи.

«Ваше дело рассматривается, — ответил он: — ваше дело скоро решится.»

Утром 13 июля 1944 года пришел в Круглицу наряд на 7 человек поляков. В их числе были те 4, которых собирались отправить в польскую армию. И мы решили: это освобождение. Так сказал нам нарядчик, и весь лагерь мгновенно поверил. Все бросились поздравлять нас. Весь следующий день я прожил в лихорадочном возбуждении, во сне, сам себе не веря. Я просто не мог представить себе свободы, воображение слепло, как пред солнцем. Незнакомые люди подходили ко мне попрощаться. Максик принес подарок на дорогу: английскую книжку, повесть Джека Лондона. Сосед — в бывшей жизни профессор-бактериолог — принес белую верхнюю рубашку: у меня ничего не было, кроме лохмотьев, нельзя было в таком виде идти на свободу. Все мои вещи уложились в рюкзак, на дне лежали мои рукописи и мешочек с сухарями: кило сухарей на дорогу. После обеда я сдал казенное имущество в ЧОС. Одеяло у меня отобрали, но позволили задержать бушлат. Сдал несложные дела бригады хроников преемнику. Вечером сходил в баню — в последний раз в лагерную баню, где мылся 4 года. Не утерпел и сходил во 2-ую часть, в

УРБ. Там спросили у начальницы: «Куда нас направляют? Верно ли, что на освобождение? А может быть, это только этап? Ведь вы знаете, почему не сказать нам?» Но женщина за столом завурб только сжала губы: «завтра узнаете». Она знала, но не ее дело было информировать зэ-ка о том, что их ждет. И я вышел с темным предчувствием, что все это — ошибка, страшная ошибка, недоразумение.

Последнюю ночь в Круглице я пролежал с открытыми глазами, без сна. О том, что впереди, я не думал. Это было непостижимо. Четыре лагерных года стояли предо мной, как глухая стена, как горный хребет, закрывая горизонт. Как далеко надо было отойти, чтобы их больше не видеть? Как вырвать из сердца память о погибших и тех, кто еще оставался?

Утром 15 июля вывели семерых поляков на вахту. Обыскали при выходе, как принято. Мы долго ждали, пока пришел конвойный. Прощай, Круглица! Солнце взошло высоко. Нас повели по улице поселка на переезд, там мы сели на штабеле досок, в ожидании поезда. Теперь я знал наверно, что это не свобода. Освобождаемых отправляли в Ерцево без конвоя. А мы под конвоем, значит арестанты попрежнему. Ко мне подошел стрелок, специально посланный с вахты. — «Развязывай!» — Уполномоченный велел ему вытряхнуть мой мешок и отобрать все книги. Только у меня одного. У других, он знал, книг искать не надо. Стрелок забрал у меня подарок Максика, английскую повесть Джека Лондона. На письма и тетради он не обратил внимания. Уполномоченный забыл ему сказать про бумаги.

Подошел поезд: допотопный паровозик и два вагона. Первый — пассажирский жесткий вагон для вольных. Второй — товарный — для заключенных. Он уже был переполнен. Мы вскарабкались, сняли с плеч мешки и расположились в гуще народа. Конвойные задвинули дверь вагона, и мы тронулись.

В Ерцеве сдали нас на вахте по счету, как партию товара. Мы вошли в большой лагпункт, гораздо больше Круглицы с поместительными бараками, широкой

деревянной мостовой среди лагеря. Сразу от вахты в баню. Полдня мы валялись в предбаннике. Вечером отвели нас в барак для этапных.

На следующий день мы узнали, куда нас посылают. С первым эшелоном на север в Воркуту. — Семь поляков было поражено ужасом. Имя Воркуты мы хорошо знали. Воркута на севере — то самое, что Караганда на юге: рудники. Это — мерзлая пустыня, далеко за Печорой, за полярным кругом. Там, на краю света, в соседстве с Сев. Ледовитым океаном вырос город подобный Медвежегорску, столице рабского труда над Онегой. Воркута — столица Заполярья. Земля вокруг промерзла на метры в глубину и ничего не родит. Едят привозное. В течение долгой полярной ночи люди не видят солнца месяцами. Там нет вольных поселенцев. Десятки тысяч зэ-ка работают под землей, в угольных шахтах НКВД. Это самая тяжелая работа, какая бывает в лагерях, и люди, которые там заняты, получают водку и усиленный полярный паек. Шахтеру полагается 900 гр. хлеба против 550 в наших местах. Лишь бы силы были... «Поезжайте, — сказали нам, — шахтерами будете».

Я понял, что не вернусь живым из Воркуты. Вечером следующего дня позвали нас в хлеборезку и выдали по кило триста хлеба. Это был наш паек за 2 дня этапа до Вологды. Хлеб посоветовали нам сдать на ночь на хранение в КВЧ. Совет был благоразумный, т. к. в общем бараке ночью у нас бы отобрали хлеб.

Утром нас вывели из Ерцева. Перед самым выходом за ворота, в последнюю минуту отдали нам хлеб, пролежавший ночь в культурно-воспитательной части. Моя пайка была цела, но несколько человек подняло крик: их пайки были обрезаны. — «Обокрали!» — Женщина-инспектор КВЧ послала нас перевешивать пайки в хлеборезку. Нехватало в пайках по 400 грамм. Она очень огорчилась, но делать было нечего. Поздно было искать вора. Нас вытолкали за ворота и повели к поезду.

Такого поезда я еще не видел. До сих пор я ездил по России в товарных вагонах, в каких перевозят

скот, с нарами внутри. Теперь я увидел настоящий арестантский поезд из «столыпинских» вагонов. «Столыпинский вагон» — это тюрьма на колесах. Он устроен как пульмановский вагон, с коридором и купе. Но окошки в нем маленькие, квадратные, находятся в коридоре высоко и забраны решетками. В дверях решетки. Купе запираются на ключ, и в каждом — скамьи в три яруса. Купе — темные. Свет поступает в них из коридора через запертую решетчатую дверь.

На этот раз было нас много. Целую колонну повели к поезду. Семеро поляков старалось держаться вместе. Нас окружили люди в кепках, с колючими быстрыми глазами, с озлобленными острыми лицами. Я уже знал, что это за публика. Я услышал, как подошли к Ковальчику, молодому парню из нашей партии, и начали расспрашивать его: кто он такой? и кто его товарищи? Ковальчик сказал: «поляки». Эти люди уже знали, что в эшелоне едут поляки и искали их. У поляков могли быть польские вещи. Теперь мы были окружены. Нам не удалось войти в одно купе. Нас разделили.

Еще до посадки в вагон Ковальчик и другие поляки съели весь хлеб, выданный на 2 дня. Я заупрямился. Одно из моих чудачеств было — оставлять хлеб на вечер. Я решил не касаться хлеба до наступления темноты.

Едва тронулся поезд, соседи стали теребить у меня красную подушечку крестьянского полотна, которая от пинской тюрьмы сопровождала меня во всех странствиях. До сих под воры пренебрегали ею. — «Дай под голову!» — Но я не выпустил ее из рук. Конвойный стоял под решеткой двери. Меня оставили в покое. В полдень мы прибыли в Вологду.

Поезд с заключенными остановился, не доходя метров 200 до вокзала. Выходя, мы видели издали циферблат вокзальных часов, перроны, толпу — все, как во сне. Конвойные окружили нас и погнали через рельсы в обход станции. Мы вышли на длинную улицу с маленькими деревянными домишками и булыжной мостовой. Это был областной город Вологда,

где сто лет назад жил в ссылке Герцен. Теперь в Вологде была улица им. Герцена, а по ней пылила длинная колонна советских зэ-ка. Сосед мой был бос. Мы шли долго, и я изнемог в строю, стал отставать, меня толкали. Каждую секунду я ожидал увидеть высокий палисад и вышки лагпункта. Редкие прохожие на окраине города отворачивались, не глядя на нас. Наконец, мы свернули с улицы, дорога поднялась в гору, и мы увидели пред собой массивное белое здание, построенное еще в царские времена. Это была Вологодская пересыльная тюрьма.

Люди, шедшие с нами, видно, не в первый раз приходили сюда. Они приветствовали тюрьму, как старого знакомого. У входа встретил их комендант Володя (заключенный) и принял, как старых друзей. — «Здорово Ваня! Здорово Петя!» В мгновение ока — перемигнулись, пошептали — и нас семерых отвели в тесную камеру-погреб, с окошечком сверху. Вслед за нами вошло еще несколько «друзей коменданта», в кепках и с видом апашей. Тут были и Ваня, и Петя, и те, кто в поезде рвал у меня из рук мою подушечку.

Едва закрылась дверь, и мы расположились на полу, в полутемной сырой и пустой камере, как начался грабеж. Деловито и просто, как если бы это было самой естественной в мире вещью, отобрали у нас наши пожитки, мешки и сумки. Ваня, стоя на коленях, развязал мой рюкзак и стал по очереди выкидать оттуда вещи. Я к нему рванулся. Его товарищ придержал меня за плечо.

— Сиди тихо! А то хуже будет!

Я смотрел с бессильным бешенством, как они делили между собой мои вещи. Не только хлеб, выданный на 2 дня, но и кило сухарей, которые я себе собрал на дорогу, были съедены во мгновение ока.

— А вот это моя думка будет, — сказал один, любовно поглаживая красную подушечку крестьянского полотна, которая ему приглянулась еще в вагоне. — Хорошая думка, братцы.

Все семеро поляков были ограблены дочиста. Нам

оставили только лохмотья. С меня сняли чистую белую рубашку, которую мне дал «на волю» круглицкий профессор. Вместо нее бросили мне казенную рваную и грязную рубаху.

— Пикнете — убьем.

Я лежал на полу, оглушенный, испуганный и пристыженный. — Деньги есть? — подошел ко мне один из урок. — Отдай деньги, а то хуже будет, если сами найдем.

Он ощупал меня, вывернул карманы, ничего не нашел и махнул рукой.

Смеркалось. Урки начали бешено колотить в дверь. Немедленно кто-то подошел к глазку с другой стороны. — Чего надо?

— Скажи на кухне, — прокричал Ваня через дверь, — что мы голодны! Пусть принесут чего, а то голову оторвем...

Наступило молчание. Через десять минуть снова началась канонада в двери. Опять кто-то подошел к двери. — Чего вам?

— Жрать сию минуту! Забыл?

— Да нет ничего. Только суп остался.

— Тащи суп.

В этот день нам не полагалось никакого питания в Вологодской тюрьме. Но, к моему удивлению, им принесли в большой посудине суп, который они съели впятером. Шестой, который был с ними, не принадлежал к их кампании. Это был их «пленник» — человек с интеллигентным лицом, не принимавший участия в грабеже и разделе добычи.

Этот шестой был молодой ленинградский врач Вахрамеев. Он был совершенно терроризован своими спутниками.

— Видишь, — говорили они ему, — мы с тобой обошлись благородно. Вещей у тебя, почитай, и не тронули. Взяли мелочь. А почему? Нам с тобой дорога одна — Воркута. На месте, коли жить будешь с умом — никто тебя не тронет. Ты врач, ты нам пригодишься, а мы тебе. Знаешь, какой закон в лаге-

рях? С нами надо жить в мире, от нас нигде не спрячешься...

Вахрамеев, еще совсем молодой человек, со страхом смотрел на них. Он был новичок, только из тюрьмы. Они его «воспитывали».

— Вот, допустим, пожалуешься начальству. Ну, заберут тебя от нас в соседнюю камеру. Так там те же люди сидят. Я через стенку стукну, скажу «давите гада» — и задавят тебя в два счета. Живой до Воркуты не доедешь. Это помни.

Весь остаток дня, сытые и довольные удачей, они похвалялись своими воровскими подвигами, необыкновенной удалью, и муштровали Вахрамеева. И уже кто-то из ограбленных поляков, молоденький, подобрался к ним — «господам положения» — и начал втираться в кампанию. До вечера они рассказывали похабные истории, а он льстиво смеялся, подвигался поближе, вставлял свои слова — он уже был наполовину их.

Ночью разбудил меня Ваня. Все спали кругом. Он ждал этой минуты, вытащил мешок из-под моей головы, и еще раз перетряхнул. На этот раз ему удалось найти 109 рублей — всю сумму, которую собрали мне на дорогу друзья, думая, что я иду «на волю».

— Хитер ты, хитер, — пробормотал Ваня и оглянулся на спящих товарищей, — да от меня не спрячешь. А теперь смотри, молчи.

Таким образом, он утаил эти деньги от своих товарищей, чтобы не делиться с ними. За эти деньги можно было купить стаканов пять табаку-самосаду.

Два дня я лежал без хлеба. На второй день принесли нам обед. Суп и кашу. Еду подавали через окошко в двери. Поляков не допустили к окошку. Нашу еду приняли урки. Они отдали нам суп, жидкий как вода, и по одной порции каши на двоих. Таким образом, им досталась половина нашей каши. Потом им принесли еще добавку. Мы могли убедиться, что это, действительно, грозные люди. Даже персонал тюрьмы их боялся. В действительности дело было не в боязни. Комендант Володя был их человек,

такой же, как они. Он им подводил людей для грабежа, а они с ним делились: обычная в лагерях «кооперация».

В нашем «продовольственном аттестате» была отметка, что мы получили довольствие на 2 дня. Поэтому хлеб полагался нам в вологодской тюрьме только с 3-го дня. Мы были ослаблены постом и еле-еле дождались третьего дня. Только в час дня отворили окошко и выдали каждому на руки его пайку. Я принял бережно хлеб, как величайшую драгоценность, но не успело окошко закрыться, как Ваня подошел к нам:

— Пайку пополам!

Я не сразу понял, чего он хочет, до того я был далек от мысли, что люди, которые отняли у меня хлеб за два дня, могут на третий день сделать то же самое. Хлеб — самое основание жизни. Я смотрел в оцепенении, как поляки послушно отдавали свои пайки, как им ножичком разрезали пайку и оставляли половину, взглянул на эти разбойничьи наглые лица, и горячая волна негодования и ненависти поднялась во мне, кровь хлынула в лицо.

— Не дам! — сказал я тихо и раздельно Ване.

Я был ко всему готов. Я их перестал бояться. Эту пайку могли у меня взять только с жизнью. Я сунул ее в бездонный карман своего бушлата и приготовился защищать ее, как раненая медведица детеныша.

Я увидел совсем близко угрожающее, отвратительное, с оскаленными зубами лицо хулигана. Он взял меня за горло. Я не мог оторвать этих пальцев — и тоже вцепился ему в глотку, в волосы. Мы оба рухнули на пол.

Он был молод, а я — полуживой инвалид, кожа да кости. Мои очки, связанные веревочкой, слетели в сторону. Он подмял меня под себя, и я напрасно старался содрать со своей шеи эти 10 железных пиявок. Я начал задыхаться. Рот мой открылся, из него вырывалос хрипение, нечленораздельные слова, пополам со слюной. Колени поднялись, но грудь не могла втянуть воздуха.

Он душил меня спокойно и медленно, а под сте-

ной сидело в ряд шесть поляков и безучастно смотрело, храня строгое молчание.

Я испытал детское изумление от сознания, что меня могут удавить в камере полной народа, и ни одна рука, ни один голос не подымутся в мою защиту.

Камера была полна моего хрипения. В мозгу моем встало отдаленное воспоминание о том, что я изучал когда-то философию на Западе, и этот хрип, если бы его перевести на человечий язык, значил: «Меня! Меня, доктора философии! Меня, кладезь премудрости, образ и подобие Божие!»

Я пережил то, что предшествует смерти от удушения, и дошел до затмения сознания. Мои мысли распались, но тело, напряженное как лук, еще держало жизнь, как невыпущенную стрелу. Через одну очень долгую минуту я услышал чей-то голос в тумане:

— Год за него прибавят, ребята, и то не стоит...

Я понял, что свободен. Я, один из всех, не отдал хлеба. Я вскочил и кинулся к двери. Я стал бить в нее ногами и кулаками, дико крича: «Убивают!» — А за мной кричали урки: «Он с ума сошел!»

С другой стороны двери, в глазке, показался живой человеческий глаз, и я услышал или понял: — «Мы все видим!»

Но никто не открыл двери и не вошел в камеру.

Тогда вскочил один из парней и со всего размаху швырнул в меня мой собственный железный котелок. Я не почувствовал боли. Я схватил этот котелок и швырнул обратно в его голову. Я промахнулся, и котелок шваркнулся о голову соседа, ударился в стену и с лязгом отлетел на средину камеры. Ушибленный вскочил, посмотрел на меня — и снова сел.

Победа была за мной.

Теперь я как будто сорвался с цепи. Я осыпал их неистовой бранью. Заодно и своих товарищей — поляков:

— Сволочь, трусы! Вас больше, а вы позволяете издеваться над собой этим подонкам! — Два дня по-

давленного бешенства унижений и страха выходили из меня с дымом и грохотом обвала.

— Уймись! Не раздражай!

Через полчаса я увидел, как двое из них подошли к поляку и стали стягивать с него ботинки. Это был больной, чахоточный сапожник, из Круглицы, и все его состояние были эти кожаные ботинки. Он расплакался. Слезы текли по его безволосому бабьему лицу.

Но я еще был полон боевого подъема. Я подошел, и не сказал, а распорядился:

— Верни ему ботинки!

— Что? — сказали ребята. — Командовать собираешься, дохлый жид? Все равно, пришьем. Не доедешь живой до Воркуты.

Они забрали ботинки и ушли в свой угол.

— Не реви, psia krew, — сказал я со злостью сапожнику: — Получишь ты свои ботинки обратно.

Под вечер вошел в камеру дежурный надзиратель в форменной фуражке. Мы стояли в шеренге. Когда он просчитал нас и повернулся уходить, я выступил вперед:

— Разрешите сделать заявление.

— В чем дело?

— Прошу перевести меня немедленно из этой камеры.

— Почему?

— Здесь моя жизнь в опасности.

Дежурный поднял брови и свистнул.

— Ишь ты! — удивился он:

— А кто еще хочет уходить из этой камеры?

Шестеро поляков дрогнули и, как один человек, выступили из шеренги. Вахрамеев, ленинградский врач, затрепетал как птица, пережил момент колебания и вдруг, набравшись смелости, шагнул вперед.

— Я тоже... меня тоже возьмите.

Дежурный посмотрел на пятерых оставшихся и все понял.

— На что жалуетесь?

Мертвое молчание.

— Гражданин дежурный, — сказал я. — Разве вы не видите, что они все терроризованы этой бандой? В их присутствии они ничего не скажут. Возьмите их в другую камеру, там небось рты поразвяжутся.

— Забирай вещи, выходи.

И нас перевели в пустую камеру, в том же коридоре напротив. Дежурный вызвал коменданта. Теперь все оживились, точно проснулись. Посыпался град жалоб. Комендант составил список вещей, ограбленных у нас за последние два дня. Все они никуда не могли деваться из камеры, где мы сидели вместе.

— А 109 рублей, — сказал комендант, — и искать не надо. Вчера я получил от этой компании 130 рублей на покупку табаку. Еще я удивлялся, где они деньги украли.

Через час отворилась дверь и бросили нам кучу вещей на пол. Поляки разобрали свои вещи во мгновение ока. Сапожник получил обратно ботинки, а я — красную подушечку крестьянского полотна. Мы были так обрадованы, что махнули рукой на странное обстоятельство, что некоторые вещи так и не нашлись. Это уже был гонорар для коменданта Володи.

— А деньги? — спросил я наивно.

— Я ж тебе сказал, что деньги у меня. Получишь потом.

Это «потом» так и не наступило. Оставшись в камере одни, мы ликовали и смеялись как дети. С нас точно бремя свалилось. Один из поляков подошел ко мне, пожал руку и поблагодарил за успешную интервенцию. Я расположился рядом с доктором Вахрамеевым, который тоже заметно повеселел. Два дня мы провели с ним вместе в дружеской беседе, после чего наши пути разошлись навсегда. Это был очень милый человек, и я надеюсь, что он и по сей день еще здравствует в Советском Союзе, в одном из лагерей Севера, уже не как новичок, а как опытный, закаленный зэ-ка.

Одного я опасался — как бы в дальнейшем не оказаться в слишком близком соседстве с «Ваней и Петей».

Через 2 дня мы покинули Вологду. Нас вывели во

двор пересыльной тюрьмы, партией в 50 или 60 человек. Пятеро бандитов из нашей камеры — в первом ряду. Я стал от них подальше, сзади. Началась обычная процедура перед отправлением этапа. Во дворе поставили столик, за ним село начальство, мы подходили по одному и раздевались догола.

Тут, во дворе Вологодской пересыльной тюрьмы, 22 июля 1944 года, и произошло то, чего давно уже следовало ожидать.

Стрелок с рябым равнодушным лицом вытряхнул мой мешок и нашел пачку с бумагами. Там были письма моей матери, в том числе и то, где она писала о последних днях жизни моего отца. Это было последнее письмо, которое я получил в лагере ББК от старой женщины, за 1½ года до ее мученической смерти от руки немецких убийц. Это письмо, которое было для меня реликвией, и пачку листов — рукопись моих 3 работ: «Теория Лжи», «Учение о Ненависти» и «О Свободе» — взял, не глядя, человек с сонным тупым лицом. Мне не полагалось иметь при себе никаких бумаг. Никто не интересовался их содержанием. При мне все выбросили в грязь, в кучу мусора. Я, голый, стоял рядом и смотрел, как исчезли 3 года моей мысли и труда — не советского нормированного труда, а того, который родится однажды, без позволения и без предупреждения, в одиночестве, — и так же неповторим, как жизнь, породившая его.

Пропала книга! — и никогда уже, ни мною, ни кем-либо другим она не будет написана **так,** как создавалась в те годы, когда не было под рукой ни библиотек, ни самых элементарных удобств, когда каждая строка добывалась с бою и была вызовом судьбе. Пропала книга, писанная в лагере, в страхе, с оглядкой и с соблюдением всех предосторожностей, которую годами надо было укрывать от обысков и шпионов. Пропал трагический и странный парадокс — книга о лжи, писанная среди лжи, книга о ненависти, писанная среди ненависти, — книга о свободе, писанная в заключении. В продолжение лет я, как ребенка,

носил ее с собой, — и она росла с годами мучений, пока плоть моя убывала, точно вся моя жизнь переходила в нее. 28 глав «Учения о Свободе» были, наверное, единственным в истории литературы документом, где рациональный анализ неразличимо сливался с безумием, а жизнь со смертью, стоявшей неотступно за плечами. Никогда не повторятся для меня годы, проведенные в мрачном плену, и никогда я не буду в состоянии ни восстановить хода той мысли, ни отделить ее от условий, в которых она родилась. Другие времена, другие песни!.. Пропала книга! Ясно, нельзя писать книг в лагерях. Но разве это единственная книга, которая пропала в мире? Над могилой миллионов, над свежим пепелищем, над океаном человеческой крови и злодеяний за нами, вокруг нас и в будущем — разве место и время вспоминать об одной единственной книге?..

Уходя со двора Вологодской тюрьмы, я увидел при столе начальства коменданта Володю и вспомнил про мои 109 рублей.

— Где деньги, которые вы задержали?

Он засмеялся мне в лицо. Я повернулся к людям за столом:

— Этот человек забрал у меня деньги! Велите отдать!

Но и они засмеялись, и кто-то заметил мне:

— С кого спрашиваешь? Ведь он заключенный. Не надо было из рук выпускать.

24. КОТЛАС

Двое суток тянулся арестантский поезд из Вологды на северовосток. По утрам конвой раздавал нам суточное питание: 500 гр. хлеба и кусок соленой рыбы. Пища нас оглушала. Поев, мы тяжелели и засыпали.

Мое место было на полу под лавкой. Туда я заползал, вытягивался и проводил долгие часы во мраке и оцепенении, в дремоте и свинцовом сне без сновидений. Полдня мы спали, полдня томил нас голод

и жажда. Еды уже не полагалось до следующего утра, но воду мы получали на станциях. Тогда конвойный, набрав ведро, обходил клетки с людьми и, приоткрыв дверь, наполнял наши котелки и кружки. Мы пили много и жадно, а потом начиналось нытье: «стрелочек, оправиться»...

25 июля 1944 г. привезли нас в Котлас, город на берегу Сев. Двины, с населением тысяч в 15. Это центр «Котласлага», а кроме того перевалочный пункт для масс заключенных, направляемых отсюда в лагеря Печоры и Заполярье. Мы стали в нескольких километрах за городом. Вдоль нескончаемых деревянных складов, амбаров, сараев, лачуг и бараков повели нас к назначенному месту. Мы дошли до вахты. Все та же картина, в бесконечных тысячах вариантов, всегда одна и та же, в любом углу, на всем протяжении гигантской страны: ограда из деревянных кольев с колючей проволокой, массивные деревянные ворота и домик охраны, мимо которого проходят в лагерь.

— Ложись! — скомандовал конвоир и одним этим словом подкосил нас, как траву в поле. Мы, как стояли, повалились на землю. Так мы лежали довольно долго, в ожидании человека из УРБ, который должен был принять нас...

Первое, что я увидел, войдя с партией этапных в ворота Котласского перпункта, были знакомые плечи. Невозможно было ошибиться. Только один человек в мире имел эту линию плеч и манеру откидывать голову. Я ускорил шаги, поровнялся, заглянул в лицо. Теперь я знал, что я спасен. Эта встреча была — спасение.

Предо мной стоял д-р Шпицнагель — тот, который три года назад выручил меня в Круглице, положив на 3 дня в легочный стационар — тот самый, с которым мы вместе бастовали и сидели в карцере на первой Осиновке в сентябре 1941 года.

— Шпицнагель! — Он обернулся и — протянул мне обе руки.

Этапных загнали в «клуб» — деревянный домик на краю лагеря — потом повели в баню. Но еще до то-

го Шпицнагель забежал в клуб, посмотрел на меня, поахал, а когда узнал, что меня везут в Воркуту, рассмеялся.

— Здесь конец твоей дороги, дальше не поедешь.

Шпицнагель сам не мог удержаться в Котласе, и его через неделю услали оттуда. В течение этой недели он вырвал меня из этапной массы и обратил на меня внимание врачей, которые просматривали в котласском перпункте проходящие эшелоны. В Котласе еще раз переломилась моя лагерная жизнь, и здесь я «сошел под землю» — исчез с поверхности лагеря, чтобы через 10 месяцев выйти к солнцу, к свету, на волю — воскреснуть из мертвых.

Август пришел, с холодными ночами, но днем еще было тепло. Каждый день прибывали к нам новые партии, и каждый день заседала комиссия в Санчасти, которая проверяла прибывших. Некоторых сразу отправляли дальше, некоторых оставляли «на поправку». Среди оставленных был и я. Этих последних каждые несколько дней вызывали на комиссию, чтобы проверить, достаточно ли они уже поправились, чтобы продолжать дорогу на север или в окружающие лагеря.

Территория перпункта делилась на «зоны». Налево от вахты располагались «коммунальные» здания: клуб, баня и прачечная, кипятилка, санчасть, кухня, хлеборезка и контора. Тут же был и карцер. Направо от вахты тянулись с двух сторон деревянной мостовой низенькие госпитальные бараки. Здесь их называли «корпусами». Этот госпитальный участок замыкался с двух сторон воротами; ворота запирались на время поверок. Больные не могли тогда выйти из своей зоны, а здоровые зэ-ка не могли войти в нее. При воротах стояли «вахтёры» и регулировали движение: одних пропускали, других задерживали. За госпитальной зоной находился женский барак, несколько этапных, и в самом конце нечто для меня новое: «Б У Р ».

БУР (т. е. барак усиленного режима) стоял за отдельным забором в отдельном дворе и был на-

глухо заперт 24 часа в сутки. Ключ от калитки имел комендант или вахтёр при двери. В БУР'е жили каторжане.

Каторжане — новая лагерная формация, выросшая в результате войны. По следам Красной Армии, очищавшей территорию Сов. Союза от внешних врагов, двигалась армия НКВД, которая очищала ее от внутренних врагов. При этом врагов действительных, т. е. активных помощников оккупанта, вешали и расстреливали. Но оставалась еще масса населения, которая запятнала себя сотрудничеством с немцами. Все, кто пошел на службу к немцам, кто хорошо с ними уживался, кланялся им низенько или выказал довольство уходом большевиков. Всех таких людей, а было их очень много, теперь выловили, и для них воскресили старое царское наименование: «каторга». В то время, как для обыкновенных политических по ст. 58 максимум заключения составляет 10 лет, для этих установили 2 срока: 15 и 20 лет. Другими словами, вырвали их из жизни. Миллионная волна каторжан хлынула в лагеря, и с этим рассеялись иллюзии тех, кто надеялся, что в повоенной России лагерная система будет ликвидирована или, хотя бы, смягчена.

«Каторжане» — означают ренессанс лагерной системы, свежий приток рабочей силы не на год-два, а надолго. Они пришли во-время. Здесь, в перпункте, было особенно очевидно страшное физическое вырождение лагерного населения под конец войны. Прибывавшие каждые несколько дней эшелоны состояли из полукалек, бывших, настоящих и будущих инвалидов. Алиментарная дистрофия косила людей. В Котласе я увидел женщин, которых не было в сельхозной «богатой» Круглице: их вид потряс меня. Ничего женского уже не оставалось в них. Это были костлявые тени, с руками и ногами как палочки, в зловонных лохмотьях и грязном тряпье. Можно было смело их сфотографировать и подписать: «жертвы немецких зверств, освобожденные в Берген-Бельзен войсками союзников». Это был грозный знак: женщина «доходит» всегда в последнюю очередь уже после муж-

чин. И действительно, скоро мне рассказали о страшных местах вокруг Котласа, о лагпункте, где на 2400 чел. 1600 лежало не вставая, и ежедневно умирало по 30 человек. Советская власть посылала туда врачей и лекарства, но не касалась корня лагерной системы, которая всегда была связана с систематическим вымиранием истощенных людей. Люди на месте не много могли помочь. Убийцы заключенных — находились в Москве и в каждом пункте земного шара за пределами СССР, где сознательно замалчивалось страшное преступление. Озираясь вокруг себя, я думал, что американец с фотографическим аппаратом, которому бы удалось сделать на котласском перпункте 16 снимков и привезти их в Европу, убедил бы общественное мнение мира лучше, чем могут сделать все отчеты и описания.

Теоретически полагалось в этапных бараках пробыть неделю-две и ехать дальше. Но в действительности люди оставались на перпункте месяцами и годами. Все их усилия вырваться из этого гиблого места не помогали. По состоянию здоровья их не отправляли, и в то же время они не были настолько больны, чтобы лечь в госпиталь. Они жили в бараках, которые представляли собой большие полуразвалившиеся сараи, сырые и затхлые. В один из таких бараков («15-ый») был и я водворен. Это была темная нора, где половина досок истлела или была выломана. Барак этот был сломан и перестроен осенью того же года, но к тому времени меня уже там не было. Несмотря на большой опыт и выносливость, я не мог спать в 15 бараке из-за клопов. Котласские клопы могли бы обратить в бегство моторизованную дивизию с танками и броневиками. В белые холодные августовские ночи половина населения барака спасалась на двор. Уже было сыро и невозможно долго улежать на земле. Ночью я слонялся по двору с рюкзаком и бушлатом — одеяла у меня не было. За оградой лагеря текла Северная Двина. Река была близко, в нескольких метрах, — но за все 11 месяцев в Котласе я так и не увидел ее. Несколько ночей я спал на старых

ящиках, на большой бочке, потом прокрался в чужой барак (что довольно опасно — могут принять за вора и изгнать с побоями), но там было еще больше клопов, чем в 15-ом. Наконец, я нашел место без клопов: это был «клуб», в противоположном конце лагеря. Чтобы попасть туда, я должен был прорваться через двое ворот и войти потихоньку, чтобы никто не видел. В самом «клубе», т. е. просторной, только что выстроенной избе, плотники начали уставлять нары. Там должна была поместиться какая-то отборная бригада, но пока еще не все нары были поставлены, я там спасался от клопов. Из «клуба» отворялась дверь в боковую комнатку, где проживал «воспитатель» КВЧ и дневальный. Дневальным КВЧ был мой новый приятель, Нил Васильич Елецкий. Его протекции я был обязан возможностью спать в клубе. Могу признаться в этом открыто, не боясь повредить Нилу Васильичу, который уже давно вне власти НКВД.

Кроме клопов, мне в первую неделю сильно досаждали приятели из Вологодской тюрьмы: Ваня, Петя и компания. Один из них оказался моим бригадиром. Весь день я их не видел: они работали за зоной. Ночью мы спали в разных местах. Но при раздаче хлеба происходили неприятности. В первый же день я получил из рук бригадира подозрительный огрызок, но смолчал. Тогда на второй день мне совсем не дали хлеба. Когда дошла до меня очередь, бригадир просто оттолкнул меня:

— Куда лезешь? Тебе уже дадено.

И сейчас же нашлись «свидетели», из той же шайки, которые подтвердили, что я уже получил хлеб. Я не стал спорить и пошел к коменданту.

Было несколько заключенных помощников коменданта, и один из них, на счастье, был еврей. Его звали «Мосеич»: редкий случай интеллигента, который в лагере оказался «сильным человеком», плотный, энергичный, с серыми холодными глазами и выправкой начальника. Он умел держать свою «публику» в руках. Услышав, в чем дело, Мосеич вызвал моего бригадира в контору и не дал ему выговорить слова.

— Я тебя знаю! Мне твои рассказы не нужны. Положи на стол, что своровал. А нет, — завтра сами отберем.

На следующий день, по распоряжению коменданта, хлеборез задержал пайку бригадира, и она была передана мне. А до этого я посидел без хлеба сутки. Теперь я уж был на особой примете этой банды. При ближайшем посещении бани случилась новая неприятность. Раздевалка бани — место всех краж. В момент, когда из дэзокамеры приносят дымящиеся, горячие и мокрые свертки одежды, начинается свалка и давка. При этой оказии обменивают вещи и воруют все стоящее. Я искал в давке свои вещи, когда на меня налетели и сбили с носа очки. Они мгновенно исчезли. Не подавая вида, как это мне важно, я оделся и ушел в барак.

Я боялся только одного: чтобы они мне по злости не поломали очков. В этом случае я был бы «выведен из строя» на ряд месяцев, т. к. нет речи, чтобы нормальным путем получить в лагере оптические стекла. Спрос в лагере на стекла низких номеров очень велик, и можно взять за них много хлеба. Но мои стекла были по 9 диоптрий! Кому нужны такие стекла? Я был самым близоруким человеком в Котласлаге и рассчитывал, что мне принесут их обратно, как единственному человеку, который в них нуждается. Надо было ждать терпеливо.

В продолжение нескольких дней я вел существование в туманном, неузнаваемом и расплывшемся мире. Меня записали в «отдыхающие», и весь день я лежал на траве, не различая лиц и не интересуясь тем, что происходило от меня дальше, чем за 3 метра. Каждый день доходили до меня вести о моих очках. Как птица, вылетевшая из клетки, они порхали вокруг меня по территории лагеря. Один день их предложили главному повару. На другой день они были за зоной. Их перемеряли десятки людей. Я невозмутимо ждал. Наконец, вечером подошел ко мне парень и сказал, что «выиграл мои очки в карты». Я равнодушно отнесся к этому известию. — «Обратно не хошь

очков?» — И начался торг. Парень заломил 3 пайки хлеба и денег 50 рублей. Я предложил ему 200 грамм. Кончилось на пайке хлеба. Таким образом, пришлось мне все же вернуть пайку хлеба, которую Мосеич отвоевал для меня и Бог знает, что бы меня еще ждало, если бы не отправили, на мое счастье, всю компанию, с Петей и Ваней в том числе, на следующий день в этап. С ними ушли и поляки. Я остался один в перпункте.

Тогда сделали меня вахтером во внутренней зоне. Вахтерство — подходящее занятие для инвалида. То ставили меня сторожить при калитке БУР'а, то при входе в женский барак, чтобы не лазили мужчины зэ-ка. Но главный пункт моего дожурства был в самом центре лагеря, при проходе из госпитальной зоны в общую.

Утром, едва сполоснув лицо из кружки и утеревшись, за неимением полотенца, рукавом, я забирал рюкзак со своими вещами (главная из них была красная подушечка крестьянского полотна) и относил на хранение завхозу 5 корпуса, Ивану Ивановичу. Оставить рюкзак в этапном бараке было невозможно, его бы немедленно украли. Затем я становился на свой вахтерский пост при воротах. Ворота состояли из деревянных рам с проволочной сеткой. Поток людей стремился к кухне: шли этапные бригады, женская, две каторжные из БУР'А — каждая в строю под начальством бригадира — и все их надо было пропускать по очереди, чтобы не было излишнего скопления под окнами кухни и хлеборезки. Громада каторжан подходила, напирала грудью на проволочную сетку:

— Открывай!

— Нельзя, не велено!

— Открывай сию минуту! — орали ребята по ту сторону сетки, и начиналась перебранка. Среди спора приходили вольные или санитарки из корпусов с ведрами по воду. То и дело кричал издалека комендант: «Этого пропусти! Того пропусти!» Я приоткрывал дверцу, и в эту минуту за одним человеком прорывалось еще десять. Я был слишком слаб, чтобы

сразу задержать прорыв. Уже давно прошла бригада, а в ворота все еще ломились опоздавшие: «Я из 15-ой бригады! Вон, моя бригада уже получает! Пусти, а то по голове огрею!»...

Вдруг, оглянувшись, я видел, что раздача завтрака кончается. Я просто бросал свое место и бежал под окошко. Ворота оставались открытыми. Иногда становился в них шустрый мальчонка, заключенный лет 12-ти, состоявший при конторе. Ему полагалось заменять меня во время завтрака. Он был гораздо лучший вахтер, чем я. Язык у него был острый, как бритва, а это первое дело для вахтера. Я вяло ругался и пропускал из зоны в зону кого надо и не надо. Через полчаса стояния у меня немели ноги, и я садился на землю. Какой же вахтер сидит на земле! Завхоз 5 корпуса Иван Иванович позволил мне взять к воротам табуретку. Я посидел на табуретке часик, и вдруг ее у меня сперли! Махмуд, завхоз 9 корпуса, татарин, прошел мимо, увидел табуретку, сказал: «А табуретка-то наша! Кто позволил взять!» и просто вынул ее из-под меня. Я побежал к Иван Ивановичу: «Махмуд табурет унес!» Иван Иванович ринулся за Махмудом. Два завхоза поссорились, а мне уже больше не давали табуретки.

Я рад был оставить в покое весь мир, — но меня еще не хотели оставить в покое. Вдруг велели мне идти за вахту с бригадой... носить доски. Это была очевидная чепуха. Я пошел — на то и заключенный — снес доски три. Люди кругом меня расползлись, бригадир и стрелок с проклятием собирали их. Заставить их работать по-человечески уже было невозможно, но я не стал и притворяться. Этап и ночевки в клоповнике, на дворе и где попало лишили меня последних сил. Я лег на траву, раскинул руки, глядел в синее небо, слушал, как неровно стучало сердце. Конвоир подошел: — Будешь работать? — Нет, с меня хватит. — Ну так собирайся, в лагерь пойдем. — Меня и троих таких же, как я, свели в Санчасть. Там сидела вольная, начальница Санчасти, женщина, которая имела вид, точно ей очень хотелось бы сбе-

жать из Котласа на край света. Взглянув на меня, она сказала поспешно:

— Отпустите его, кто его погнал на работу? — и, обратившись ко мне: — Успокойтесь, больше на работу не пойдете...

Но на этой стадии я уже не мог остановиться... С каждым днем мое состояние ухудшалось. Я больше не мог оставаться в бараке. Жизнь уходила из меня. Обновилась старая болезнь, о которой я уже забыл на воле. Острые припадки болей терзали меня по ночам. Утром я подымался с тяжелой головной болью и, еле дождавшись 11 часов, шел на прием в Санчасть. — «Положите меня в стационар!» — надоедал я без конца, но это была не Круглица: здесь от меня отмахивались. Мне выписывали лекарство и отправляли обратно в барак. Началась война за право лечь в больницу. Только вмешательство нескольких врачей из разных корпусов привело к тому, что меня направили в бактериологический кабинет за зоной. Анализ желудочного сока показал высокое содержание крови. Меня все-таки не положили. Днем я лихорадил и слонялся по лагерю, а ночью лежал без сна на голых досках без одеяла. Теперь мне уже действительно не оставалось ничего другого, как умереть.

Но до того я сходил еще к начальнице Санчасти и предупредил ее, что несвоевременая госпитализацая карается по закону, и я подам заявление уполномоченному, что меня при наличии внутренних кровотечений оставили лежать в общем бараке. Упоминание об уполномоченном подействовало сразу. Меня немедленно направили в стационар.

25. ДЕВЯТЫЙ КОРПУС

— Три месяца, — сказал доктор, осмотрев меня со всех сторон.

«Три месяца» значило, что жизни во мне остается приблизительно на 90 дней. В том состоянии физического истощения, в каком я находился в момент

водворения в 9 корпус, и на питании, которое мне по норме полагалось, я должен был протянуть ноги более или менее в трехмесячный срок.

На оценку доктора можно было положиться. У него был большой опыт, и ошибался он довольно редко. Случалось иногда, что больной не хотел умирать в назначенный срок. Ему было положено умереть, скажем, в феврале, но он упрямился. В феврале ему становилось не хуже, а лучше. Он не знал, что доктор уже 3 месяца назад записал его на тот свет до конца февраля. Мы, окружающие, иногда знали это и смотрели на него с любопытством: вот человек идет против медицины. Доктор ходил вокруг упрямца с озабоченным видом, осматривал его не в очередь, записывал что-то в книжечку. Мы, соседи по корпусу, частью тоже приговоренные, следили, затаив дыхание, за поединком человеческой воли со смертью. Когда мы уже привыкали к мысли, что произошло чудесное исключение (а как мы в это хотели верить!), месяц спустя, в марте или в начале апреля, упрямец все-таки умирал. Вдруг наступало у него резкое ухудшение, и он, без видимого повода — погибал в одни сутки. Как шахматный игрок, который в проигранном положении попробовал неожиданную комбинацию — последний резерв своего искусства — помучил еще некоторое время партнера — и, наконец, решившись — махнул рукой и сдался.

То, что происходило в 9 корпусе, напоминало сеанс одновременной шахматной игры. 120 человек играло партию своей жизни с великим Чемпионом. Смерть ходила по кругу. Смерть, великий мастер, не глядя на лица, делала каждый день свой ход — маленький ход, ведущий к цели. Мы защищались как могли, но больших надежд не имели. Мы были объяты робостью.

Доктор был нашим судьей. Он, как арбитр, следил, чтобы все происходило по правилам. На каждый ход Противника наш контр-ход. Не сдаваться раньше времени. Он делал все, что возможно, чтобы поддержать нас. Только одного он не мог: дать умиравшим

от истощения пищи в достаточном количестве.

— Вот, — сказал доктор, — два одинаковых случая: вы и ваш сосед. Вам обоим осталось жить по 3 месяца. В этом положении, однако, еще возможно спасти вас обоих, если подкормить как следует. Но откуда взять? В нашем больничном хозяйстве можно для одного человека создать особые условия. Можно собирать для него остатки, крошки, случайные излишки. Можно урвать для него из своего собственного пайка, недоесть самому. Как-нибудь на одного наскребем. На двоих нет у меня. Что же делать? Надо выбрать одного из вас. Сосед ваш — парень без роду-племени, никто по нем не заплачет. У вас семья за морем, кто-то ждет вас. Бог знает, кто из вас двоих больше заслуживает остаться при жизни. Я выбираю вас.

И так стало:

Мне — сверх казенного пайка — стали сносить остатки. Доктор отдавал свой обед, лекпом — часть своего хлеба. Решили не отдавать меня смерти. Мне поручали работы, за которые полагалась добавка. Это называлось «поддержать». Сделали все, чтобы я выиграл шахматную партию. Доктор обманул судьбу: подставил лишние фигуры на мою доску. Прошло 3 месяца, и я был жив, а сосед мой умер. Пришли взять его труп, и когда выносили носилки — я знал, что моя жизнь и его смерть — одно.

Девятый корпус на котласском перпункте зимой 44-45 года был простой деревянный барак. Двери в сени были обиты рогожей, все пазы тщательно забиты соломой и войлоком, чтобы не дуло. В сенях суетились санитары, обслуга была частью из самих больных, потому что положенных по штату людей нехватало, чтобы справиться с работой. Больные обслуживали себя сами, или здоровых записывали в больные, чтоб иметь право использовать их как санитаров. Сбоку за перегородкой помещались кладовая и раздаточная, где готовили к выдаче порции для больных.

Пройдя это преддверие, человек входил в ката-

комбы. Из-за темноты (свет едва пробивался через разбитые и заткнутые чем попало окна), из-за скученности и шума получалось впечатление подземелья или битком набитого улья. Барак выглядел как продолговатая пещера. Неподготовленный человек, войдя в барак, отступил бы в ужасе. Это была больница для зэ-ка, но без кроватей. С двух сторон тянулись двойные дощатые нары в 2 этажа, вагонкой. На каждой наре было место для двоих внизу и двоих вверху. Таких нар было с каждой стороны по семи. На них могло нормально поместиться по $4 \times 7 \times 2 = 56$ человек. Кубатура барака была рассчитана на это число. Но в бараке было свыше 120 человек. На каждом месте для одного лежало двое. В проходе между нар, в начале и конце, были сложены из кирпичей две низенькие печурки, с железными трубами. Одна не могла бы нагреть такой большой барак. Между печками стояло еще коек 8, сдвинутых по 2 вместе. Это были простые доски, положенные на козлы. На каждых 2 койках помещалось трое больных. Между койками и нарами оставался узенький проход. Здесь в центре барака был настоящий корабль смерти — здесь помещались особо-тяжелые больные, смертники, которых нельзя было положить с другими, потому что они делали под себя и другие воспротивились бы такому соседству. За кораблем смерти, в глубине барака, у противоположной стены висел железный умывальник над ведром — один на всех — и была дверь в другие, запертые сени, где помещалась холодная уборная. Для тех же, кто не мог своими силами дойти туда, стояла у двери при умывальнике параша.

С обеих сторон этой палаты при входе были отгорожены две клетки, размером около 2 метров на 3. За перегородкой слева в темной каморке жили лекпом, врач и учетчик. За перегородкой справа находился стол и шкаф с лекарствами. Там была «процедурка», с окном, для осмотра больных. Вообще же все лечение, кормление и вся жизнь больного проходила на нарах.

В 9 корпусе мне дали наилучшее место, первое слева, сразу от дверей в углу. Лежа, мы имели справа от себя деревянную стенку темной клетки, где жил медперсонал. Мы лежали у окна. Это было большое преимущество, потому что мы могли пользоваться дневным светом, но и минус, потому что от окна страшно дуло. На нарах лежали соломеные тюфяки и худые подушечки, набитые соломой. Одеял нехватало. Четверо больных лежало под двумя одеялами. В этих условиях надо было разместить людей так, чтобы они могли ужиться, лежа подвое на узких нарах под одним одеялом.

На первых нарах лежало избранное общество: первым от стенки лежал Нил Васильевич Елецкий, вторым — я, третий был Николай Алексеич Бурак, лесничий из местечка Паричи в Белоруссии. Четвертый у нас менялся, а если можно было, оставляли нас втроем, из уважения к «интеллигенции». Итак, мое место было наилучшее, так как я лежал посреди, и оба соседа грели меня своим телом. Нилу Васильичу было хуже, он лежал при стенке, которая кишела клопами, и выносил ночью их главный натиск. За это мы ему уступили целое одеяло и — пока не было четвертого — лежали с Николаем Алексеичем вдвоем под другим одеялом. Хуже всех было крайнему, так как его ночью неизбежно оттесняли на самый краешек, и он должен был отчаянно цепляться за соседа, чтобы не скатиться на пол.

Спанье вчетвером на узком пространстве, рассчитанном на двоих, требует высокой степени социального чувства, такта и самодисциплины. Оно воспитывает человека и подавляет в нем вредный индивидуализм. До лагеря мысль о том, чтобы лечь в чужую постель или допустить в свою постель чужого человека, привела бы меня в содроганье. В 9 корпусе, однако, мы не были брезгливы — быть может, потому, что нары, где велели нам лечь, не были н а ш и м и, и мы все одинаково были принуждены занимать указанные нам места. Мы «встречались» на нарах и, естественно, как культурные люди, старались

приспособиться друг к другу. Иные нервные люди каждые несколько минут поворачиваются с боку на бок, имеют свои любимые позы. Кто спит свернувшись, кто на спине. Здесь это невозможно. Чтобы поместиться вчетвером, надо каждому лежать боком и вытянув ноги. Если же один из четырех поворачивается на другой бок, то тем самым вся четверка принуждена повернуться на тот же бок. Это ведет к тому, что тело дисциплинируется, автоматически реагирует на движения соседа и в значительной мере успокаивается. Нет сомнения, что коммунизм имеет в совместном принудительном тесном спанье взрослых людей прекрасное воспитательное и «исправительное» средство.

Существует талмудическое изречение, по которому человек познает человека тремя путями: «bekossó-bekissó-bekaasó». Это значит: «по рюмке, по карману и по гневу его». Я не знал в то время этого изречения, но если бы и знал, то не мог бы его применить в лагерных условиях, где люди не пьют и поэтому не выдают себя во хмелю — где нет у них денег и нельзя, поэтому, коснуться их кармана, за неимением такового. Только третий способ остается в лагере. Лежа между Нилом Васильичем и Николаем Алексеичем, я пришел к заключению, что есть 3 возможности познать в лагере, с кем имеешь дело: первая — совместная работа. Пока ты не работал с зэка, ты не знаешь его. Вторая (тут я, не зная того, повторил Талмуд) — это поссориться с ним хорошенько. Пока мы не поссорились с ближним, наша дружба с ним не прошла настоящего испытания. Третье же условие, которому научил меня советский лагерь — это спать с ним вместе. Пока вы не спали с человеком, вы его не знаете. Ибо никогда не выдает себя тело так полно, как во сне, когда плоть касается плоти, когда доходят до нас мельчайшие, укрытые движения, где проявляется бессознательная природа и характер человека.

На основании этого последнего критерия я могу сказать, что Н. А. Бурак, с которым я спал под од-

ним одеялом, был прекрасный человек. Не зная его социальных воззрений и профессиональных способностей, я готов поручиться, что и то и другое было в полном соответствии с его средой и временем. Мы идеально применились друг к другу, наши ноги и руки никогда не перепутывались и не мешали друг другу, и он всегда умел найти такое положение, чтобы мне было хорошо и необидно лежать с ним. А это было не так просто в бараке, где люди кишели друг на друге и ссорились грубо и дико из-за неумения распределить на двоих одно одеяло. — Это был белорусс, человек за 50, из окрестностей Мозыря, человек спокойный, деликатный и кроткий. С таким человеком можно было вместе спать. Он еще не совсем свыкся со своим новым положением каторжанина. Николаю Алексеевичу дали 15 лет каторги за то, что он, как старший лесничий, продолжал заниматься своим делом при немецкой оккупации. У него были 2 дочки, обе комсомолки, маленький домик, достаток, мирная жизнь полуинтеллигентского, полукрестьянского типа. Уже она стала клониться к закату, когда в местечко Паричи пришли немцы. Надо было бросать домик, семью, уходить в лес. Николай Алексеевич остался и попробовал жить, как до сих пор. Немецкая Гестапо арестовала его дочку, но выпустила. Немецкий лесничий при встрече ударил его по щеке, чтобы подчеркнуть расовое отличие... Но по освобождении Паричей пришла настоящая неприятность. Его арестовали, и НКВД возложило на него ответственность за порубки, которые были сделаны на его участке. Старик, еще не доехав до лагеря, свалился с ног по дороге. Он был ошеломлен, не понимал, что такое 15 лет, и думал, что это все страшный сон, от которого он завтра проснется в уютном домике в Паричах. Целые дни он рассказывал мне о жизни глубокой белорусской провинции. Ему в самом деле неплохо жилось до войны.

Не менее грозный преступник лежал справа от меня. Нил Васильич Елецкий был полковник царской службы, который после гражданской войны эмигри-

ровал в прекрасную Францию. Между 1920 и 1943 гг. он вел существование белого эмигранта, был шофером в Париже и на Ривьере, женился, пережил жену и под конец был шефом кухни в эмигрантском русском ресторане в Ницце или в Каннах. Ему было под 60. Франция стала его второй родиной. Вдруг...

... Спустя 23 года Нила Васильича вдруг потянуло домой. Как умереть, не видев России? Гитлер занял Украину, подошел к Ленинграду. Нил Васильич поехал на Восток, прибыл в Ростов. Немцы откатились обратно, и полковник Елецкий остался.

Он сам явился в советский штаб, представился и предложил свои услуги Красной Армии. У Нила Васильича были свои глубокие соображения, как надо воевать с немцами, и, кроме того, он писал труд. Это был труд о «военной психологии», дело жизни. Выглядел Нил Васильич так: небольшой, но бодрый старикан, со звучным баском, виски серебрились, очень живые черные глаза, и человек компанейский, выпить ли, поговорить, но среди людей. Молодые советские офицеры с любопытством его окружили, заинтересовались, оказали прямо-таки уважение старому воину. Прежде всего положили его в госпиталь. От переживаний, волнений и с долгой дороги от Ниццы до предгорий Кавказа, Нил Васильич несколько ослаб. В госпиталь приходили к нему каждый день, приносили подарки, вино, расспрашивали. Через 10 дней его выписали и посадили в машину. Автомобиль помчался прямо в Москву. Нил Васильич думал, что его везут в главный штаб, к маршалам. По дороге были с ним крайне любезны и полны внимания. В Москве же отправили его — прямо на Лубянку.

— Мы вас не приглашали, — сказали ему. — Возможно, что вы очень симпатичный человек и воодушевлены наилучшими намерениями, а кто вас знает? Может быть, вы немецкий агент? В Ростов-то вы попали через Берлин. Во всяком случае мы вас изолируем. Вот, подпишите этот протокол. — Нил Васильич подписал и получил 10 лет заключения в лагерь. В Кот-

ласе пришлось ему провести первый год из десяти. Первый и последний. До второго он уже не дожил.

Нил Васильевич написал заявление в Верховный Совет, что он нуждается в особых условиях, чтобы написать труд о военной психологии, попробовал быть дневальным в КВЧ и лег в 9 корпус. Тут он исхудал до того, что и лицом и телом стал походить на Ганди. Но говорун остался прежний, и в рассказах его оживала солнечная Франция. Он также объяснил мне, как надо готовить каплуна в вине и с трюфелями. Однажды я спросил его (это было вечером; мы уже поели свой ужин из ячменной каши и 100 гр. хлеба и лежали, готовясь ко сну):

— Нил Васильич, вы столько видели стран и прекрасных мест, побродили по Европе, двадцать лет жили во Франции. Какое самое красивое место в мире вы видели? Где бы жить хотели?

Нил Васильич зажмурился, подумал немного и дал ответ:

— Самое прекрасное место в мире, это, батенька мой, вне всякого сомнения, город Осташков, над озером Селигер, Новгородской области. Это мои родные места, должны вы знать. Я там родился. Чем больше разного видел, тем больше меня домой тянуло. Нигде как дома...

Старик начал расписывать красоту русских лесов, русских озер, и рек, и рыбной ловли, и я понял, что он никогда не был счастлив в жизни, кроме как в годы осташковского детства. Это был сон его души. Из лагеря он написал в Осташков и — о чудо! — оказалось, что родной единственный брат его жив и находится в том же доме и на той же улице, где жили Елецкие испокон века. Брат ответил ему в скупых, осторожных словах. Нил Васильевич попросил сейчас же посылочку — если можно, курева. На это уже ответа не последовало. Но Нил Васильевич все ждал ответа, и до последнего дня был убежден, что в Осташкове готовят ему посылку большую, где будет все, что надо старому, усталому человеку.

День в корпусе начинался с того, что мне сквозь

сон становилось просторно. Значит, сосед уже поднялся на работу. В бараке еще совсем темно. Спящая громада людей неподвижна. Нил Васильич, набросив одеяло на худые плечи, с очками на ученом носу (военный психолог!), надев на ноги шлепанцы, спрятанные с вечера, уже ходит вдоль нар, теребит за ноги, будит и тычет каждому термометр. Измерив, подходит под окошко и наносит t^0 на большую фанерную таблицу. За эту работу полагается ему добавочный суп в обед. Дважды в день измерить t^0 120-ти больным (второй раз мерят в 5 часов пополудни) — это часа 4 работы. Больные не любят беспокойства, громко ругаются. Нил Васильич человек гневный, и не дает спуску. Термометров на всю палату 2 или 3. В раздражении Нил Васильич трясет термометр слишком сильно и ломает его. За сломанный термометр он отдает полкило своего хлеба, и в результате больше теряет калорий, чем зарабатывает.

Когда Нил Васильич кончает обход, уже светло и готовят завтрак. У умывальника толпится 10-20 человек. Полотенец нет. Мало кто и моется. К тяжелым больным подходит санитар с миской. Теперь моя очередь. Уже вышел из-за перегородки лекпом Давид Маркович. Это немолодой уже, с выпуклыми светлыми глазами и светлыми бровями, с припухлостями щек коренастый человек... Давид Маркович — настоящий отец 9 корпуса. Врачи здесь меняются часто, а он — бессменно на месте. Вся энергия, сердце и душа этого человека — в его ежедневной работе. По его знаку я устанавливаю столик, выношу бутыли с лекарствами и рюмочки. Он наливает, мое дело — разносить лекарства. Я хватаю по 2-3 рюмочки и бегу по адресам. Больные в лекарства не верят, и правы. Весь арсенал Давида Марковича — это 5-6 микстур. Этим лечатся всевозможные болезни, но и их часто не бывает. — «Можете лежать, — говорит мне тогда Давид Маркович, — сегодня лекарства не прибыли». У больных все лекарства делятся на горькие и сладкие. Горького никто не хочет, отталкивают руку или, кто посердитей, берут и тут же выплескивают

рюмку на пол. На «сладкое» же большой спрос, и кто не получает его, обижается. — «Давид Маркович! — кричат с места, — опять меня обошли!» Получив рюмочки, больные обмениваются, а кто сам не пьет, отдает соседу. Хлопот много. К иному, лежащему в забытьи, подходят 5 раз: поставить термометр, дать лекарство, вынуть термометр, снова дать лекарство, уже другое, и наконец положить на язык пилюльку. Больной не шевелится, не имеет сил подняться и только глухо мычит. Он разевает рот, и я сам вливаю ему содержание рюмки. Одна и та же рюмка идет изо рта в рот по всей палате.

Махмуд с санитаром вносят с улицы ведра с завтраком. Палата настораживается. Кухня выдает на весь корпус. Дело раздатчицы — приготовить порции на 120 человек. Сперва идет хлеб. Двое человек выносят из раздаточной подносы с ломтями хлеба. Большинство получает «пеллагрический» паек, т. е. 400 грамм хлеба, выдаваемых в 3 приема: утром 200, в обед и вечером по 100 грамм. На «общебольничный» паек выдают хлеба побольше — 550 грамм, но зато каши и всего прочего — поменьше. Завтрак для пеллагриков состоит из кусочка соленой рыбы и кусочка жира 10-18 грамм. Кусочек жира бывает больше и меньше, смотря по тому, масло ли это, маргарин или «комбижир». Затем раздают по черпачку «чаю», т.е. горячей воды. Иногда кипяток заварен чем-то темным, происходящим из отбросов фабрик, изготовляющих повидло. Подконец раздатчица вносит глиняную миску гороха. Это — зеленый «конский» горох, сдобренный постным маслом. Те из больных, которые зачислены на «цынготный» паек — человек 15 на корпус — получают по одной столовой ложке гороху. «Цынготный» получают те, кто исполняет в корпусе какую-нибудь функцию. Мы с Нилом Васильевичем оба получаем по ложке гороху.

Во время еды больные садятся по-турецки, но не рядом, а вразбивку, чтобы лучше разместиться на нарах. Я — у самого окна, Нил Васильич в ногах, спиной к стенке, Бурак посреди, а четвертый сидит, све-

сив ноги в противоположную сторону. Я, как старый зэ-ка, имею кусок фанеры, который кладу себе на колени — это вместо стола. Другие кладут свой хлеб и прочее на подоконник. Тут надо быть осторожным. Со двора подходят люди под окна нашего барака. Окна низенькие, и им видно не только как больные едят, но и **что** они едят: они видят на окне за стеклом то, чего им, «здоровым», не дают. Вид масла и рыбы притягивает их. Заглядывают в окна, смотрят упорно, жадно, тоскливо. Им с утра ничего не полагается, кроме хлеба и жалкой лагерной «баланды». Толпятся с худыми и дикими лицами, оборванные, с горящими глазами. — Берегись! Вдребезги летит окно. Просунулась рука, схватила с подоконника хлеб, масло и рыбу, — и доходяга бежит, на ходу запихивая в рот. Он не боится ни карцера, ни побоев нашего Махмуда: что он схватил, то пропало. А в корпусе суматоха. Давид Маркович кричит на виноватого: зачем на окно положил? — и виноватый наказан дважды: он не только лишился завтрака, но и будет мерзнут с товарищами по нарам весь день, пока завхоз Махмуд раздобудет где-нибудь кусочек стекла или фанеры, чтобы вставить в разбитое окно.

Весь день не прекращаются в бараке шум, крики и споры. Беспрерывно ворочается масса из 120 человек, скученных на тесном пространстве. Оправляют сенники. Над нами лежат литовцы. Скелетообразный Юнайтис, учитель из Ковно, беспрерывно шевелится и поправляется. Через щели между досок верхних нар летит на нас пыль, грязь, солома из сенника. У соседей крик: один обокрал другого. Еще дальше обыск: зовут Давид Марковича и указывают на больного, который собирает масло. В самом деле, лежат две несъеденные порции. Больной — неисправимый курильщик — отложил масло, чтобы обменять на махорку. Люди, меняющие хлеб и продукты на табак, обречены на смерть. Каждая калория, которой они себя лишают, приближает их конец. Давид Маркович отбирает масло, кричит: «Ты себя убиваешь, мерзавец!» — Неисправимых меняльщиков ведут к сто-

лу среди барака и заставляют их съесть свои продукты публично под наблюдением санитара. При каждой раздаче их отсаживают в сторону и смотрят в рот, чтобы они ни крошки не спрятали. Если же уличают больного, что он купил чьи-то чужие продукты, то их забирают, и Давид Маркович по своему выбору отдает их кому-нибудь из особенно слабых.

К нарушителям дисциплины, упорным ворам, хулиганам и драчунам, применяются два наказания. Либо выдают им еду на 2 часа позже других, либо раздевают до нага. В последнем случае призывается Махмуд, дикий татарин с сумрачным лицом. Он сдирает кальсоны и рубаху, забирает одеяло, и нарушитель порядка остается лежать голый среди товарищей. Понятно, он не молчит. Дикая ругань, истерический плач, жалкие попытки сопротивления. Даже угроза выписать из барака не останавливает обиженного, который бежит за перегородку к врачу с криком: «Выпиши! Сию минуту выпиши! Не желаю здесь оставаться!» Бывают случаи, что действительно выписывают хулиганов, с которыми невозможно иначе справиться. Это жестокая мера. Через 2-3 дня они снова попадают в больницу, в этот или другой корпус. На этот раз они уже тихи и спокойны: несколько дней в общем бараке среди здоровых сломили их и укротили буйство.

По мере приближения к обеду и ужину растет напряжение. Можно сказать, что больные вообще не выходят из состояния ожидания еды. В этом ожидании проходит вся их жизнь. В обед выдается суп из капусты или брюквы и 250 грамм жидкой кашицы на «общий» паек. Пеллагрикам дают 300 грамм кашицы с каким-нибудь добавлением в виде «подливки» или «тютельки» из крупы или рыбы. Вечером мы получаем немного кашицы и молоко: 200 гр. на «общий», 300 грамм на пеллагрический паек. Молоко заменяется кусочком жира или сыра. Наконец, вечером же выдается 200 гр. «сладкого чаю» (если на перпункте есть сахар). Этот «сладкий чай» совсем не сладок и ничего общего с чаем не имеет, но все же

отличается от простого кипятка, и больные ждут его с нетерпением.

Когда обед уже роздан, выносят по мисочке супа для «работающих»: получают раздатчик лекарств, измеритель температуры, портной, весь день латающий белье для больных, и др.

Порции до смешного малы. — «Как для котенка!» — говорит больной, принимая кашицу на донышке миски, куда бросили ему крошечную крупяную котлетку или картофельный блин. Полсотни таких пришлись бы ему на один зуб. Поев, люди злы, точно их обманули. Так кормят больных и истощенных. Восстановить силы на этом питании невозможно: оно только задерживает неизбежный процесс алиментарной дистрофии. Где-то заграницей, в сытой Америке, или даже в Европе, которая считает себя «голодной», находятся люди, которые все это объясняют войной. У этих людей отнялся бы язык в 9-ом корпусе. В самом деле, что можно сказать зэ-ка, которые уверены, что на свободе они бы себе нашли, что есть? Государство, которое не в состоянии кормить своих пленников, по крайней мере не должно было бы отрезать их от всякой помощи извне, из-за границы. Для миллионов советских заключенных война не началась в 1941 году и не кончилась в 1945 году. Во внутренних отношениях этого государства война — в соответствии с доктриной ленинизма-сталинизма — не прекращается никогда.

Кроме еды, немного сенсаций в бараке. Раз в неделю происходит «санобработка». После завтрака вносят жестяную ванну, ставят посреди корпуса. Двое санитаров без устали тащат из кипятилки ведра с горячей водой. Двое помощников из больных становятся с мочалкой и тряпкой. Мыла нет. Поперек ванны кладется доска. Больные выстраиваются в очередь. Каждый подходит и садится — не в ванну, а на доску. В ванне он только держит ноги. Ему подают один-два котелка с водой, он окатывается с головы до ног, трут ему спину — и дело с концом. Некоторых под руки ведут к ванне — это те, которые

без посторонней помощи уже не встают с места. Наконец, есть умирающие: «корабль смерти» посреди барака. Этих не беспокоят. Санитар подходит к ним с миской воды и умывает на месте.

После первых 20-30 человек вода в ванне становится желто-серой и вонючей. Больные не без страха опускают в нее ноги и стараются уйти поскорее. Каждого моют 2 минуты, но т.к. больных 120, то операция затягивается на полдня. Ни больных ни персонал не интересует чистота, которая в условиях 9 корпуса технически недостижима. Надо исполнить повинность. Вечером будет отправлен в Санчасть рапорт: «проведена санобработка на 120 человек» — это все, что нужно начальству.

Прежде чем пройти к ванне, больной садится на табурет, где лагерный парикмахер стрижет и бреет. Одному не справиться: ему помогают добровольцы из больных (все за миску супу). Это — тяжелая и неприятная операция. Каждый сам намыливается из общей мыльницы. Из одной мыльницы — лицо, из другой лобок и подмышки.

Выйдя из ванны, спешат к натопленной печке и сушатся, обступив трубу. Тем временем вносят белье, и сестра раздает свежую смену. Это — серое, неотмытое, без пуговиц, заношенное и латаное лагерное белье с клеймом «9 корпус». Со старой пары белья больной спорол пуговицы, которые составляют его собственность, и пришивает их теперь, на неделю, к новой паре. Одновременно с санобработкой сиделки перетряхивают сенники и одеяла, выносят их проветрить на двор. Все они одинаковые, и после проветривания уже нельзя получить своей бывшей постели: все перепутано, кладут обратно, как придется. Вся эта работа производится с помощью больных. Полдня барак являет образ полного разгрома и беспорядка, как палуба корабля во время шторма. К обеду все принимает нормальный вид. Больные лежат в изнеможении, отдыхая, как после тяжелой встряски.

После обеда наступает очередь банок, клистиров и т. п. манипуляций. В особо сложных случаях вызыва-

ются в помощь врачи из соседних корпусов. Среди врачей не мало больших специалистов — рижан, литовцев, поляков с европейскими дипломами, привезенных из территорий, занятых Красной Армией, и отбывающих десятилетние сроки. — Бух! сорвался с нар больной в припадке падучей. Таких у нас несколько, и надо за ними следить, чтобы они, падая, не разбили себе головы и не поранили себя. На человека, который бьется в конвульсиях, наваливаются его соседи по нарам, подминают под себя, держат крепко руки и ноги. Через несколько минут все прошло. Больной лежит, вытянувшись как струна, с закрытыми глазами и закушенными губами.

Рано темнеет в бараке, и зажигается тусклая лампочка при входе. Сразу после ужина барак затихает. Всю ночь дежурят сестра и ночной санитар.

Человеческая громада спит. Но сон ее — беспокойный и тревожный, полный шопота, вздохов, гневных окриков. «Сестра! — Дежурный! — Дайте воды!» — Воды так мало, что ее подносят в рюмке самым тяжелым больным. В тесноте не холодно, но клопы заставляют людей срываться с места и не дают заснуть. Давить клопов нельзя, от этого они звереют. То и дело встают, садятся, идут в темный конец барака, к параше. Вокруг сестры всегда двое-трое полуночников, которые маются без сна и не могут дождаться утра. Только появление в дверях стрелка в солдатской шинели и фуражке с пятиконечной звездой заставляет их разойтись по нарам.

Из всех переживаний и сенсаций корпуса основное — это смерть. Люди кругом лежат месяцами. Болезнь их — просто голодное истощение. Поправиться не с чего. Все, что 9 корпус может им дать — это физический отдых, спокойное лежание под присмотром врача. Они и лежат — до смерти. Все в них неверно, обманчиво и хрупко. Юнайтис, беспокойный сосед сверху, не долго нам докучает. Он, еще недавно говорливый и суетливый, охотник поработать, постепенно бросает все работы, становится все смирней и тише и умирает так же незаметно, как гас-

нет свет сумерек в окошке. От него остается только эта одна строка в книге случайного свидетеля жизни и смерти. От других и того не остается. Всех не вспомнишь.

Одно время лежит с нами четвертым молодой украинский парень лет 22, мордастый, неповоротливый и смирный. Он, повидимому, здоров, и его выписывают на работу. Через несколько дней он возвращается в корпус — уже на другое место. На этот раз он еще смирнее и тише. Раздавая лекарства, я с ним здороваюсь, как со старым соседом:

— Полно дурить, Гаврюшка, вставай, работать надо. — А надо, — говорит Гаврюшка, — таки надо.

На другой день то же: — Как себя чувствуешь, Гаврило? — Да ничего, хорошо. — На третий день он уже ничего не отвечает. Умер ночью, и лежит на спине, третий с краю, очень спокойный, как при жизни, с таким видом, точно ему это не в первый раз. Соседи подвинулись в сторону, но не очень. Уже несут носилки, ставят в проходе.

— Второй на этой неделе, — говорит с огорчением Давид Маркович.

В 9 бараке людям не полагается слишком часто умирать. Это барак для несложных случаев. Когда больному требуется серьезное лечение, его отсюда забирают куда-нибудь в более подходящее место.

26. ПЯТЫЙ КОРПУС

Через 3 месяца пришло мое время уходить из 9 корпуса. Моя болезнь приняла неприятный оборот. Призванный хирург предложил перевод в 3 корпус — на операцию. Я не согласился. После операции требуется усиленное питание. Этого мне хирург не обещал. Он был готов меня резать, а не кормить. Итак, было принято компромиссное решение: меня перевели в 5-ый корпус.

Только несколько шагов отделяли 5-ый корпус от 9-го — но это были 2 мира. Пятый корпус был в Котласском перпункте оазисом — местом, куда все

больные мечтали попасть, но только избранные попадали. Туда посылались больные с осложнениями, больные, нуждавшиеся в великой школе медицинского искусства. Заведывал этим корпусом Доктор: человек Запада, лицом напоминавший старика Анатоля Франса. Под его ведением был небольшой барак человек на 50. Здесь не было нар. Вдоль стен стояли больничные кровати, сияя белизной. Спинки их в ногах больного были завешаны белыми простынями. Корпус выглядел как настоящая больничная палата. Это было — святилище. Медперсонал весь в белом. Больные, подавленные величием и торжественностью обстановки, вели себя приличнее и тише, чем во всех других корпусах. Они тоже, как могли, старались «соответствовать». Даже случаи кражи были редки. Здесь можно было на ночь оставить хлеб в шкафчике между кроватей, не опасаясь ни двуногих, ни четвероногих крыс.

Серебряные седины и осанка доктора производили на больных должное впечатление. Доктор был воплощением Науки и морального авторитета, не только среди больных. В процедурной 5 корпуса раз в неделю происходили собрания врачей со всех корпусов перпункта. Только главврач был вольный (т. е. уже отбывший наказание), а остальные все — со сроками. На собрании этого «медицинского общества» читались рефераты и обсуждались проблемы лагерной медицины. Наш доктор был признанным авторитетом в медицинском мире котласского перпункта.

Совещания медперсонала происходили в послеобеденные часы, во время поверки. Дежурный стрелок входил в палату в сопровождении учетчика, который называл ему число больных и персонала. Дежурный проходил по фронту кроватей, тыча пальцем. Просчитав, он деликатно отворял дверь в процедурку, где сидело человек 20 врачей. Не прерывая ученого заседания, он с порога считал людей в белых халатах. Так гармонически сочетались Наука и Госбезопасность.

Все было в 5 корпусе необыкновенно. За раздаточной находились две кельи. Нельзя их иначе назвать. Эти кельи пристроил к бараку на свой счет тот врач, который отбывал наказание в 5 корпусе до нашего доктора. Теперь в первой келье жил лекпом, во второй доктор. В этой второй, как и в каморке Максика, где висели на стене акварели Котро, я испытывал, заглядывая туда, особое чувство: присутствие индивидуальности, т. е. того, что начисто изгнано, уничтожено, умерщвлено в лагере. Здесь жил человек. Над кроватью с совершенно невероятным, неправдоподобным, потусторонним желтым стеганным одеялом висела полочка с книгами. Кроме медицинских книг, здесь была карманная Библия в оригинале и несколько книг математического содержания. В свободное время доктор занимался высшей математикой.

Первое, что со мной сделали в 5 корпусе, было — восстановление инвалидности. Это сделал главный врач, вольный. Он пришел в одно утро в палату, сел за столик посреди, и пред ним продефилировало человек 20. Им всем писали «А-Д» и таинственный значок, как потом оказалось: «инвалид».

Переход в новый корпус, где мне дали отдельную койку, сделал чудо. Я сразу почувствовал себя лучше. Тогда назначили меня ночным санитаром. На этой работе я мог подкормиться. В 9 корпусе я не мог быть ночным санитаром, там было 120 человек. Но в 5-ом было только 40-50 человек. На это меня хватало. Дневным санитаром я также не мог быть: тут надо было работать одетым, выходить на двор, носить воду, дрова и ходить на кухню за едой. Я мог работать только в пределах корпуса: ноги мне служили слабо.

Ночному санитару не полагалось жить в палате. Меня выдворили в сени. Там за загородкой были устроены нары на троих. Со мной помещался завхоз Иван Иванович, маленький строгий старичок, и дневной санитар Коля (инженер по образованию). Работал я от 11 вечера до 8 утра. Днем я спал. Подымал-

ся я только к завтраку, обеду и ужину. Меня обильно кормили, как полагается ночному санитару. Наконец я перестал чувствовать звериный голод. Я поедал огромные количества супу и каши, сидя на своих нарах за перегородкой. Ночью дежурная сестра отдавала мне свою часть. Доктор отдавал мне соевую кашу, которую он не переносил. В первый год в лагере я тоже не мог есть соевой каши. Теперь я ел все. Моя прожорливость приводила в изумление раздатчицу Соню.

Раздатчица Соня, от щедрости которой я зависел, была маленькая, черненькая и напоминала еврейку. На самом же деле это была мусульманка, карачаевка. Карачаи — маленький народец на Северном Кавказе. В 1942 году с ними случилось несчастье: они подарили белого коня Гитлеру, когда немецкая армия заняла их район. Когда же вернулась законная власть, карачаев посадили в товарные вагоны и вывезли в наказание все племя в Центральную Азию. А Соню, учительницу народной школы, отправили в лагерь. Когда летом 44 года доставили ее в 5 корпус, это был жалкий заморыш, худой цыпленок при последнем издыхании. Но доктор ее вылечил и сделал раздатчицей. Теперь Соня держала в руках черпак, как скипетр. Она округлилась, ела мало и умеренно, держала себя с достоинством и с безграничным благоговением смотрела на доктора миндалевидными черными глазами.

11 часов вечера. Сиделки, уходя, будят меня. Я запираю за ними наружную дверь. Все спят уже и только дежурная сестра сидит среди палаты за столиком, но скоро и она исчезает в «процедурную». Я один с больными. Начинаю с того, что приношу дров из чулана, всяких палок, досок и поленьев, которые завхоз Иван Иванович сложил под своими нарами. Ставлю на печку бак с водой, а дрова вокруг печки, чтобы высохли. Стругаю ножичком щепки и развожу огонь. Надо топить расчетливо, чтобы хватило скудного запаса до утра.

Из холодной уборной я выношу большое ведро с деревянным сиденьем. У коек тяжело больных я

ставлю глиняные миски. Это — такие же миски, как и те, из которых мы едим. Всю ночь я их выливаю в ведро и ставлю обратно, и не допускаю к ним тех, кто в состоянии подойти к ведру. Каждый час или два — параша полна, и я выношу ее в холодную и темную уборную. На гвоздике у входа в уборную висит старый рваный бушлат, шапка и стоят разъехавшиеся туфли. Идя в уборную, надо одеться, как на двор: там мороз, и на полу грязно. По палате же ходят босиком в одном белье.

Человек 50 лежит на койках вдоль стен и посредине. Средина палаты занята койками, где как в 9-ом — лежат втроем на двух сдвинутых койках. Кроме этого, имеются в палате: железная печка и столик с двумя табуретами.

...Тихо в палате... сильная электрическая лампочка горит ярким светом над столиком в центре, но в углах — тень... Под койками начинают метаться крысы... Одна из них вскочила на столик между койками, и я подхожу проверить — не осталось ли там хлеба или полотенца, в которое был завернут хлеб. Уже за полночь. Больной пошевелился и позвал меня. Это украинец, которому уже недолго осталось жить. Я приволакиваю ведро с сиденьем, ставлю в ногах его койки. Больной лежит на спине, отбросил серое солдатское одеяло, согнул костлявые колени. Он беспомощен как ребенок. Все ребра его тела проступили наружу. Я наклоняюсь к нему: «Возьми за шею!», правой обнимаю плечи, левой под колени, и как дитя приподымаю с постели. Я, инвалид, качающийся от слабости — герой в сравнении с ним. Я чувствую в своих руках этот бессильный мешок костей, и мне страшно, чтобы эти кости не переломились в моих руках, чтобы не отпала высохшая голень, чтоб он не умер на этой параше, на которую я его сажаю. Он сидит на ней долго, обвиснув всем телом, пока я не прихожу уложить его и закутать в одеяло. Он что-то брюзжит, тихо ноет про себя... «тяжело, тяжело»... слова бессвязной жалобы и упрека. И прежде чем

я успеваю положить его, меня зовет второй такой же, и третий.

У дверей в отхожее лежит умирающий. Его положили на самое плохое место, потому что ему уже все равно. Уже 2 дня все ждут его смерти. Этот уже ничего не говорит и не стонет — он только смотрит пустыми глазами. Дурной запах идет от него. Соседи зовут меня. Я осторожно снимаю с него одеяло и вытаскиваю из под него загаженную простыню. Белья для него больше нет. Я подкладываю под него клеенку, прямо на тюфяк. Он лежит голый. Соседи клянут его вполголоса... «Не виноват я, братцы, — шепчет умирающий, — потерпите маленько»... Под утро начинается у него агония.

В это время тухнет свет, и палата погружается в мрак. Это бывает очень часто, и на этот случай заготовляется с вечера керосиновая лампочка. Сегодня в ней нет керосина. И это бывает. А больные сегодня беспокойны — нужен свет. Я иду в чулан за тонкими смолистыми щепками — толщиной в палец, длиной сентиметров в 70. Это лучина. Та самая, о которой у Пушкина сказано:

...В избушке, распевая, дева
Прядет — и зимних друг ночей
Трещит лучина перед ней...

Вот она — лучина, зимних друг ночей — в 5 корпусе Котласского перпункта, в 1945 году. Коммунизм — не только «электрофикация + советы», как сказал Ленин. 28 лет после октябрьской революции это также: лучина + лагерь. Старый друг лучше новых двух. Лучина надежнее электричества и керосина. Восемнадцатилетний Витя зажигает лучину об уголек из печки опытной рукой и затыкает ее наискось на деревянном столбе среди палаты.

Лучина горит желтым дымным светом, ей не дают выгореть до конца и каждые 10 минут заменяют ее свежей, а остаток старой бросают в кадушку с песком на полу. Несколько десятков лучин лежит наготове.

Но через час снова зажигается электричество, и мы возвращаемся из 18-го века в 20-ый.

Энергично стучат в дверь. Это идет ночной обход. Прежде чем открыть, я предупреждаю дежурную сестру, которая прилегла в процедурной. Она поспешно выходит в палату, садится к столу. Охранник ВОХР'а обходит корпус, заглядывает к врачу, проверяет, все ли спят согласно с инструкцией, и что у кого лежит на столике. Потом подходит к термометру среди палаты. Если ниже 16° — завхоз отвечает пред начальством, а я — пред завхозом. Я показываю стрелку, что нет больше дров — топить нечем.

Стрелок выходит, и через полчаса стучит в дверь:

— Выходи! За 16-ым бараком лежат две доски. Бери и топи!

Легко ему сказать: «выходи». А я уже месяца 4 не выходил из корпуса. Это для меня — большая экспедиция! Я одеваюсь в чужие ватные брюки, чужой бушлат, чужие валенки и выползаю за порог.

Снаружи — глухая зимняя ночь. Бреду в глубоком снегу по колено. Ни души. Только дым валит из труб низеньких госпитальных бараков, и мигает электрическая лампочка на столбе по ту сторону лагерной ограды с колючей проволокой. И далеко-далеко на путях свистят паровозы. Это — станция Котлас, пункт, через который проходят поезда. А мы здесь лежим — сотни, тысячи людей — зачем? Я чувствую себя, как крот, который поднялся из подземной норы. С изумлением гляжу на чужой и странный мир зимней ночи. Звезды горят в высоте. Куда я попал? Скорей взять доски, скорей обратно, в палату, в теплое логово, где у меня есть место и звание ночного санитара. Здесь, на этом суровом морозе, в ночном безмолвии под куполом северного неба, я только привидение, тень — фантом в чужом бушлате.

Вернувшись и оживив огонь в печке, я сажусь у ее железной стенки поговорить с сестрой и Витей... Витя — мальчик с круглой головой, стриженый, очень вежливый и старательный помощник в корпусе. У Вити — трехлетний срок за немалое преступле-

ние: он с компанией товарищей украл барана. Барана съели моментально — давно мяса не видели. Грех попутал — и голод не тетка. Он, собственно, только увязался за старшими парнями, и те получили сроки побольше, а ему, Вите, по молодости — только три года.

В два часа ночи стучат снова. На этот раз входят двое-трое с вахты, неся зашитые в полотно ящички: это — посылки. Больным в корпусе передают посылки не днем, а ночью, во избежание лишних глаз. Никто из больных не рассердится, если разбудят его ночью со словами: «принимай посылку». На 50 человек в корпусе есть всего 2-3 получающих. Разбуженные садятся в волнении. Посылка — переворот в их жизни. С завтрашнего дня несколько дней подряд они не будут голодны... Вспарывают полотно, сбивают крышку с ящика и в присутствии адресата вынимают по порядку, что внутри. Одна посылка — обычная колхозная из Центральной России: ржаные сухари, сушеная картошка, лук. Лук мерзлый, но в лагере и он не пропадет. На самом дне — кусочек сала, грамм в 200, завернутый в тряпочку. Если посылка из Средней Азии — в ней мешочек сушеных фруктов (изюм, урюк) и курдюк, т. е. жирный овечий хвост, особенно любимый нацменами. Самую лучшую посылку получает Попов. Ему шлет жена из Сочи, с Кавказской Ривьеры. Там бывает не только масло, мед и сахар, но и то волшебное, от чего глаза Вити загораются восхищением: несколько мандаринок.

Мандаринки в лагере! Мандаринки на севере, где люди годами не видят в глаза обыкновенного яблока и доживают до старости, не узнав вкуса груши. Витя получает у Попова кожицу от мандаринок. Эту кожицу он кладет в кипяток и уверяет, что «чай» от этого приобретает особый аромат. Ночная конспирация не помогает Попову. На утро весь корпус будет точно знать, что именно было в посылке. Ближайших соседей придется ему угостить, а всю посылку отдать на хранение в раздаточную, чтобы не вводить в искушение ближних.

В 6 часов бьет за окном гонг. Ночь кончена. Подъем! — Нас, больных, подъем не касается. Я бужу дневного санитара Колю, приношу воды в ведре для умывания. Первые больные начинают шевелиться. Мое дежурство идет к концу. К 7 часам является Соня и обе сиделки. Я ухожу спать — в холодные сени, на «северный полюс». Сплю я одетый и мерзну даже во сне. Как я завидую больным, которые лежат в теплой палате и ни о чем не заботятся! Но нельзя все вместе: и быть сытым и лежать в тепле.

Только один месяц я работал ночным санитаром. За это время я много ел, и мой вес поднялся с 45 кило до 51. Это был мой максимальный вес в лагере. Подконец я не выдержал, и меня перевели в палату к больным. Моим преемником стал Витя...

Шел 45-ый год, и война подходила к концу. Советские войска вошли в Восточную Пруссию, и мы следили с волнением за их наступлением. Каждый номер «Известий» или «Правды», который попадал «на полчаса» в руки медперсонала, жадно прочитывался и обсуждался в тесном кругу... В конце зимы через Котлас прошел первый эшелон — женщин из гражданского населения Восточной Пруссии. Начинался массовый вывоз немцев, по испытанной системе НКВД. В одно утро пропустили через баню котласского перпункта партию немок — в легких платьях и туфлях, не подготовленных к суровой зиме крайнего русского севера. — “Kalt, kalt ist in Russland!” повторяли они и жались друг к другу. Эшелон был в пути 4 суток из Москвы. За это время замерзло и умерло 80 человек из партии. Хоронить их в пути не позволили. В конце состава шел вагон с трупами. — «Половина вымрет в дороге — половина на месте» — оценили котласские люди, которые уже видали виды. Жалеть их было некому. Свои тут же рядом погибали без счета.

Я лежал месяц за месяцем на койке против печки. Еще раз объявили амнистию польским заключенным. Это была амнистия по соглашению с новым польским

демократическим правительством. На нашем перпункте было человек 10 поляков. Только один из них был освобожден — остальные остались в заключении. Они протестовали и писали жалобы. На этот раз я не жаловался и не протестовал. Я был убежден в бесцельности и — более того — вредности слишком часто повторяемых протестов. За годы, проведенные в лагере, я несколько раз протестовал резко и горячо против своего задержания, и не было смысла еще раз повторять сказанное. Теперь я не хотел больше обращать на себя внимание. Я чувствовал, что на этот раз — чем меньше будут заниматься мной, чем меньше будут знать и помнить обо мне представители власти — тем лучше.

Месяц за месяцем, лежа на койке, забытый всем миром, даже своими врагами, я наблюдал как умирают люди.

Здесь не было войны, и все же великое побоище окружало меня. Отголоски страшного избиения доходили до меня, как в трюм корабля доносится шум бури. «5-ый корпус», засыпанный снегом, напоминал мне корабль, идущий по морю — неизвестно куда. Волны шумели за бортами корабля, а в трюме ворочалась груда человеческих тел. Приглядываясь к ней, я постигал, какая чудовищная машина убийства приведена в движение на просторах России — машина, перемалывающая человеческий «мусор» и изо дня в день выбрасывающая остатки в котласские госпитальные корпуса.

Рядом со мной умирал Вася. Это был 20-летний мальчик, и срок у него был тоже 20 лет. За какие преступления дали Васе 20 лет каторги? Кого он убил или предал? В углу нашей палаты лежал 72-летний старик-колхозник, зарубивший в пьяном виде свою жену. Ему дали два года, а Васе двадцать за то, что он подметал пол у немцев в полиции. Может быть, это была «государственная мудрость», но я не мог не ненавидеть и презирать государство, которое защищало себя таким образом. Два года или двадцать — оказалось все равно, и оба они, старый

и малый, умерли в ту зиму в 5 корпусе. Вася умер от горловой скоротечной чахотки. При этом он до последней минуты не понимал опасности своего положения и даже не знал, чем болен. Доктор велел кормить его из отдельной посуды. Это обидело Васю. — «Вот, — сказал он, — когда хватились: когда я уже выздоравливаю!» И умирая, он все был уверен, что выздоравливает, и не понимал, почему это больные в корпусе от него отворачиваются, не позволяют ему садиться на свои койки и ничего не одалживают из своих вещей. Он думал, что они им брезгают, знать его не хотят. Вася, с горловой чахоткой и 20 годами каторги, был беспомощный и неразвитый, ничего не понимавший в жизни мальчик, попавший с миллионами других под колеса жизни. — «Один человек в корпусе — ты, Марголин!» — сказал он мне жалобно, обиженный всеобщим бойкотом. Я его не бойкотировал. Я не принимал никаких мер предосторожности, пил из его кружки и сидел на его постели. Я не боялся заразы, и смерть не пугала меня. Наоборот. Смерть, на худой конец, была путем избавления от рабства, выходом из тупика, куда зашла моя жизнь.

Недоумение овладело Васей в последние дни, когда наступила катастрофа. — «Плохо!» — сказал он мне, наконец, шопотом, и я увидел в его глазах беспредельное изумление. Когда Вася начал хрипеть и задыхаться, уже было известно в палате, кто ляжет на его койку. Он еще лежал в агонии, а уже начался обычный грабеж умирающего. Растащили, подобрали со столика все его жалкие вещи. Санитар забрал хлеб, нетронутый за 2 последние дня. Ничего не осталось — и когда уже вынесли его — я съел его последнюю, простывшую с вечера кашу на донышке глиняной миски и взял себе щербатую железную кружку, которой мы пользовались вместе.

Алиментарная дистрофия чаще всего приводила к водянке. Сперва чудовищно распухали ноги. Потом живот раздувался, как у беременной женщины. Все тело наливалось водой, заплывали глаза, а когда

вода подступала к сердцу, человек умирал. В палате было полдюжины больных, которым периодически выкачивали воду из живота. Больной садился на табурет среди палаты, ему прокалывали живот и вставляли трубку, из которой лилась вода. Она лилась долго в подставленный таз, а потом сестра считала, сколько литров воды вышло. У некоторых выкачивали по 15 литров. После этого наступало облегчение, и больной мог недели две лежать в ожидании следующей операции выкачивания. Смерть в этом состоянии была неизбежна.

Ни одна из смертей не произвела такого впечатления на людей в корпусе, как смерть одного литовца, который месяца четыре пролежал с нами. Литовцев вообще было много на перпункте. Тут встретились две волны массового выселения из Литвы: в 1941 году и в 1944-ом — перед войной и после изгнания немцев и повторного захвата страны. Во всех корпусах котласского перпункта умирали литовцы. Этот был — железнодорожник из-под Каунаса, человек средних лет, очень солидный, производивший впечатление мирного обывателя. Он еще был довольно крепок, и во время санобработки вызывался добровольно мыть больных. Он был неразговорчив крайне и держался с флегматическим достоинством человека, знающего себе цену. По ночам иногда он просыпался, садился на койке и смотрел пред собой как каменный по часу, потом сходил к печке закурить (днем курение в корпусе строго преследовалось нашим доктором) и без слова возвращался на место. Смерть этого человека была для нас неожиданностью. Он опух как-то сразу, умер стремительно, в несколько дней. Умирал он мучительно и без всякого достоинства: кричал высоким детским голосом, которого никто от него не ожидал слышать, и наполнил всю палату своей агонией. Другие умолкали пред смертью, у этого произошло обратное: молчал всю зиму, уходил в себя, а в последние часы — поднял шум. Весь день он громко бредил, выкрикивал и

пел. Он пел пред смертью, он умирал с песнями. До сих пор звучит в моих ушах этот крик его:

— Lietuvata mana! Lietuvata mana!

Литовцы в корпусе сказали мне, что это значит: «Литва моя, Литва моя!» На всех нас произвело впечатление, что этот человек так тосковал, умирая, по родной стране — не один из нас вспомнил, что есть и у него родина, которой, может быть, не суждено ему увидеть.

На первой койке при входе в палату — против койки Попова — лежал отец Серафим. Ему было за 70 лет, он выглядел как библейский патриарх, с широкой белой бородой и длинными седыми волосами до плеч, которые с одной стороны были заплетены в косичку, чтоб не мешали. Отец Серафим был архимандрит и настоятель одной из московских церквей. Должны быть люди в Москве, которые знают о нем больше моего. Он, очевидно, не сумел ужиться с властью и был отправлен в лагерь уже при новом курсе на сближение с церковью. На следствии его спросили — почему он молился за царя до революции, а за членов Политбюро не молится? Отец Серафим ответил, что готов молиться за членов Политбюро, когда они будут ходить в церковь.

Дважды в день, утром и вечером подымался архимандрит и молился, отвернувшись к стене, с поясными поклонами, а глядя на него стал молиться и наш дурачок Алеша. Но Алеше скоро надоело молиться. Отец Серафим молился один за всех, а когда пришла Пасха, прислали ему посылку с пасхальным печеньем — сладкой бабкой. Он разделил ее между всеми лежавшими в палате, и каждый получил по крошечному кусочку «свяченого». Больные подходили благодарить, и я тоже поблагодарил отца Серафима. При этой оказии я с ним побеседовал о Святой Земле. Отец Серафим посетил Палестину в 1902 году, а перед тем побывал на Афоне, в Греции. Он помнил эту страну сквозь благочестивый туман —

святые места, монастыри, церкви, осликов на горных тропах, рыбу, которой угостили его на берегу Генисаретского озера. Я помнил ее иначе: асфальт и бензин, бетон и темную зелень плантаций, тракторы и электростанции.

Золотой крестик был у отца Серафима. Этот крестик дал ему доктор. А доктору передал его, умирая, один из заключенных. Этот заключенный тоже не принес с собой крестика в лагерь, а снял его с шеи своего умирающего соседа. Таким образом, золотой крестик был собственностью всего корпуса. Носил его наиболее достойный, а хранил его доктор, который сам был евреем и человеком непричастным, но выбран был судьбой, чтобы передавать его из рук в руки. Этот крестик был — золотое звено невидимой цепи. Отец Серафим не был его последним носителем, а получил его на время — на очень короткое время. Не знаю, кто носит его теперь. Архимандрит умер осенью 1945 года.

За зиму умерло в 5 корпусе 15 человек. Это значит, что годовую смертность можно принять для 5 корпуса в 30 человек, а для всего котласского перпункта по очень умеренной оценке — в 300 человек. Снизим эту цифру наполовину: 150 челоевк. Примем, что люди умирают в Сов. Союзе только в 5.000 лагерей. Это дает $^3/_4$ миллиона жертв за один год при самой умеренной, самой осторожной и сниженной оценке. Действительная цифра может быть много выше. Дело не в статистике. Цифры эти дают представление о том, что мы имеем в виду, когда называем советские лагеря одной из величайших фабрик смерти в мировой истории. Миллион или два — не в этом дело. Все, кто умер и умирает там по сей день — пленники, невольники и беззащитные жертвы режима, не заслужившие своей участи и в огромном большинстве — не совершившие никакого преступления в европейском смысле этого слова.

Я могу представить себе, что многие читатели этой книги будут стремиться оправдать Советский Союз обстоятельствами военного времени. Много

миллионов советских граждан погибли тогда на фронтах и в тылу. Одна лишь блокада Ленинграда стоила миллиона голодных смертей. По окончании войны целые провинции Китая поражены голодом. Это правда. Одного только нельзя понять: как можно приравнять смерть людей во время стихийной катастрофы, как война или неурожай — к смерти лишенных свободы миллионов людей, загнанных в лагеря и осужденных государством сознательно и хладнокровно на вымирание. В лагерях Советского Союза совершается избиение политически нежелательных элементов из года в год, и ему не видно конца. Каждый из тех людей, которые умерли зимой 1944-5 года в 5 корпусе Котласского перпункта, мог бы жить, если бы Советское Государство отняло от него душащую руку, и если бы туда была допущена помощь извне, контроль и помощь международных гуманитарных организаций.

Я также могу себе представить, что в оправдание совершаемого массового убийства сошлются на историческую необходимость: нельзя иначе построить коммунизм в данных условиях. Это — аргумент выродков. Этих людей надо спросить, где граница жертв, которые стоит приносить для этой цели. То, что я видел за 5 лет своего пребывания в советском подземном царстве — был аппарат убийства и угнетения, действующий слепо. Для целей коммунизма наверное не было необходимости в том, что сделали со мной и сотнями тысяч иностранцев. Смею думать, что это было скорее вредно.

По чистой случайности я избегнул смерти зимой 1944 года в советском лагере. Весной 1945 года я был до того ослаблен многомесячным лежанием, что разучился ходить. Чтобы приучить обитателей 5 корпуса пользоваться ногами, ввели для нас обязательную 15-минутную прогулку на свежем воздухе. Еще снег лежал в марте, когда стали показываться процессии выходцев с того света, по 4-5 человек, в сопровождении сестры, между бараками. Добровольно мы не хотели выходить: приходилось нас понукать и

силой подымать с коек. Из вещкаптерки приносили нам специальную одежду на выход: она была ходолна как лед. Я старался выйти со второй партией: тогда вещи были теплые, одевали их прямо с тела на тело. С непривычки голова кружилась на воздухе и замирали ноги. Пятнадцать минут тянулись нескончаемо, а до их истечения не пускали нас обратно в корпус... Я со страхом думал о том неизбежном дне, когда меня выпишут, и я выйду из дверей 5 корпуса — без права вернуться обратно.

27. ОСВОБОЖДЕНИЕ

Утром 1 июня 1945 года пришел мальчуган-заключенный из 2-ой части и принес письмо заведующему 5-ым корпусом следующего содержания:

— «Сообщите немедленно о состоянии здоровья заключенного Юлия Марголина».

20 июня приходил к концу 5-летний срок моего заключения. В этот день полагалось мне выйти на свободу. Все кругом не сомневались, что меня задержат в лагере, как и других польских граждан, отбывших срок. Если бы хотели освободить меня — могли это сделать зимой, по амнистии. Вместе со мной в Котласе находилось человек 10 польских граждан уже отсидевших срок и им всем сообщили официально, что они «задержаны до особого распоряжения». Один из них уже третий год ждал этого «особого распоряжения». Какие же были у меня основания пойти на свободу раньше их?

Разница между мною и ими была та, что они кончили свой срок до 9 мая 45 года, прежде чем кончилась война, и установка была в этом случае: задержать до конца войны. А мой срок выпадал на 6 недель **после** окончания войны.

Мне полагалось волноваться и беспокоиться. Но я был равнодушен. Я жил, как в полусне, настороженный, но внешне и внутренне совершенно спокойный. Сухие кости и духи мертвых так могли бы ждать трубы Архангела, зовущей к воскресению. Воз-

можно ли чудо? Я не мог себе представить воли, и у меня не было желания играть мыслью о воле после повторных жестоких разочарований последних лет. Запрос 2-ой части я объяснял себе моим непомерно затянувшимся пребыванием в больнице. Человек лежит 10 месяцев, не вставая — надо проверить, в чем дело. Возможно, что они хотели меня выслать на этап. Практиковалось, что не освобождаемых в срок отсылали на другое место. Перед включением в списки этапа они хотели знать, в состоянии ли я выдержать дорогу.

Так я объяснил себе этот вопрос. Завкорпусом ответил правдиво, что я поправляюсь после тяжелой болезни, и мое состояние удовлетворительно. После этого прошло несколько дней в ожидании — не вытребуют ли меня на этап. Когда этого не произошло, то за неделю до 20 июня я был выписан из больницы.

Это было сделано потому, что я уже достаточно оправился, и не было возможности дальше держать меня в корпусе, а также и потому, чтобы в случае освобождения было у меня несколько дней переходных, чтобы не вставать мне на свободу прямо с постели.

Великие события этого лета — штурм Берлина и окончание мировой войны — заслонили лагерные будни. Все были возбуждены в лагере, и многим казалось, что пришло время для какой-то невиданной, массовой амнистии. Эта «настоящая» амнистия должна была удивить мир великодушием Советской власти. Все мы ждали амнистии в день 7 ноября, в годовщину революции. Я не мог себе представить, что меня освободят — завтра. Мне было легче ждать этого — через полгода.

Настал день 20 июня — и никто не пришел звать меня во «вторую часть» на освобождение. До 11 часов я лежал на наре в пыльном и грязном бараке. Наконец, я не выдержал и сам пошел во «Вторую Часть».

Это была крошечная избушка, из двух комнаток.

— Что надо?

— Я пришел узнать, почему не вызывают меня на освобождение.

— Как фамилия?

Писарь заключенный стал искать в бумагах, посмотрел на меня и сказал:

— Завтра придешь.

Я ничего не спрашивал больше и вышел растерянный. Почему завтра? Ведь мой срок сегодня! Почему он не сказал мне: «Сиди, пока позовут!» или, с сухой усмешкой: «Скажут тебе, не бойся, когда надо будет!» Вместо этого он сказал мне: «Завтра». Что это значит?

...Завтра... Завтра...

И вдруг у меня дрогнуло сердце. Надо приготовиться на завтра. На всякий случай.

У меня были две вещи нелагерного образца: кожаные ботинки и тяжелый крестьянский зипун, до колен. Обе эти вещи раздобыли для меня перед выпиской из больницы медики 5 корпуса. После того как они спасли мне жизнь, они считали себя ответственными и за мой гардероб за стенами 5 корпуса. Кроме этого, у меня ничего не было. Казенные рабочие штаны на мне состояли из одних дыр и заплат. В таких штанах нельзя было идти на свободу. В карельских лагерях была инструкция, по которой полагалось выдать освобождаемым одежду не новую, но чистую и приличного вида. Здесь, очевидно, не было такой инструкции. Выручил меня Давид Маркович из 9 корпуса. Он отдал мне свои собственные ватные штаны. Они слегка порыжели, но были целы и вполне годились на дорогу.

В другом месте я получил пару хорошего белья. Все это дали мне условно, с тем, чтобы вернуть, если освобождение не состоится. Наконец, собрали мне 50 рублей на дорогу. Вечером я вытащил свой старый рюкзак, залатал дыры и приделал новые лямки. На этом закончились мои приготовления в дорогу.

Весь день приходили ко мне люди с просьбами записать адрес их родных и близких, в Сов. Союзе и заграницей. Все эти люди были уверены, что я завт-

ра иду на волю. В течение 5 лет я много раз просил других людей о том, о чем просили меня теперь; пришла моя очередь давать другим обещания. Те люди не исполнили своих обещаний. Я спрашивал себя в тот вечер, окажусь ли я лучше, или эта непонятная сила забвения, отчуждения и равнодушия восторжествует и надо мной, как только я выйду из лагеря.

Последний, с кем я попрощался, был Нил Васильевич Елецкий. Он все еще находился в 9 корпусе. Теперь 9 корпус был преобразован в туберкулезный, но это не помешало Нилу Васильевичу остаться в нем: у него уже был туберкулез, приобретенный в 9-ом корпусе. Днем выносили койки на воздух, и больные грелись на солнце. Нил Васильевич, завернувшись в одеяло и похожий на Ганди, тоже вышел на солнышко. Что-то мучило старика, что-то было у него невысказано. Вдруг он обнял меня за шею и зашептал:

— Голубчик, не знаю, увижу ли вас... Одну вещь я вам должен сказать. Есть у меня грех пред вами. Не могу расстаться, не сказавши. Вы помните, когда мы вместе лежали, в начале зимы? Согрешил я тогда пред вами... Ведь я ваш хлеб брал, из-под подушки. Немного брал, по кусочку, по ломтику, но брал. Мучился, но брал. Не мог совладать. Простите, и вот... вот...

Нил Васильевич подал мне в кружке рыбную галушку «тютельку», которую он съэкономил с обеда, чтобы угостить меня на прощанье и этим хотя бы отчасти искупить свой грех... Я был сконфужен, пристыжен и тронут до слез. Что за нелепая сентиментальность, и где?.. Я расцеловался с Нил Васильевичем на прощанье и обещал прислать ему табачку с воли.

Этого обещания я не успел выполнить — Нил Васильевич умер два месяца спустя.

Утром 21 июня я пошел во Вторую Часть. Мне велели ждать начальника. Я все еще не смел верить. Долго ждал, часа два, — выходил на крылечко, са-

дился на ступеньку. Уйти от порога я не мог, точно меня привязали.

...Начальник мог просто-напросто дать мне для подписи бумажку: «оставлен до особого распоряжения» и послать обратно в барак. Что тогда?

...Конечно, конечно, так и будет. Я вернусь в барак, лягу на свое место. У меня хорошие нары, и сосед смирный. Сосед спросит: «ну, что там было?» — Я скажу: «Оставляют пока», и сделаю вид, что иначе и не ждал. Отвернусь к стене и притворюсь спящим. Сосед зевнет, повздыхает и тоже ляжет. Комендант войдет с криком: «Черти, дьяволы, инвалиды! Подымайся, бери швабры, пол хоть вытрите...»

Начальник прошел во вторую комнату, и я вошел за ним следом.

— Гражданин начальник, мой срок кончился вчера.

Он заглянул в бумагу на столе.

— Нет. — Ваш срок не вчера, а сегодня. Куда хотите ехать?

Я молчал. У меня захватило дыхание.

Он поднял на меня глаза, и я сделал равнодушное лицо. Что в этом особенного? Заключенный отсидел срок, и понятно, теперь ничего не остается, как отправить его на волю. Дело простое.

— Я польский гражданин, — сказал я медленно, почти с сожалением. — Куда же мне ехать? — В Польшу.

Начальник захохотал.

— В Польшу не пускают. Надо выбирать в Советском Союзе.

— Если нельзя в Польшу, то как можно ближе к польской границе.

Тут он сделал серьезное лицо и объяснил мне, что территории бывшей немецкой оккупации закрыты для меня. На юг тоже нельзя мне ехать, но зато я могу ехать в Азию, например в Казахстан.

В эту минуту встал пред моими глазами белый треугольник письма. Зимой Доктор получил письмо. Откуда пришло это письмо? Ага! Из Алтайского края.

— Можно в Алтайский Край?

— Можно.

Алтайский Край славится в Сов. Союзе. Там сытно, хлеб дешев, много молока и мяса. И там — именно там — есть у Доктора где-то земляк, знакомый!

— Извините, гражданин начальник, мне нужно выйти.

Я вышел, оставив его в изумлении. От Второй Части до Пятого Корпуса было несколько шагов. В открытых дверях палаты я увидел круглую спину и белый халат Доктора. Было 11 часов, время обхода больных. Я бросился опрометью в каморку за раздаточной. — «Скорей, скорей!» —

— Вызовите доктора, — сказал я раздатчице Соне. — Сию минуту.

Доктор бросил прием и поспешил ко мне.

— Что с вами?

— Освобождают! Доктор, кто у вас в Алтайском крае?

Он назвал мне город Славгород, улицу и адрес. Не надо было записывать, адрес сразу запечатлелся в моей памяти. Я попрощался с ним и побежал во Вторую Часть. Прошло не более 3 минут, и начальник не успел переменить позы у стола, где я его оставил.

— Еду с Славгород, Алтайского края, — сказал я твердо.

И немедленно преграда встала между мной и обитателями лагеря. Меня уже не отпустили, и все последовавшее разыгралось в ускоренном темпе. Меня форменно выгнали из лагеря. Не позволили ходить, прощаться, разговаривать. Человек из Второй Части пошел со мной в барак, в его присутствии я взял свой рюкзак. Потом повели меня в продкаптерку. Мне выдали паек на 12 дней дороги в Сибирь, по 400 гр. хлеба и 100 гр. соленой рыбы в день. Каптер бросил мне 2 хлеба и большую рыбу. С этим я должен был доехать на место.

Меня отвели в бухгалтерию, где выписали мне справку об увольнении. Мне выдали денег на билет до Славгорода: 131 рубль. Кроме того, я получил 19 рублей суточных, по рублю в день на 19 суток. За эти деньги я не много мог купить (одно яйцо в Котласе стоило 15 рублей), но если бы дорога задержалась и я бы съел весь свой хлеб, то, начиная с 13-го дня, я бы мог заплатить из этих денег за «рейсовый» хлеб — по государственной цене.

— «Проводи за вахту!» сказал начальник 2 части нарядчику. Это чтобы я не мог зайти по дороге в какой-нибудь барак. Но тут я запротестовал. Хлеб мне дали с завтрашнего дня. А что я буду есть сегодня?

— Правильно! — сказал начальник. — Отведи его на кухню, пусть пообедает вне очереди. И сразу потом — за вахту.

Нарядчик присел рядом, пока я хлебал — в последний раз — лагерную баланду и съел крошечную порцию кашицы. Мы вышли вместе. Я не смотрел ни вправо ни влево. Пред дверью вахты нарядчик круто свернул в сторону, а я толкнул дверь и вошел к дежурному стрелку. Он посмотрел мою справку об увольнении, отметил у себя — и показал на выход.

— Проходи, — сказал он без всякого выражения, очевидно, больше не интересуясь мной.

Я поправил лямку рюкзака, где лежал хлеб на 12 дней, и вышел на дорогу.

Это еще не была воля. Это было — «с той стороны вахты». За пять лет сколько раз я выходил за вахту, с бригадой или с поручением, и в этом не было ничего необыкновенного. Но теперь — я вышел без всякого дела. Я вышел совсем — это было невероятно... До полотна жел. дороги было несколько десятков метров.

Я шел медленно по шпалам полотна. До города было 5 километров. Со справкой об увольнении мне следовало явиться в милицию и получить пропуск в город Славгород. С пропуском я мог идти на станцию

и купить билет до Славгорода. От Котласа до Алтайского Края было 2.700 километров.

Был яркий, солнечный июньский день. Пять лет тому назад в такой точно день закрылись за мной ворота тюрьмы. Теперь я шел седой и разбитый по полотну Котласской жел. дороги. Мешок давил мне на плечи. Я был свободен. Но тяжесть была не только на моей спине. Тяжесть была в моем сердце, и еще далеко мне было до облегчения.

Все было во мне напряжено, угрюмо и сурово. С каждым километром, который я отходил от лагеря, как будто тень его вытягивалась и стелилась за мной по пятам. Вся эта местность — заборы, склады, домишки, поляны с обеих сторон пути — была одна окрестность лагеря. По шпалам шли люди навстречу. Худой рабочий в кепке вел за руку девочку. Какие-то бабы прошли в платках, негромко разговаривая и любопытно оглянулись на меня. Вид мой говорил ясно, из какого места я вышел. Но в их взгляде не было враждебности. Я убедился впоследствии, что русские люди, хотя и не упоминают имени лагеря и никогда не расспрашивают о нем, но относятся к бывшим заключенным с чем-то похожим на сочувствие. Атмосфера очень осторожного и молчаливого сочувствия образуется вокруг человека, пришедшего из лагерей. Это понятно: почти каждый из вольных людей имеет в лагере кого-нибудь из близких и родных.

Много прошло месяцев, пока вернулось ко мне нормальное самоощущение, и я действительно почувствовал себя вне опасности. Трудной, далекой и кружной дорогой я вернулся на родину. В тот летний день в предместьях Котласа она еще была очень далека от меня. В тот день я еще был плотно охвачен кольцом советской дисциплины — и страха.

Я отошел километра на два от перпункта и сел на откосе полотна. Тут произошла маленькая неприятность: у меня отнялась правая нога. Сгоряча я прошел два километра, но все-таки я был всего лишь инвалид, неделю назад выписанный из больницы, после 10-

месячного лежания. Что-то произошло с моей ногой. Когда я встал, чтобы продолжать путь, оказалось, что я могу только хромать, волоча одну ногу.

В этот момент я не думал больше ни о свободе, ни о своем прошлом, ни о своем будущем. Я думал только о том, как мне добраться до милиции в Котласе, не опоздавши.

На счастье, подошел тихо и остановился пустой товарный состав. Я подковылял к паровозу и спросил машиниста:

— Товарищ машинист, можно доехать до вокзала?

В первый раз за 5 лет я употребил это слово, запрещенное заключенным: «Товарищ».

Машинист посмотрел на мою ногу.

— Садись.

Я вскарабкался на тендер и вытер пот со лба.

Поезд тронулся.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ежедневно на рассвете — летом в пятом часу утра, а зимой в шесть — гудит сигнал подъема на работу в тысячах советских лагерей, раскиданных на необъятном пространстве от Ледовитого Океана до Китайской границы, от Балтийского Моря до Тихого океана. Дрожь проходит по громаде человеческих тел. В эту минуту просыпаются близкие и дорогие мне люди, которых я, вероятно, никогда уже больше не увижу. Подымаются миллионы людей, оторванных от мира так, как если бы они жили на другой планете.

Меня уже давно нет с ними. Я живу в другом мире, где люди свободны думать, поступать и бороться за лучшее будущее так, как им это диктует их совесть. Их счастье и несчастье отличаются от счастья и несчастья советских зэ-ка, как свет от мрака. Я живу в прекрасном городе на берегу Средиземного моря. Я могу спать поздно, меня не считают утром и вечером, и на столе моем довольно пищи. Но каждое утро в пять часов я открываю глаза и переживаю острое мгновение испуга. Это привычка пяти лагерных лет. Каждое утро звучит в моих ушах сигнал с того света:

— Подъем! —

Читатель, я не знаю, с каким чувством ты закрываешь эту книгу, чего ты в ней искал, и не жалеешь ли о потерянном времени. Книга о лагерях не писалась для твоего развлечения или удовлетворения твоего любопытства. Эта книга — не мемуары. Для этого она слишком целестремительна, и относится не к прошлому, о котором вспоминают на склоне лет умудренные опытом люди, а к *настоящему*. Эта книга не исполнит своего назначения, если не

передаст тебе живого чувства реальности лагерей, которые существуют сегодня так же, как они существовали вчера и пять лет тому назад. Ничего не изменилось. Эти лагеря — основной факт нашей действительности, и нельзя понять эпохи, в которой мы живем, не зная того, как и почему они возникли, растут и ширятся в мире.

Не сделай ошибки, и не путай советских лагерей с гитлеровскими. Не оправдывай советских лагерей тем, что Освенцим, Майданек и Треблинка были много хуже. Помни, что гитлеровских фабрик смерти уже нет, они прошли, как злой сон, и на их местах стоят музеи и памятники над гробами погибших — а «48-ой квадрат», Круглица и Котлас функционируют попрежнему, и люди погибают там сегодня так же, как погибали 5 или 10 лет тому назад. Напряги свой слух, и ты услышишь то, что слышу я каждое утро на рассвете, издалека:

— Подъем! —

Отчет о пятилетнем заключении в советском подземном царстве — это повесть о человеческом горе и о границе человеческого падения.

Есть ад на земле, созданный теми, кто притязает на звание строителей Нового Мира. Но книга эта не писалась для целей полемики или «антисоветской пропаганды». Есть среди нас люди, которые готовы отрицать несомненные факты, если они не укладываются в их представление о Советском Союзе. Для этих людей книга о лагерях есть только «антисоветская пропаганда», и они с негодованием отворачиваются в сторону. «Это не может быть правдой», — говорят они. К сожалению, это правда. Серая повседневность и обыденность лагерей даны в этой книге, без сгущения красок, без нагромождения ужасов и жестокостей.

Эта книга в такой же мере является антисоветской пропагандой, в какой «Хижина Дяди Тома» Бичер-Стоу сто лет тому назад была «пропагандой» против южных рабовладельческих Штатов. Состояние

миллионов советских зэ-ка много хуже, а мера их морального угнетения и физической эксплоатации много больше, чем все, что делалось с неграми, и что вызвало такой горячий протест — вплоть до вооруженной интервенции.

Каждый из нас обязан знать правду, а если он политический сторонник или попутчик коммунизма, — то он вдвойне обязан знать, что происходит за кулисами Советского Строя. Если же есть у него малейшее сомнение, то он обязан требовать, чтобы ему дали возможность проверить каждое утверждение о советских лагерях, которое делается в этой и других книгах, написанных выходцами из лагерей. Эта книга не предназначена для тех, что считает «наглостью» каждое выступление против советской системы, кто бы хотел подавить и конфисковать малейший крик боли на устах жертв — но для тех, кто хочет знать, что происходит за дымовой завесой лживой казенной пропаганды, чтобы всеми возможными путями прийти на помощь людям, которые в этой помощи нуждаются.

Можно сказать об этой книге, что она написана против. Против угнетения, против страшного зла, против великой несправедливости. Но это определение недостаточно. Она прежде всего написана в защиту. В защиту миллионов заживо-похороненных, страдающих и подавленных людей. В защиту тех, кто сегодня еще жив, а завтра уже может быть мертв. В защиту тех, кто сегодня еще свободен, а завтра может разделить участь похороненных заживо.

На основании пятилетнего опыта я утверждаю, что советское правительство, пользуясь специфическими территориальными и политическими условиями, создало в своей стране подземный ад, царство рабов за колючей проволокой, недоступное контролю общественного мнения мира.

Советское правительство использовало свое неограниченное господство над шестой частью мира для того, чтобы воссоздать в новой форме рабовладение — и держать в состоянии рабства миллионы своих

подданных и массы иностранцев не за какое-либо их действительное преступление, но в качестве «превентивной меры», по усмотрению и произволу тайной полиции.

Это обвинение может показаться невероятным каждому, кто вырос в условиях западной демократии, и лично не видел и не пережил доли раба.

Мне же кажется невероятным другое: что миллионы людей на Западе совмещают демократические убеждения и протест против социальной несправедливости в любой форме — с поддержкой вопиющего и омерзительного безобразия, которого в наши дни не видеть нельзя уже.

Я обращаю внимание людей способных не только видеть, но и предвидеть и мыслить, на тот грозный факт, что рабовладение, несовместимое с сущностью капиталистического строя и нравственным сознанием зрелого человечества — становится технически возможным и экономически осмысленным явлением в рамках тоталитарной идеологии XX века.

Техническая революция привела к тому, что правительства, которые не могли бы удержаться на штыках, могут отлично сидеть на танках и автоматическом вооружении. Рабский труд оплачивает себя снова как политически, так и экономически. Гитлер продемонстрировал один вариант господства, основанного на рабском подавлении «низших рас» и слабых народов: вариант глупый и нерациональный. Кто хочет убедиться, как выглядит советский вариант, не менее циничный, но более умный и совершенный — пусть попробует добиться очной ставки с миллионами советских рабов. Настежь двери лагерей для людей независимой науки и свободной мысли! — Пусть они войдут туда не как пленники под конвоем, со сроками по 10 лет принудительного труда, но как посланники народов, свободные исследователи и наблюдатели — на великое и неподкупное следствие.

Советским правительством созданы условия жизни для 200 миллионов людей, резко противоречащие

элементарным потребностям духа и тела 90% населения. Как следствие, существует в советском народе неистребимое и вечно возрождающееся недовольство. Это недовольство имеет в массах форму слепого — даже не протеста! — а всего лишь чувства неудовлетворенности и тяжести, но оно неистребимо, и несмотря на все чистки и превентивное заключение, оно возрождается с той же необходимостью, с какой отрастают у человека ногти и волосы после каждой стрижки. Для людей, проявляющих в какой бы то ни было форме недовольство и критическое отношение, — или даже только подозреваемых в том, что они его когда-либо проявят — создан советской властью небывалый резерват рабства, равного которому не знает мировая история. На основе произвольного выбора местными органами власти и по указанию центральных органов этот резерват пополняется всеми «неудобными» и «лишними» в глазах власти элементами, причем человеческая жизнь расценивается не выше, а практически часто ниже, чем ценность рабочего скота. Таково положение дела в величайшей державе нашего времени. Лагеря с их многомиллионным населением представляют корректив Советского Строя, неуничтожимый в условиях тоталитарного насилия над человеческой природой.

И если в ответ «адвокаты диавола» сошлются на факты расовой и национальной дискриминации за пределами Советского Союза, то на это следует ответить, что эти факты не вытекают из сущности Западной демократии, и их устранение — рано или поздно — будет торжеством активной и борющейся демократии. Тогда как принудительный лагерный труд прямо вытекает из сущности Советского строя, и от него неотделим. Это — две стороны одной медали. Поэтому литература Запада говорит открыто и смело о всех социальных дефектах демократии и вносит свет во все темные уголки, — а подцензурная литература рабовладельческого строя молчит и старается не смотреть туда, где темно. Ей нечем ответить на обвинение, кроме брани и отрицания фактов.

Необходимо протестовать против лагерной системы, как самого чудовищного явления современности, в котором заложены ростки мировой катастрофы. Моральная и политическая катастрофа начинается в тот момент, когда методическое и массовое мучительство, увод людей и убийство, практикуемое под прикрытием марксистской и демократической фразеологии, начинает замалчиваться или оправдываться людьми прогресса, людьми Революции и доброй воли.

Как бы мы ни понимали существо демократии, ясно, что она возможна только в атмосфере абсолютной прозрачности, наглядности и видимости. Мир демократии должен быть обозреваем из конца в конец. Там же, где имеются тайники и запретные зоны, где что-то тщательно скрывается от взгляда за стенами тюрем и лагерными оградами — мы можем быть уверены, что творится злое дело. Лагеря в их настоящей форме могут существовать только ценой строжайшей и герметической изоляции и недоступности для внешнего мира, — подобно тому, как гитлеризм укрывал свои позорные секреты не только пред внешним миром, но и пред массой собственного населения.

То, что произошло с автором настоящей книги между 1939-46 годом, само по себе достаточно жутко. Человек, не совершивший никакого преступления и совершенно посторонний советскому государству, мог быть захвачен на чужой территории и без суда, при соблюдении строжайшей анонимности, на ряд лет вырван из мира. Меня приговорили к рабству, вывезли на край света и подвергали физическим и моральным мучениям в течение ряда лет, когда имелась полная возможность вернуть меня на родину, где мня ждали дом, семья и работа. От смерти спас меня случай. Вреда, который нанесен мне и моей семье, уже ничто не исправит. Но дело не в этом. В том состоянии, в каком я находился, продолжают оставаться миллионы людей. Речь идет о них.

То, что я пережил в Советском Союзе, — это страшный кошмар. Моей обязанностью и моим первым

движением, по возвращении в Европу было — дать отчет о пережитом и передать крик о помощи людей, отрезанных от мира. Но только здесь, среди свободных людей Запада, я понял всю глубину несчастья тех, кто остается в заключении. Выйдя за колючую проволоку лагерей, я наткнулся на каменную стену, построенную малодушием и предательством.

Я убедился, что в известных кругах, и именно в тех, чья помощь необходима в первую очередь, — не принято говорить вслух о некоторых явлениях, имеющих место в Советском Союзе. Это шокирует. Более того, это компрометирует. Не раз, а десять раз я услышал, что обвинять Советский Союз могут только враги прогресса и союзники реакции.

Эта книга писалась при молчаливом и явном неодобрении моего окружения, и если бы не личный мой опыт и сила убеждения, которой я обязан пяти лагерным годам — возможно, что я подчинился бы коллективному внушению, как это делают другие участники «заговора молчания».

Отношение к проблеме советских лагерей является для меня ныне пробным камнем в оценке порядочсти человека. Не в меньшей мере, чем отношение к антисемитизму.

В самом деле, достаточно упомянуть о жертвах лагерей, чтобы у людей, которые при каждой другой оказии полны медовой доброты и демократической отзывчивости на малейшее несовершенство мира, вдруг выросли волчьи клыки и обнаружилась абсолютная невосприимчивость слуха и ожесточение сердца — как в известном рассказе Стивенсона о м-ре Джекилле и м-ре Гайде.

Каждое происходящее в мире преступление должно быть названо во всеуслышание по имени. Иначе борьба против него невозможна. Ни одно попрание человеческого права не смеет остаться анонимным. Лозунг слабых людей — «не говорите вслух! не называйте по имени!» — есть лозунг бесчестный. В известной мере он делает их сообщниками преступления.

— «Горе слабым!» — этой мудрости научило меня пятилетнее пребывание в советском подземном царстве. Удел слабых — рабство или гибель. Жестокий и страшный смысл этих слов надо понять, не для того, чтобы преклониться перед слепым насилием, которое нам угрожает повсюду. — Горе слабым! Я видел и разделил судьбу слабых в советской стране. За тысячи километров от центров террора, далеко за границей сталинской власти, я еще видел подлый заячий страх слабых. Я научился ненавидеть насилие в его зародыше. Зародыш всякого насилия — в смирении слабых.

Единственный ответ на жестокую правду: Горе слабым! — заключается в том, что Право обязано облечься в силу. Против силы бесправия — сила права. Из сознания права — родится смелость защищать попранное право человека — и нужная сила.

До тех пор, пока сознание демократического мира примиряется с существованием резервата рабства в Советском Союзе, нет надежды на то, что мы предотвратим угрозу рабства в нашей собственной среде.

Тель-Авив, 15.XII.46—25.X.47

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.